

Висенте Бласко Ибаньес

Мертвые повелевают

Роман, 1908 г

## К ЧИТАТЕЛЮ

Помнится, в 1902 году, в пору моей политической деятельности, майоркинские республиканцы пригласили меня на митинг, посвященный пропаганде наших идей, который происходил на арене для боя быков в Пальме.

После этого собрания выступавшие на митинге депутаты республиканской партии вернулись на Полуостров. Я же, произнеся свою речь, покончил на этот раз с политикой и решил в качестве простого путешественника совершить поездку по чудесному острову, который в средние века был свидетелем философских прогулок великого Раймунда Луллия[1] — мыслителя, общественного деятеля и писателя, а в первой трети XIX столетия послужил фоном для возвышенного и несколько запоздалого романа Жорж Санд и Шопена.

Но сильнее, чем знаменитые пещеры, вековые оливковые деревья и вечно лазурное побережье Майорки привлекали меня достойные жители острова и их кастовые различия, сохранившиеся, несомненно, в силу обособленности Майорки, не поддающейся тому постепенному обезличиванию, которое произошло на испанском континенте. Когда я присмотрелся к условиям существования крещеных майоркинских евреев, так называемых чуэтов, у меня родился замысел будущего романа.

На обратном пути я провел несколько дней на Ивисе. Здесь меня также заинтересовали обычаи народа моряков и землепашцев, для которого пятнадцать веков прошли в непрерывной борьбе со всеми пиратами Средиземного моря. Я задумал объединить в романе столь отличные друг от друга и столь глубоко своеобразные черты быта и нравов обоих островов.

Прошло шесть лет, а я все еще не мог осуществить свое намерение. Мне нужно было бы вернуться на Майорку и на Ивису, чтобы более внимательно изучить человеческие типы и картины природы для задуманной мною книги, а подходящего случая для такой поездки у меня все не было.

Наконец в 1908 году, когда я готовился к моему первому путешествию в Америку, мне удалось вырваться на несколько недель из Мадрида и побродить по обоим островам. Я обошел большую часть Майорки, часто ночуя в маленьких селениях, где мне с великодушным гостеприимством и чисто евангельским бескорыстием давали приют крестьянские семьи. Я взбирался на горы Ивисы и плавал вдоль красно-зеленых берегов на ветхих суденышках, которые стойко держатся на морской волне и несколько месяцев в году служат для рыбной ловли, а в остальное время предназначены для контрабанды.

Вернувшись и Мадрид с почерневшим от солнца лицом и огрубевшими от гребли руками, я сел писать роман «Мертвые повелевают»; мои впечатления были так свежи и вместе с тем

так сильны, что я написал роман в один присест, причем на протяжении этих двух-трех месяцев память писателя ни разу не отказала мне при воссоздании любой мелочи.

Этим романом завершился первый период моей литературной деятельности. Как только книга была опубликована, я отправился читать курс лекций в Аргентину и Чили. Лектор незаметно для себя превратился в жителя этих пустынь, во всадника, скачущего по патагонским равнинам. Я забросил перо, как легковесное и бесполезное оружие в суровой борьбе с невежеством и коварством людей и с неподатливыми землями, остававшимися невозделанными со времен возникновения нашей планеты.

За целых шесть лет я не написал ни одного романа. Мне хотелось быть творцом в жизни. В ту пору поступки занимали меня больше, чем слова.

Но жизнь каждого из нас почти всегда возвращается в прежнее русло, и через шесть лет после сквавшей меня болезни безмолвия, в 1914 году, незадолго до начала мировой войны, находясь в Париже, я возобновил мою литературную работу и, взяв в руки перо и бумагу, написал своих «Аргонатов».

В.Б.И.

1923 г.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Хайме Фебрер поднялся в девять часов утра. Мадо Антония[2], помнившая его с колыбели верная служанка, почтительно охранявшая былую славу семьи, уже с восьми ходила по комнате, собираясь его разбудить. Ей показалось, что через верхнюю часть огромного окна проникает мало света, и она открыла настежь источенные червями деревянные рамы без стекол. Затем она отдернула красный, отороченный золотом бархатный полог, свисавший наподобие шатра над просторным и величественным ложем, где зарождались, появлялись на свет и умирали многие поколения Фебреров.

Прошлой ночью, вернувшись из казино, Хайме настойчиво приказал разбудить его пораньше: он приглашен на завтрак в Вальдемосу. «Пора вставать!» Было чудесное весеннее утро; в саду, на цветущих ветвях, покачиваемых легким бризом, который долетал с моря через высокую ограду, хором щебетали птицы.

Видя, что хозяин решился наконец расстаться с постелью, служанка удалилась на кухню. — Хайме Фебрер, полураздетый, расхаживал перед распахнутым окном своей комнаты, разделенным надвое тоненькой колонной. Он не боялся, что его увидят. Напротив стоял особняк, такой старинный, как и его собственный, — огромный дом с редкими окнами и дверями. Стена этого дома, облупившаяся и растрескавшаяся, потерявшая свои первоначальный цвет, тянулась перед окном его спальни, и улица была такой узкой, что, казалось, до стены можно дотянуться рукой.

Хайме заснул поздно — важное дело, предстоявшее ему завтра, беспокоило и тревожило его. Еще не очнувшись от недолгого и тревожного сна, он жадно потянулся к приятной свежести

холодной воды. Умываясь в маленьком тазу, служившем ему еще в годы студенчества, Фебрер печально вздохнул: «Ах, эта нищета!» В этом господском доме, обветшалое великолепие которого недоступно современным богачам, он был лишен самых простых удобств. Бедность во всей своей неприглядности выступала наружу в этих огромных залах, напоминавших пышные театральные декорации, знакомые ему еще со времен поездок по Европе.

Как посторонний, вошедший в первый раз в эту спальню, Фебрер разглядывал огромную комнату с высоким потолком. Его могущественные предки строили, казалось, для гигантов. Каждая комната была величиной с современный дом. На огромном окне не было стекол, как и во всех окнах этого здания; зимой их приходилось закрывать ставнями, и скудный свет проникал лишь через верхнюю часть арки, сквозь уцелевшие и потемневшие от времени осколки. Ковров тоже не было видно; бросался в глаза ничем не покрытый пол, нарезанный, как паркет, мелкими прямоугольниками из мягкого майоркинского песчаника. Потолки еще сохраняли роскошь старинной лепки, местами в виде искусных переплетений, потемневших от времени, местами же оттенявшей благородной матовой позолотой цветные поля фамильных гербов. Высоченные стены, скромно побеленные известью, в одних комнатах были скрыты рядами старинных картин, а в других — богатыми занавесями, яркие краски которых еще не поблекли от времени. Спальня была убрана восемью большими гобеленами, выдержанными в тонах выгоревшей травы. На них были вытканы сады, широкие аллеи с деревьями в осеннем уборе, выходившие на площадку, на которой резвились олени или журчали уединенные фонтаны, ниспадавшие в тройные чаши. Над дверями висели старые итальянские полотна, слащавые, как карамельные обертки: дети с янтарными телами обнимают курчавых ягнят. Арка, отделявшая альков от остальной части комнаты, отличалась известной пышностью; колонны с каннелюрами[3] поддерживали свод, увитый резной листвой, все это покрывала бледная и скромная позолота, словно то был алтарь. На столе работы XVIII века стояла раскрашенная статуэтка святого Георгия, копытами своего коня попирающего мавров; а в глубине виднелась кровать — величественное ложе, настоящий семейный памятник. Старинные кресла с выгнутыми ручками, обитые красным бархатом, протертым местами до основы, стояли вперемежку с соломенными стульями и жалким умывальником. «Ах, эта нищета!» — опять подумал старший в роде Фебреров. Старинный родовой особняк с прекрасными большими окнами без стекол, с гостинными, полными гобеленов, но без ковров на полу, с благородной мебелью, перемешанной с самыми дешевыми вещами, казался ему обнищавшим принцем, который все еще щеголяет в роскошной мантии и сверкающей короне, но ходит при этом босиком и без белья.

Да и сам он был подобен этому замку, внушительному и опустевшему ковчегу, который в прежние времена охранял славу и богатство его предков. Одни из них были купцами, другие воинами, и все они были мореплавателями.

Герб Фебреров развевался когда-то на вымпелах и флагах более чем полусотни парусных судов, самых лучших во всем майоркинском флоте. Погрузившись в Пуэрто-Пи, они отправлялись продавать местное оливковое масло в Александрию; в портах Малой Азии принимали на борт восточные пряности, шелка и благовония; торговали с Венецией, Пизой и Генуей или, огибая Геркулесовы Столбы[4], исчезали в туманах северных морей, перевоза в Фландрию или Ганзейские республики фаянсовые изделия валенсианских морисков[5], известные иностранцам под названием майолики, намекавшим на их майоркинское происхождение.

Эти постоянные плавания по морям, кишевшим пиратами, превратили семью богатых купцов в племя доблестных воинов. Фебреры сражались и вступали в союз с турецкими, греческими и алжирскими корсарам; сопровождали их флотилии в северные моря, чтобы намеряться силами с английскими пиратами; а однажды у входа в Босфор их галеры напали на суда генуэзцев, захвативших в свои руки всю торговлю с Византией. В дальнейшем этот род воинственных мореходов, отказавшись от торговли на море, уплатил кровавую дань в борьбе

за незыблемость христианских королевств и католической веры, отдав некоторых своих сыновей в ряды священной и славной когорты мальтийских рыцарей[6].

Младших сыновей дома Фебреров завертывали при крещении в пеленки с вышитым на них восьмиконечным белым крестом — символом восьми степеней небесного блаженства; став взрослыми, они командовали галерами воинственного Ордена. На склоне лет эти богатые мальтийские командоры рассказывали о былых подвигах детям своих племянниц и предоставляли лечить свои болезни и раны рабыням-мусульманкам, с которыми они жили, несмотря на обет целомудрия. Прославленные монархи, посещая Майорку, выезжали из замка Альмудайны[7], чтобы навестить Фебреров в их наследственном особняке. Фебреры были адмиралами королевского флота и губернаторами отдельных провинций; иные из них спали вечным сном в соборе Ла-Валлеты[8], рядом с другими знаменитыми майоркинцами, и Хайме, посетив однажды Мальту, мог осмотреть их гробницы.

В Пальме их потомки и течение веков безраздельно господствовали на бирже, изящное готическое здание которой высилось неподалеку от моря. Фебрерам принадлежало все, что выгружали на ближайшем молу галеры с высокими надстройками, мощные корабли с тяжелым корпусом, легкие фусты, сазэтии, шлюпы, шхуны, фелюги и другие суда тех времен. В огромном биржевом зале, стоя у соломоновых колонн, терявшихся во мраке сводов, их предки устраивали королевские приемы восточным мореплавателям, являвшимся в широких шароварах и малиновых фесках, генуэзским и провансальским судовладельцам в коротких накидках с монашескими капюшонами, и храбрым капитанам родного острова в красных каталонских беретах. Венецианские купцы посылали майоркинским друзьям мебель черного дерева с тончайшими инкрустациями из слоновой кости и ляпис-лазури или большие зеркала с голубоватым отливом в граненых рамах. Мореплаватели, возвращаясь из Африки, привозили связки страусовых перьев, слоновую кость, и эти сокровища, вместе с множеством других, украшали залы особняка, пропитанные таинственными ароматами душистых масел, привезенных в дар азиатскими купцами.

Столетиями посредничали Фебреры между Востоком и Западом, превратив Майорку в склад экзотических товаров, откуда развозили их на своих кораблях в Испанию, Фракцию и Голландию. Сказочным потоком приливали богатства к их дому. Было время, когда Фебреры предоставляли займы даже королям... Все это, однако, не могло помешать тому, что Хайме, последний в роде, проиграл накануне вечером в казино все, что имел, — несколько сотен песет, — и теперь готов взять деньги на сегодняшнюю поездку к Вальдемосу у Тони Клапеса, контрабандиста, человека сурового и умного, одного из самых верных и бескорыстных своих друзей.

Причесавшись, Хайме рассматривал себя в старинном зеркале, потрескавшемся и потемневшем от времени. В тридцать шесть лет он не мог пожаловаться на свою наружность. Он был некрасив, «породисто некрасив», по выражению одной женщины, оказавшей известное влияние на его жизнь.

Эта некрасивая внешность доставила ему немало любовных побед, льстивших самолюбию. Мисс Мери Гордон, рыжеволосая идеалистка, дочь губернатора небольшою английскому архипелага в Океании, путешествуя по Европе в сопровождении лишь своей горничной, познакомилась с ним как-то летом в одном из мюнхенских отелей. Поддавшись неотразимому впечатлению, она сделала первый шаг. Испанец был, по мнению мисс, живым воплощением молодого Вагнера. И Фебрер, улыбаясь приятным воспоминаниям, рассматривал свой выпуклый лоб, казалось подавлявший своей тяжестью, властные глаза, небольшие и насмешливые, оттененные густыми бровями. Нос его был острым и орлиным, как у всех Фебреров, отважных хищников безлюдных морских просторов; рот — надменный и несколько запавший; подбородок выдавался вперед и был покрыт мягкой растительностью; усы и борода были редкими и тонкими. «О, эта очаровательная мисс Мери!..» Около года длилось их веселое странствование по Европе. Безумно влюбленная в Хайме из-за его сходства с

великим композитором, она мечтала о браке и рассказывала о губернаторских миллионах, сочетая в себе романтические порывы с практическими наклонностями своей нации. Но Фебрер в конце концов бежал от нее, опасаясь, как бы англичанка не покинула его ради какого-нибудь дирижера, более похожего на ее кумира.

«О женщины!..» — И Хайме выпрямил свою сильную, мужественную фигуру, слегка сутулую из-за высокого роста. Женщины давно уже перестали интересоваться им. Легкая седина в бороде и небольшие морщинки вокруг глаз говорили о том, что он устал от жизни — от той жизни, которая, по его словам, «неслась на всех парах». Все же он еще пользовался успехом, и все та же любовь должна была вывести его теперь из затруднительного положения.

Закончив свой туалет, он вышел из спальни и прошел обширный зал, освещенный солнечными лучами, проникавшими сквозь верхнюю часть трех огромных запертых окон. Пол оставался в тени, а стены, покрытые бесчисленными гобеленами с изображенными на них гигантскими фигурами, сверкали живыми красками, подобно цветущему саду. Тут были мифологические и библейские сцены; надменные дамы с пышным розовым телом, выступавшие перед красными и зелеными воинами; огромные колоннады и дворцы, увитые цветочными гирляндами; обнаженные мечи, лежащие на земле головы, табуны раскормленных коней, поднимающих в воздух переднюю ногу, — целый мир древних легенд, не утративший на протяжении веков свежести красок, обрамленный румяными яблоками и сочной листвой.

Фебрер мимоходом окинул ироническим взглядом эти богатства, унаследованные им от предков. Ничто здесь не принадлежало ему. Вот уже более года как гобелены в этом зале, в спальне да и вообще во всем доме принадлежали пальмским ростовщикам, которые пока что оставили на прежнем месте. Они ожидали появления богатого любителя и надеялись на более щедрую цену, в случае, если тот приобретет их непосредственно у владельца. Хайме был лишь хранителем этих вещей, и за нерадивый надзор за ними ему грозила тюрьма.

Дойдя до середины зала, он по привычке посторонился, но тут же рассмеялся, так как ничто не мешало ему идти дальше. Еще месяц тому назад тут стоял итальянский стол из драгоценного мрамора, привезенный знаменитым командором доном Приамо Фебрером после очередного корсарского набега. Дальше опять-таки не стояло ничего, что могло бы преградить ему путь. Хайме давно превратил в деньги, продав на вес, огромную серебряную жаровню на подставке из того же металла, окруженную целым хороводом маленьких гениев, поддерживавших этот монумент. Эта жаровня напоминала ему о золотой цепи, подарке императора Карла V [9] одному из его предков, которую несколько лет назад он продал в Мадриде, также на вес, получив лишние две унции золота за ее старинную художественную работу. Впоследствии до него дошли слухи о том, что цепь приобрели в Париже за сто тысяч франков. «О, эта нищета!» Дворянам невозможно жить в наше время.

Взгляд его упал на большие блестящие тумбочки венецианской работы, высившиеся над старинными столами, с опорами в виде львов. Они, казалось, были созданы для гигантов и вмещали несметное количество глубоких ящичков, украшенных снаружи мифологическими картинками из разноцветной эмали. Эти четыре вещи были великолепными образцами музейной редкости — воспоминанием о прежнем величии рода. И они уже не принадлежали ему. Их постигла участь ковров, и они ожидали здесь покупателя. У себя в доме Фебрер был всего: лишь сторожем, не ему, а все тем же кредиторам принадлежали итальянские и испанские картины, украшавшие стены двух смежных кабинетов, старинная мебель прекрасной работы с износившейся или порванной шелковой обивкой — словом, все, что сохраняло еще известную ценность среди остатков векового наследия.

Он вошел в приемную, примыкавшую к лестнице; это был огромный зал, находившийся в центре дома, холодный, с высоким потолком. Стены, когда-то белые, приняли с течением времени желтоватый оттенок слоновой кости. Нужно было закинуть голову, чтобы увидеть

почерневшую лепку потолка. Окна, расположенные под самым карнизом, помогали большим нижним окнам освещать этот огромный и мрачный зал. Обстановка была скудной и почти монастырской: просторные кресла с сиденьями и спинками из телячьей кожи, обитые, в виде украшения, выпуклыми гвоздями; дубовые столы на выгнутых ножках, потемневшие сундуки со ржавыми железными наугольниками поверх зеленого сукна, изъеденного молью. Пожелтевшая штукатурка стен проступала только узенькими полосками между рядами картин, многие из которых не имели рам.

Здесь были собраны сотни полотен; все они были скверными и, вместе с тем, любопытными. Заказанные для увековечения родовой славы и написанные старыми испанскими и итальянскими мастерами, побывавшими проездом на Майорке, эти полотна как бы излучали притягательную силу семейных преданий. Это была история Средиземноморья, изображенная кистью, то неумелой, то искусной: столкновения галер, штурмы крепостей, большие морские сражения, окутанные облаками дыма, а над ними — вымпела кораблей и высокие кормовые башни, на которых развевались флаги с мальтийским крестом или полумесяцем. Люди сражались на палубах кораблей или на небольших судах, пливших тут же рядом; море, окрашенное кровью или пламенем горевших кораблей, было усеяно сотнями голов утопающих, которые, в свой черед, сражались на волнах. Множество воинов в касках и шлемах билось на двух сцепившихся друг с другом кораблях с толпой людей в белых и красных тюрбанах, а над ними вздымались мечи и пики, кривые сабли и абордажные топоры. Выстрелы пушек и пищалей прорезали красными я пиками дым сражения; на других полотнах, не менее потемневших, виднелись замки, изрыгающие пламя из бойниц, а у подножия стен — воины с восьмиконечным белым крестом на латах, ростом почти что с башню, приставляли штурмовые лестницы к крепостной ограде.

На картинах сбоку было белое поле с теми же извилистыми линиями герба, на котором кривыми прописными буквами излагалась суть события: победоносные схватки с галерами Великого Турка или с пизанскими, генуэзскими и бискайскими пиратами, войны в Сардинии, штурмы Бухии и Теделиса. И во всех этих доблестных сражениях участвовал один из Фебреров, который, командуя солдатами, подавал им пример героизма; особенно же выделялся командор дон С воинственными сценами чередовались семейные портреты. На самом верху, примыкая к старинным изображениям евангелистов и мучеников, тянувшимся фризом вдоль потолка, виднелись древнейшие Фебреры, почтенные майоркинские купцы, написанные через несколько веков после смерти, степенные мужи с иудейскими носами и пронизательным взором, с драгоценными украшениями на груди и высокими, восточного типа шапками. Далее шли воины, мореходы, опоясанные мечом, коротко остриженные, похожие на хищных птиц, все в латах из вороненой стали и многие вдобавок с белым мальтийским крестом. От портрета к портрету лица становились тоньше, не утрачивая, однако, выпуклого семейного лба и властно очерченного носа. Широкие отложные воротники грубоотканых рубашек становились все выше и выше и переходили в накрахмаленное и гофрированное кружевное жабо, латы превращались в бархатные или шелковые колеты, широкие и жесткие бороды, остриженные по императорской моде, сменялись эспаньолками и закрученными усами, лица начинали обрамлять мягкие локоны.

Среди суровых воинов и изящных рыцарей выделялись своей черной одеждой служители церкви с усами и бородками, носившие высокие шляпы с кистями. Одни из них, судя по белому нагрудному знаку, были видными священнослужителями Мальтийского братства, другие — почетными инквизиторами Майорки, если верить надписи, прославлявшей их рвение в делах веры. За этими черными сеньорами, отличавшимися внушительным видом и суровым взглядом, начиналась вереница белых париков, галерея лиц, которым бритые щеки и подбородки придавали почти детское выражение, множество ярких шелковых и позолоченных кафтанов, украшенных лентами и орденами. Это были постоянные правители Пальмы: маркизы, утратившие свое высокое достоинство из-за неравных браков и присоединившие свой титул к титулам континентального дворянства; губернаторы,

капитан-генералы[10] и вице-короли американских стран, имена которых вызывали представления о фантастических богатствах; восторженные «красавчики», приверженцы Филиппа V, вынужденные бежать с Майорки, этого последнего оплота Австрийского дома, и чванливо носившие, как некий высший дворянский титул, прозвище бутифарры[11], присвоенное им враждебной чернью.

Почти над самой мебелью, словно замыкая славное шествие, выстроились последние Фебреры начала XIX века, морские офицеры с короткими бакенбардами и спущенными на лоб курчавыми прядями, в высоких воротниках с золотыми якорями и черными галстуками — участники сражений при Трафальгаре[12] и мысе Сент-Винсент[13], за ними шел портрет прадеда Хайме, старика с жесткими глазами и презрительно сжатым ртом. Когда Фердинанд VII вернулся из французского плена[14], он вместе с другими важными сеньорами отплыл в Валенсию, чтобы, припав к стопам короля, просить о восстановлении древних обычаев и об искоренении зарождающейся язвы либерализма. Он был плодовитым патриархом и расточал свою кровь в самых различных уголках острова, преследуя главным образом крестьянок. При всем том он нимало не утрачивал присущей ему важности и, подставляя руку для поцелуя своим законным сыновьям, жившим у него в доме и носившими его фамилию, торжественно говорил: «Дай бог, чтобы из тебя вышел славный инквизитор!»

Среди портретов знаменитых Фебреров было несколько женских. Сеньоры в пышных платьях с фижмами заполняли целые полотна и ходили на дам, написанных кистью Веласкеса. Одна из них, в широкой бархатной тканной цветами, юбке колоколом, выделялась своей хрупкой фигурой, острым бледным лицом и выцветшей лентой в коротких вьющихся волосах. В семье она прославилась знанием греческой словесности, за что была прозвана Гречанкой. Ее учителем был родной дядя — монах Эспиридион Фебрер, настоятель монастыря Санто Доминго, великое светило своего времени, и Гречанка могла переписываться по-гречески с восточными клиентами, еще поддерживавшими замирающую торговлю с Майоркой.

Хайме пропустил несколько полотен, — это соответствовало примерно столетию, — и взглянул на еще один женский портрет, знаменитый в семье. Это была девочка в белом паричке, одетая, как взрослая, в плиссированную юбку на обручах, какие носили дамы в XVIII веке. Она стояла у стола, возле вазы с цветами, глядя с полотна глазками фарфоровой куколки; в ее бескровной правой руке была роза, больше походившая на помидор. Ее называли Латинянкой. Надпись на картине повествовала в напыщенном стиле той эпохи о ее скромности и учености, оплакивая под конец ее смерть в одиннадцатилетнем возрасте. Женщины были как бы сухими ветвями на мощном стволе дерева Фебреров — воинов, полных жизненных сил. Ученость быстро угасала в этом роду моряков и солдат, как погибает растение, выросшее в неблагоприятном для него климате.

Погруженный в размышления, которым от предавался накануне, и озабоченный предстоящим путешествием в Вальдемосу, Хайме задержался в приемной, разглядывая портреты своих предков. Сколько славы... и сколько пыли!.. Уже лет двадцать, наверно, сострадательная тряпка не прикасалась к славному семейству, чтобы придать ему более приличный вид. Отдаленные предки и громкие баталии покрылись паутиной. И подумать только — ростовщики не желали приобретать этой славной музейной коллекции, считая картины плохими! Никак не удавалось продать эти памятные реликвии богачам, желающим добыть себе знатное происхождение!..

Пройдя приемную, Хайме вошел в комнаты противоположного крыла. Потолок здесь был ниже; над ним шел второй этаж, занимаемый в свое время дедом Фебрера; комнаты эти со старой мебелью в стиле ампира казались более современными. На стенах висели раскрашенные гравюры эпохи романтизма, изображавшие злоключения Атала[15], историю любви Матильды[16] и подвиги Эрнандо Кортеса[17]. На пузатых комодах, среди запыленных матерчатых цветов под стеклянными колпаками, стояли разноцветные фигурки святых и распятия из слоновой кости.

Коллекция луков, стрел и ножей напоминала об одном из Фебреров, командире королевского фрегата, совершившем в конце XVIII века кругосветное путешествие. Пурпурные морские ракушки и огромные жемчужные раковины украшали столы.

Продолжая свой путь по коридору, Хайме направился в кухню, пройдя мимо часовни, не отпирившейся годами, и архива — обширной комнаты, выходившей окнами в сад, в которой он, вернувшись из путешествий, провел немало вечеров, перебирая связки рукописей, хранившиеся в старинных шкафах за проволочными решетками.

Он заглянул в огромную кухню, где в свое время Фебреры, всегда окруженные приживальщиками и особенно щедрые на угощение друзей, приезжавших на остров, готовились к своим знаменитым пирам. Мадо Антония казалась совсем маленькой в этом просторном помещении, возле большого очага, вмещавшего целую гору дров, на котором можно было одновременно зажарить несколько туш. Духовок здесь хватило бы на целую общину. Холодная опрятность помещения свидетельствовала о том, что им давно не пользовались. Пустые крюки на стенах выдавали отсутствие медных котлов, бывших в свое время предметом гордости этой монастырской кухни. Старая служанка стряпала на маленьком очажке возле квашни, в которой обычно ставила хлеб.

Хайме окликнул мадо Антонию, чтобы дать ей о себе знать, и прошел в смежное помещение, небольшую столовую, — ею пользовались последние Фебреры. Обеднев, они бежали из большого зала, где в старину задавались пиры.

И здесь были заметны следы нищеты. Большой стол покрывала потрескавшаяся клеенка сомнительной чистоты. Буфеты зияли пустотой. Старинный фарфор разбивался, и его постепенно заменяли блюда и миски грубой работы. В глубине комнаты было два окна, распахнутых настежь; в них, как и рамках, виднелось море беспокойно синего цвета, трепещущее под жгучим солнцем. В квадратных просветах тихо покачивались ветви пальм. Далее, на горизонте, выделялись белые крылья парусника, медленно, как утомленная чайка, подходившего к Пальме.

Вошла мадо Антония и поставила на стол большую чашку дымящегося кофе с молоком и ломоть хлеба с маслом. Хайме с жадностью набросился на завтрак, но, едва начав жевать хлеб, нахмурился. Мадо сочувственно кивнула головой и затараторила на своем майоркинском наречии:

— Черствый, не правда ли?..

Конечно, этот хлеб не может идти в сравнение с булочками, которые сеньор кушает в клубе, но она в этом не виновата. Вчера вечером она собиралась поставить тесто, но не было муки, и она все еще ждет крестьянина из Сон Фебрера, который должен уплатить свою подать. Уж такие неблагодарные и забывчивые люди!..

Старая служанка подчеркнуто выражала свое презрение к арендатору, обрабатывавшему Сон Фебрер — ферму, составлявшую последнее достояние рода. Этот крестьянин многим обязан милостям Фебреров, а теперь, в трудную минуту, он забывает о своих господах.

Продолжая жевать, Хайме раздумывал о Сон Фебрере. Эта земля также уже не принадлежала ему, хотя он и считался ее владельцем. Ферма, расположенная в центре острова — лучшая усадьба, унаследованная от родителей, носившая имя Фебреров, была заложена, и он мог потерять ее в любой момент. Арендная плата, скудная по традиции, позволяла оплачивать лишь небольшую часть процентов по закладной, а неуплаченная доля увеличивала сумму долга. На жизнь оставались только платежи натурой, которые по древним обычаям обязан был вносить крестьянин; на них-то и кормились они с мадо Антонией, затерянные в огромном доме, под покровом которого могло приютиться целое племя. На рождество и «а пасху он получал пару овец и дюжину домашних птиц, осенью — пару



откормленных на убой свиней и каждый месяц — муку и яйца, не считая фруктов. На эти приношения, часть которых съедалась, а часть продавалась через служанку, существовали Хайме и мадо Антония в уединенном особняке, вдали от нескромных взоров толпы, подобно жертвам кораблекрушения, затерявшимся на небольшом островке. Поставки натурой каждый раз все больше запаздывали. Арендатор, с присущим ему крестьянским эгоизмом, не желая встречаться с тем, кто попал в беду, явно ленился и всячески затягивал выполнение своих обязательств. Он знал, что наследник майората не был настоящим хозяином Сон Фебрера, и часто, приезжая в город со своей данью, сворачивал с дороги и развозил ее по домам кредиторов, людей для него опасных, с которыми ему хотелось поддерживать хорошие отношения.

Хайме с грустью смотрел на служанку, молча стоявшую перед ним. Эта старая крестьянка все еще носила деревенский наряд — темную кофту с двумя рядами пуговиц на рукавах, светлую полосатую юбку, а на голове — нечто вроде покрывала — перехваченную у подбородка и на груди белую косынку, из-под которой виднелась очень толстая и черная привязная коса с широкими бархатными лентами на конце.

— Нищета, мадо Антония! — отвечал хозяин на том же наречии. — Все сторонятся бедняков, и если в один прекрасный день этот бездельник не привезет положенного, нам придется съесть друг друга, на манер потерпевших кораблекрушение.

Старуха улыбнулась: сеньор вечно шутит. Он живой портрет деда дона Орасио: тот тоже был всегда серьезным, и все боялись его взгляда, а какие шутки он отпускал!..

— Пора с этим покончить, — продолжал Хайме, не обращая внимания на улыбку служанки. — Все это кончится сегодня же, я решил... Узнай же, мадо, пока об этом не пошли толки, — я женюсь.

Служанка в изумлении набожно сложила руки и подняла глаза к потолку. Святая кровь Иисусова! Давно пора... пораньше бы это сделать, и дом бы иначе выглядел. И пей пробудилось любопытство, и она спросила с подлинно крестьянской жадностью:

— Она богата?..

Утвердительный жест хозяина не поразил ее. Конечно, она должна быть богатой. Только женщина с крупным состоянием может надеяться на брак с последним из Фебреров, которые всегда были самыми именитыми людьми на острове да, пожалуй, и на всем свете.

Бедная мадо подумала о своей кухне, мгновенно населив ее в своем воображении медной посудой, блестящей как золото, увидела ее с пылающими очагами, полную девушек с засученными рукавами, со сбитыми назад косынками и развевающимися косами. А сама она сидит посредине в кресле, отдает приказания и вдыхает сладкий аромат кастрюль.

— Молодая, должно быть! — полуутвердительно сказала старуха, чтобы выпытать у хозяина побольше.

— Да, молодая, гораздо моложе меня, даже слишком молодая — ей не больше двадцати двух лет. Будь мне чуть-чуть побольше, и я бы ей годился в отцы.

Мадо протестующе отмахнулась. Дон Хайме — самый красивый мужчина на острове. Уж она-то может это сказать, ведь она не могла налюбоваться на него еще в те времена, когда он носил короткие штанишки, а она водила его за руку на прогулку в сосновый парк, неподалеку от замка Бельвер. Он настоящий Фебрер — из рода важных сеньоров, а этим все сказано.

— А она из хорошей семьи? — продолжала старуха свои вопросы, стараясь заставить

хозяина разговориться. — Наверно, из дворянского рода, самого лучшего на острове?.. Да нет, теперь угадала: должно быть, из Мадрида. Вы обручились с ней, когда жили там.

Хайме в нерешительности помолчал несколько минут, побледнел и наконец, скрывая свое смущение, решительно сказал:

— Нет, мадо... Она чуэта.

Мадо вновь скрестила руки и опять возвала к крови Христовой, столь почитаемой в Пальме; но морщины на ее смуглом лице внезапно разгладились, и она рассмеялась:

— Ну и шутник же сеньор! Такой же, как и его дед. Тот тоже говорил самые удивительные и невероятные вещи, да так серьезно, что люди принимали их за правду. А она-то, бедная дура, поверила этим шуткам! Может быть, со свадьбой — это тоже обман?..

— Нет, мадо. Я женюсь на чуэте... Женюсь на дочери дона Бенито Вальса. Ради этого я и еду сегодня в Вальдемосу.

Тихий голос Хайме, опущенные глаза и робкий тон, которым он произнес эти слова, не оставили у служанки никаких сомнений. Она так и застыла с раскрытым ртом, опустив плечи, не в силах поднять ни рук, ни глаз.

— Сеньор... Сеньор... Сеньор!..

Больше она не могла ничего сказать. Ей почудилось, что удар грома потряс старый дом, что огромная туча надвинулась и заслонила солнце, что ставшее свинцовым море двинуло свои гневные волны на эти стены. Потом она поняла, что все осталось на месте, что только ее одну потрясло это страшное известие, способное перевернуть все на свете.

— Сеньор... Сеньор... Сеньор...

И, схватив со стола пустую чашку и остатки хлеба, старуха бросилась бежать, чтобы поскорее укрыться а кухне. После всех ужасов, которые она выслушала, дом показался ей страшным. Как будто кто-то ходил по пустынным залам в другой части здания, кто-то, кого она не знала, но кто, должно быть, проснулся от векового сна. У этого большого дома была душа. Когда старуха оставалась одна, мебель начинала поскрипывать, точно разговаривая сама с собой, гобелены как будто шевелились от чьих-то невидимых прикосновений, позолоченная арфа бабушки дона Хайме трепетала в темном углу, «о раньше мадо никогда этого не боялась, потому что все Фебреры были хорошими людьми, простыми и снисходительными к своим слугам. Но теперь, наслушавшись таких вещей!.. С некоторой тревогой подумала она о портретах, украшавших приемную. Какие должны быть лица у знатных господ, если до них дошли сейчас слова их потомка!

В конце концов, мадо Антония успокоилась и выпила остатки кофе, приготовленного для хозяина. Ей уже не было страшно, но она была глубоко опечалена судьбой дона Хайме, словно ему грозила смертельная опасность. Вот какой конец пришел дому Фебреров! И бог это терпит?.. На минуту старинная привязанность к хозяину сменилась чем-то вроде презрения. Ведь он ветрогон, позабывший о религии и добрых нравах, прокутивший последние остатки семейного состояния. Что скажут теперь его благородные родственники? Какой позор для его тетки доньи Хуаны, благородной дамы, самой набожной и родовитой на всем острове, для нее, которую одни в шутку, а другие от избытка уважения зовут Папессой!

— Прощай, мадо... К вечеру я вернусь!

Хайме, заглянувшего к ней проститься, старуха проводила ворчаньем. Потом, оставшись одна, воздела руки к небу, взывая к заступничеству Иисуса, святой девы Льюкийской,

покровительницы острова, и преподобного Сан Висенте Феррера, совершившего множество чудес в ту пору, когда он бы проповедником на Майорке. Сотвори же еще одно чудо, святой угодник, и отврати хозяина от задуманного им страшного дела!.. Пусть лучше каменная глыба упадет с горы и закроет навсегда путь в Вальдемосу; пусть опрокинется карета, и дона Хайме принесут домой, четверо мужчин... Все лучше, чем этот позор!

Фебрер прошел приемную, открыл дверь на лестницу и стал спускаться по пологим ступенькам. Предки его, как и все дворяне острова, строили с известным размахом. Лестница и внутренний двор занимали не менее трети нижней части дома. Своеобразная лоджия в итальянском вкусе, с пятью арками, опиравшимися на стройные колонны, тянулась в конце лестницы; по краям ее находились две двери, которые вели в оба верхних крыла здания. В центре балюстрады, расположенной над лестничным пролетом, против входной двери, виднелся каменный герб рода Фебреров, а над ним — большой фонарь из кованого железа.

Спускаясь, Хайме ударял палкой по ступенькам из песчаника или постукивал по большим покрытым глазурью вазам, украшавшим плоские уступы поручней. От ударов вазы звенели, как колокола. Ржавые от времени, облезлые и расшатанные, железные перила дрожали от шума его шагов.

Сойдя во двор, Фебрер остановился. Принятое им крайнее решение, которое навсегда должно было изменить судьбу рода, заставило его взглянуть с известным любопытством на те места, мимо которых раньше он проходил совершенно равнодушно.

Ни в одной части здания не выступало так отчетливо, как здесь, его былое величие. Внутренний двор, широкий как площадь, мог вместить более дюжины карет и целый эскадрон всадников. Двенадцать толстых колонн из местного мрамора орехового цвета поддерживали арки из тесаного камня, без всякой отделки, над которыми на черных балках была настлана крыша. Сквозь булыжники мостовой пробивался сырой мох. В этом огромном и пустынном дворе веяло холодом развалин. Из-под полусгнившей двери бывших конюшен выскочила кошка и, пробежав по двору, скрылась в заброшенных подвалах, где в прежнее время хранили урожай. Сбоку находился колодец, построенный в ту же пору, что и само здание: отверстие, пробитое в скалистом грунте, с потертой от времени каменной закраиной и железным кованым навесом. Плющ свежими побегами обвивал выступы из полированного камня. Ребенком Хайме не раз склонялся над колодцем, заглядывал вниз, в круглый и блестящий зрачок уснувших вод.

На улице было пусто. В конце ее, возле садовой ограды дома Фебрера, виднелась часть городской стены, а в ней — большой портал с аркой, деревянные украшения которой походили на зубы в огромной рыбьей пасти. В глубине пасти трепетали и искрились зеленые воды залива.

Тротуара не было, и потому Хайме сделал несколько шагов по голубоватым камням мостовой и остановился, чтобы взглянуть на дом. Теперь это был лишь жалкий обломок прошлого. Старинный особняк Фебреров занимал целый квартал; но с веками, повлекшими за собой обнищание семьи, былые размеры дома уменьшались. Теперь одну часть его занимали монахи, а другие были приобретены богачами, которые изуродовали современными балконами первоначальное единство здания, проступавшее еще в однообразной линии карнизов и крыш. Сами Фебреры нашли себе убежище во флигеле, выходившем на море и в сад; нижний этаж, для увеличения доходов, пришлось сдать торговцам и мелким предпринимателям. Возле главного входа сквозь витрины виднелись девушки, гладившие белье; почтительно улыбнувшись, они поздоровались с доном Хайме. Он все еще не двигался с места, продолжая разглядывать старинный дом. Как это все еще красиво, несмотря на следы болезни и старости!..

Каменный цоколь, местами поцарапанный и побитый в результате тесного общения с людьми

и повозками, на уровне земли прорезали отдушины, забранные решетками. Нижняя часть здания казалась стертой, покалеченной и запыленной, как ноги веками шествовавшего странника.

Благородное великолепие фасада раскрывалось начиная с нижнего этажа, имевшего отдельный вход и сданного в аренду владельцу аптечного склада. Три больших окна на уровне арки портала, разделенные двойными колоннами, выделялись рамами из тонко обточенного черного мрамора. Высеченные из камня репейники обвивали колонны, служившие опорой карнизам. Над ними выступали три крупных медальона: центральный — с бюстом императора и надписью «Dominus Carolus Imperatur, anno 1541»[18] в память августейшего приезда на Майорку перед злополучной алжирской экспедицией, и два боковых — с гербами Фебреров и рыбами с боролатыми человеческими лицами. По нишам и карнизам больших окон первого этажа вились гирлянды с вплетенными в них якорями и дельфинами, напоминавшими о былой славе рода мореплавателей. Гирлянды завершались огромными раскрытыми раковинами. Вдоль верхней части фасада размещались друг подле друга маленькие окошечки в готическом стиле; одни из них были заделаны, другие же служили для доступа света и воздуха в мансардные помещения. Над ними шла крыша с огромным монументальным навесом, какие встречаются только у майоркинских особняков, — навесом, простиравшим до середины улицы резные деревянные украшения, почерневшие от времени и опиравшиеся на огромные водосточные трубы.

По всему фасаду тянулись в виде четырехугольников деревянные, подточенные червями выступы с гвоздями и кольцами из ржавого железа, оставшиеся после больших иллюминаций, которыми отличались празднества в эпоху, былого величия.

Хайме остался доволен осмотром. Он все еще прекрасен, дворец предков, несмотря на выбитые стекла в окнах, на пыль и паутину, забившиеся во все углы, на штукатурку, растрескавшуюся от времени. Когда он, Хайме, женится и состояние старого Вальса перейдет к нему в руки, все изумятся великолепному возрождению дома Фебреров. А кое-кто еще смеет возмущаться его решением, да и сам он колеблется!.. Вперед же!

Он направился к Борне, широкому проспекту в центре Пальмы. В свое время это была река, разделявшая город на две части и на две враждебные партии — Верхних и Нижних Канов. Там он найдет экипаж для поездки в Вальдемосу.

Выйдя на Борне, он заметил в тени развесистых деревьев нескольких прохожих, наблюдавших за крестьянами, которые остановились перед витриной магазина. Фебрер узнал их по одежде, отличавшейся от крестьянских нарядов его острова. Это ивятияне... Ах, Ивиса!.. Название этого острова напомнило ему о том, что когда-то в юности он провел там лето. Увидев этих людей, вызывавших, как всякие чужестранцы, улыбку у майоркинцев, Хайме тоже улыбнулся, с любопытством разглядывая их внешность и одежду.

Несомненно, это был отец с сыном и дочерью. Крестьянин был обут в белые альпаргаты, на которые широким колоколом ниспадали синие плюшевые шаровары. Из-, под куртки, застегнутой на груди на одну пуговицу, виднелись рубашка и широкий пояс. Темный женский плащ был накинут на плечи наподобие шали; в дополнение к этому полуженскому наряду, плохо вязавшемуся с суровыми чертами смуглого лица арабского типа, под шляпой был надет платок, повязанный у подбородка, со свисающими на плечи концами. Сын, на вид лет четырнадцати, был одет так же, как отец: те же брюки, узкие наверху и внизу широкие, как колокол; отсутствовали только плащ и платок. Розовый бант болтался на груди вместо галстука, за ухом виднелась зеленая веточка, а из-под шляпы с лентой и цветами выбивались волнистые кудри, ниспадавшие на смуглое, худое и плутоватое лицо, оживленное блеском черных как уголь африканских глаз.

Особенно привлекала к себе внимание девушка в зеленой, с мелкими складками, юбке, под

которой угадывались другие юбки, пышной волной облежавшие фигуру, от чего маленькие и стройные ноги, обутые в белые альпаргаты, казались еще меньше. Высокую грудь скрывала желтая с красными цветами шаль; из-под нее виднелись бархатные рукава другого цвета, чем корсаж, украшенные двумя рядами филигранных пуговиц, изделием мастеров-чуэтов. Нагрудный крест висел на тройной цепочке из яркого золота, огромные звенья которой, не будь они полыми, могли бы, казалось, придавить ее хрупкий стан своим весом. Черные волосы, разделенные спереди прямым пробором, исчезали под белым платком, завязанным у подбородка, и спускались сзади толстой и длинной косой, перевитой разноцветными лентами, свисавшими до подола.

С корзинкой на руке, девушка неподвижно стояла на краю тротуара, с любопытством разглядывая высокие дома и террасы кафе. Белая и румяная, она не походила на суровых и меднолицых деревенских женщин. Черты ее лица были изящны, как у холеной монахини-аристократки; бледная нежность щек оттенялась яркой белизной зубов и робким блеском глаз, глядевших из-под платка, похожего на монашеский капюшон. Привлеченный невольным любопытством, Хайме подошел к отцу и сыну, которые, стоя спиной к девушке, были погружены в созерцание витрины. Это была оружейная лавка. Оба ивитаина рассматривали выставленные в окне образцы с горящими глазами и подобострастными жестами, как бы преклоняясь перед изображениями злых духов. Мальчик наклонил к витрине свою голову маленького мавра, словно желая просунуть ее сквозь стекло.

— Посмотри, отец!.. Посмотри же! — восклицал он с изумлением человека, встретившего нежданного друга, показывая отцу на пистолеты Лефоше.

Но особое восхищение обоих крестьян вызывали образцы неизвестного им дотоле оружия, казавшиеся им чудесными произведениями искусства — ружья с потайным замком, многозарядные карабины, пистолеты с обоймой, способные сделать подряд несколько выстрелов. И чего только не придумают люди! Чем только не тешатся богачи!.. Им казалось, что у всего этого неподвижно лежащего оружия — живая, злобная душа и безграничное могущество. Наверно, само убивает, хозяину не надо даже прицеливаться.

Отраженное в стекле лицо Фебрера заставило отца быстро повернуть голову.

— Дон Чауме!.. Боже мой, дон Чауме!..

Он был настолько ошеломлен неожиданной встречей и настолько обрадован, что, схватив Фебрера за руки, едва не упал на колени и заговорил дрожащим голосом. Они задержались на Борне, собираясь идти в дом дон Хайме к тому часу, когда тот встанет. Он ведь знает, что господу ложатся поздно. Как он рад его видеть!.. А вот и атлоты[19], пусть хорошенько посмотрят на сеньора! Это дон Хайме, хозяин. Он не видел его уже десять лет, но все равно узнал бы среди тысячи людей.

Фебрер, смущенный бурными проявлениями чувств крестьянина и почтительным любопытством обоих детей, застывших перед ним, не мог ничего припомнить. Добрый малый по растерянному взгляду Хайме понял его недоумение.

— Неужто не узнаете?.. Я Пеп Араби, с Ивисы. Правда, это мало о чем говорит, на острове всего шесть-семь фамилий, и добрая четверть жителей зовется Араби. Да чего проще объяснять: я Пеп из Кан-Майорки.

Фебрер улыбнулся. О, Кан-Майорки!.. Маленький хутор на Ивисе, единственное наследство матери, где он провел год еще мальчиком. Вот уже двенадцать лет, как Кан-Майорки ему не принадлежит. Он продал его Пепу, предки которого возделывали эти земли.

Это было в те времена, когда у него еще водились деньги. Зачем ему эта земля где-то вдали, на другом острове, куда он никогда не вернется?... С великодушием богатого сеньора он

дешево уступил ее Пепу, назначив обычную цену, и согласился на длительную рассрочку платежей, — потом, в трудную минуту, они не раз неожиданно радовали его. Несколько лет тому назад Пеп выплатил долг, но по-прежнему добрые люди называли Хайме хозяином и при встрече с ним ощущали как бы присутствие высшего существа.

Пеп Араби представил свою семью. Старшей была девушка, по имени Маргалида: настоящая женщина, хотя ей только семнадцать лет. Младший — почти мужчина, ему тринадцать. Он хочет обрабатывать землю, как отец и дед, но он, Пеп, готовит сына в Ивисскую семинарию: мальчик толковый, разбирается в грамоте. А землю он сохранят для того доброго и трудолюбивого молодца, который женится на Маргалиде. На острове уже многие ухаживают за ней, и, когда семья вернется домой, как раз начнется пора фестейжей — традиционных смотрин, где она сможет выбрать себе мужа.

А у сынишки, Пепета, удел повыше: он будет священником, отслужит свою первую обедню в полку или направится в Америку. Так поступали многие ивители, зарабатывали там массу денег и присылали их родителям для покупки земель на острове.

Ах, дон Хайме, как бежит время!.. Он видел сеньора почти ребенком, когда тот проводил лето вместе с матерью в Кан-Майорки. Тогда Пеп обучал его стрельбе из ружья по птичьему молодняку. «Помните, ваша милость?..» Тогда он, Пеп, только собирался жениться, родители были еще живы. С той поры они виделись только раз на Пальме, по случаю продажи хутора, — эту милость он никогда не забудет, а теперь он почти старик и его дети скоро его перерастут.

Рассказывая о путешествии, он лукаво улыбался, поминутно обнажая свои крепкие зубы крестьянина. Это ведь сущая блажь, и о ней еще долго будут толковать на Ивисе! Он всегда был ловким и шустрым, — этому он обучился еще со времен военной службы. Хозяин маленького парусника, его большой приятель, принял груз для отправки на Майорку и, шутки ради, пригласил его с собой. Но с ним шутить нельзя: сказано — сделано! Ребятишки никогда еще «е бывали на Майорке, да и всего-то из их прихода Сан Хосе в городе побывало человек двенадцать, не больше. Многие уехали в Америку, иные побывали в Австралии, соседи рассказывали о поездке в Алжир на фелюгах контрабандистов, но на Майорку никто не ездил, оно и понятно: «Не любят нас здесь, дон Хайме, смотрят как на диких зверей, считают дикарями, будто не все мы дети божьи...» И вот они с ребятками здесь, с самого утра привлекают к себе людское любопытство, словно они мавры какие-то. Плыли они десять часом, море было чудесное, — девочка захватила в корзинке еду на троих. Завтра с утра они уедут, но до этого хотелось бы поговорить с хозяином. Дело есть к нему.

У Хайме вырвался жест удивления, и он внимательнее стал слушать Пепу. Тот выражал свои мысли с некоторой робостью, запинаясь. Миндальные деревья — лучшее богатство Кан-Майорки. Урожай в прошлом году был хороший, да и в этом году, должно быть, будет неплох. Он продает его скупщикам, а те отправляют товар в Пальму и Барселону. Миндалем он засадил почти все свои поля, а теперь вот задумал освободить и очистить от камней земли сеньора и посеять на них пшеницу — немного, равно столько, сколько нужно на пропитание семьи.

Фебрер не мог скрыть свое изумление. Какие еще земли?.. Разве у него еще что-то осталось на Ивисе?.. Пеп улыбнулся. Это, собственно, не настоящие земли, это утес, скалистый мыс, нависший над морем, но частью земли — грядями на склонах — можно воспользоваться. Там наверху — башня Пирата, разве сеньор не помнит?.. Крепость времен корсаров, куда дон Хайме не раз поднимался с дубинкой в руке, издавая воинственные клики и отдавая воображаемому войску приказ о штурме.

И сеньор, на минуту поверивший в то, что есть еще какая-то забытая усадьба, где он мог бы быть настоящим хозяином, грустно улыбнулся.

Да, башня Пирата! Он помнит ее. Скала из известняка, утес, где в расщелинах цветут дикие растения, — убежище и корм для кроликов. Старое каменное укрепление постепенно разрушается под натиском времени и морских ветров. Плиты вываливаются из гнезд, стенные зубцы источены. При продаже Кан-Майорки башню не включили в договор о ней, должно быть, забыли, как о чем-то ненужном. Пусть Пеп делает с ней что угодно, ему, дону Хайме, никогда не придется возвращаться в это место, позабытое со времен детства.

И так как крестьянин пытался продолжить разговор о будущих расчетах, Фебрер оборвал его широким жестом богатого сеньора. Затем взгляд его упал на девушку. Очень хорошенькая, кажется переодетой барышней: на острове, наверно, все парни от нее без ума.

Отец горделиво улыбнулся, польщенный этими похвалами. «Кланяйся же, девочка! Как надо отвечать?..»

Он говорил с ней, как с ребенком, а она, потушив глаза и зардевшись от внезапно прихлынувшего к щекам румянца, скомкала правой рукой кончик фартука и прошептала на ивисском наречии:

— Нет, я некрасивая... Слуга вашей милости...

Хайме счел свидание оконченным и предложил Пепу зайти с детьми к нему в дом. Крестьянин с давних пор знаком с мадо Антонией, и старуха будет рада его видеть. Они могут с ней вместе пообедать чем бог послал. А вечером, когда он, Фебрер, вернется из Вальдемасы, они увидятся. «Прощай, Пеп! Прощайте, атлоты!»

И он поманил кучера, восседавшего на козлах майоркинской кареты — легчайшей четырехколесной повозки с веселым парусиновым тентом.

II

Оказавшись вдали от Пальмы, среди цветущих весенних полей, Фебрер с горечью подумал о своей нынешней жизни. Целый год он не выезжал из города, проводя вечера в кафе на Бороне, а ночи — в игорном зале казино.

И никогда не приходила ему в голову мысль выехать из Пальмы, посмотреть на нежно зеленеющие поля с журчащими ручьями и кротким голубым небом, с плывущими по нему белыми барашками, темно-зеленые холмы с вертящимися ветряными мельницами, розоватые уступы гор, замыкающие горизонт, — на весь веселый и шумный пейзаж, поразивший древних мореплавателей и побудивший их назвать Майорку счастливым островом!.. Когда он женится и разбогатеет, он сможет выкупить прекрасное поместье Сон Фебрер и проводить там большую часть года, пользуясь, как и его предки, благами сельской жизни крупного сеньора, щедрого и всеми уважаемого.

Парная карета мчалась быстро: лошади бежали во всю прыть; они нагоняли и оставляли позади крестьян, возвращавшихся из города и шагавших гуськом по обочине. Шли стройные смуглые женщины в широких, надетых поверх кос и белых чепцов соломенных шляпах со свисающими лентами и букетами полевых цветов. На мужчинах была одежда из полосатого полотна, так называемой майоркинской ткани; сдвинутые назад фетровые шляпы казались серыми и черными нимбами вокруг бритых лиц.

Словно иностранец, возвратившийся на остров после отсутствия, вспоминал Фебрер все повороты дороги, по которой не ездил вот уже несколько лет. Немного подалее она

разветвлялась — одна дорога шла на Вальдемосу, другая на Сольер... О, Сольер!.. На память внезапно пришло забытое детство. Каждый год в такой же точно карете Фебреры отправлялись в Сольер, где у них был старинный дом с большим двором — его называли домом Луны из-за украшавшей ворота полукруглой каменной арки с глазам» и носом, изображавшей ночное светило.

Происходило это обычно в начале мая. Всякий раз как карета выезжала из ущелья на самой вершине горного кряжа, маленький Хайме Фебрер испускал радостные крики, любуясь расстилавшейся у его ног долиной Сольера — этим майоркинским садом Гесперид[20]. Вершины гор, затененных сосновыми лесами и усеянных белыми домиками, всегда были окутаны дымкой тумана. Внизу, вокруг городка, по всей долине, вплоть до невидимого моря, простирались апельсиновые рощи. Весна рассыпалась по этой благодатной земле целым каскадом красок и ароматов. Дикие растения высились среди скал, увенчанных цветами, стволы деревьев опутывала вьющаяся зелень. Бедные крестьянские хижины скрывали свое убожество под коврами вьющихся роз. На праздник в Сольер из всех сел округа стекались крестьянские семьи: женщины в белых чепцах, тяжелых мантильях, с золотыми пуговицами на рукавах, мужчины — в нарядных жилетах, суконных накидках и фетровых шляпах с цветными лентами. Гнусавила флейта, приглашая к танцу, из рук в руки передавались стаканы со сладкой водкой местного приготовления и вином из Баньяльбуфара. Это был праздник мира после тысячелетних войн и пиратских схваток с неверными на Средиземном море, веселое торжество в память победы, одержанной в XVI веке населением Сольера над кораблями турецких корсаров.

В гавани рыбаки, переодетые христианскими воинами и мусульманами, разыгрывали на своих жалких лодках морской бой, стреляя из мушкетов и размахивая шпагами, или гонялись друг за другом по прибрежным дорогам. В церкви служили праздничную мессу в память чудесной победы, и Хайме, сидя на почетном месте возле матери, трепетал от волнения, слушая проповедника, словно читал интересную книжку в дедовской библиотеке, находящейся во втором этаже их дома в Пальме.

Когда с одного из ивисских судов дали знать, что двадцать два турецких галеота и несколько галер направились к Сольеру, самому богатому поселку на острове, все население вместе с жителями Аларо и Буньолы поднялось с оружием в руках. Привлеченные богатствами Сольера, тысяча семьсот турок и африканцев, самые отчаянные пираты, высадились вблизи селенья, особенно горя желанием напасть на женский монастырь, где обитали удалившиеся от света молодые красавицы из самых знатных семейств. Неверные разбились на два отряда: один из них двинулся против христиан, выступивших им навстречу, а другой, обходным путем, проник в поселок и стал забирать в плен девушек и юношей, грабить церкви и убивать священников. Христиане оказались в трудном положении. Перед ними — тысяча турок, позади — городок, оказавшийся во власти грабителей, и отданные на поругание семьи, отчаянно взывающие о помощи. Колебания длятся недолго. Один сольерский сержант, храбрый ветеран, служивший в войсках Карла V и воевавший с немцами и турками, убеждает всех атаковать ближайшего противника. Христиане преклоняют колена, взывают к преподобному Яго и, надеясь на чудо, бросаются в атаку с мушкетами, аркебузами, копьями и топорами. Турки отступают и обращаются в бегство. Тщетно воодушевляет их грозный вождь Суфараис, властитель морей, старый разжиревший турок, известный своей отвагой и смелостью. Во главе своей негритянской гвардии, с саблей в руке, бросается он вперед, и сразу вокруг него вырастает гора трупов, но в конце концов какой-то сольерец пронзает ему грудь копьем, и, видя его гибель, нападающие бегут, потеряв свое знамя. Новый противник преграждает им путь, когда они, пытаясь спастись на своих судах, устремляются к берегу. С ближних утесов за сражением наблюдала ватага разбойников; заметив бегство турок, молодцы бросаются им наперерез, стреляя из кремневых ружей и потрясая обнаженными кинжалами. За ними — свора собак, жестоких спутников их бесчестной жизни. Набросившись на беглецов, животные рвут их на части, оправдывая, по словам старой хроники, «добрую



славу майоркинской породы». Победители возвращаются в опустошенный город, а грабители со всех ног бегут к морю или падают сраженными на улицах.

С волнением передавал проповедник повесть о славном деянии, приписывая добрую часть успеха царице небесной и апостолу-воителю. Далее он превозносил капитана Анхелата, героя битвы, сольерского Сиды, и «доблестных дам» из Кап-Тамани — двух женщин с близлежащего хутора. Они были застигнуты врасплох тремя турками, жаждавшими утолить свою животную страсть после долгого воздержания на морских просторах. Гордые и непреклонные, эти «доблестные дамы», как и подобает добрым крестьянкам, не закричали и не обратились в бегство при виде троих пиратов, врагов божьих и всех святых. Дверным засовом они убили одного из них и заперлись в доме. Выбросив труп из окна, они разбили им голову второму из нападавших и забросали камнями третьего с отвагой, достойной внучек майоркинских пращников. О «доблестные дамы», о стойкие женщины Кан-Тамани! Добрые люди преклоняются перед нами, святыми героинями тысячелетней войны с неверными, и с умиленной улыбкой взирают на подвиги этих орлеанских дев[21], с гордостью помышляя о той опасности, которой подвергались мусульмане в поисках живой дани для своих гаремов.

Следуя старинному обычаю, проповедник заканчивал свою речь, поименно называя тех, кто принимал участие в сражении. Сельская аудитория внимательно выслушивала добрую сотню имен, наклоняя головы в знак подтверждения всякий раз, как произносилось имя одного из предков. Многим это бесконечное перечисление казалось слишком кратким, и они бывали недовольны, когда проповедник умолкал. «Были и другие, да их не назвали», — шептали крестьяне, чьи имена не были оглашены. Все они хотели быть потомками воинов капитана Анхелата.

После окончания празднеств Сольер вновь обретал безмятежный покой. Маленький Хайме проводил дни, бегая по апельсинным рощам с Антонией, нынешней старой мадо Антонией, которая тогда была свежей женщиной с белыми зубами, выпуклой грудью и твердой поступью; красавица овдовела после нескольких месяцев замужества, и ее провожали пламенными взорами все мужчины в поселке. Мальчик ходил вдвоем с ней в порт, к спокойному и уединенному заливу, вход в который был почти незаметен из-за извилистых поворотов скалистого пролива, соединявшего бухту с морем. Лишь изредка по вечерам в этой закрытой голубой лагуне появлялись верхушки мачт, парусника, приплывшего из Марсея за апельсинами. Стаи старых чаек, огромных как куры, выделяли фигуры контрданса над гладкой поверхностью вод. К ночи прибывали рыбацьи лодки, и под навесами на берегу развешивались на крючьях огромные рыбы с волочившимися по земле хвостами, истекавшие кровью, как быки, и осьминоги и скаты, которые выбрасывали клочья прозрачной белой слизи.

Хайме любил этот тихий, таинственно молчаливый порт, внушавший ему благоговейное чувство. Ему припоминались легенды о чудесах, которые мать рассказывала ему на ночь; особенно сказание о том, как смиренный раб божий посрамил однажды на этих водах самых закоренелых грешников. Сан Раймундо из Пеньяфорта, добродетельный и суровый монах, был разгневан поведением дон Хайме, короля Майорки, состоявшего в постыдном сожителстве с некоей доньей Беренгелой и не желавшего внимать его святым советам. Отшельник почел за благо покинуть погрязший в грехах остров, но король воспротивился этому и запретил всем лодкам и судам выходить в море. Тогда святой, сойдя с горы, направился к пустынному порту Сольера, расстелил на волнах свои одежды и, став на них, пустился в путь к берегам Каталонии. Об этом чуде рассказывала мальчику и мадо Антония, но на свой лад, в простых и напевных майоркинских стихах, дышавших детским простодушием тех веков, когда люди верили во все необычайное. Ступив на свои одежды, святой поставил вместо мачты посох, а капюшон послужил ему парусом. Ниспосланный богом ветер погнал этот невиданный дотоле челн, и вскоре слуга господень приплыл с Майорки в Барселону. Стража на Монжуиге[22], подняв флаг, возвестила о прибытии чудесного судна, в кафедральном соборе зазвонили колокола, и весь торговый люд сбежался

к молу встречать святого странника.

Эти наивные предания возбудили любопытство маленького Фебрера, ему захотелось узнать больше, и мадо Антония обратилась к старым рыбакам. Те указали скалу, на которой перед отплытием стоял святой, взывая к господу о помощи. Одна из прибрежных скал, если смотреть на нее со стороны порта, по очертаниям своим напоминала монаха в капюшоне. А вдали, на месте совершенно недоступном и видном только рыбакам, одна из скал походила на коленопреклоненного и молящегося схимника. По мнению этих простодушных людей, такие чудеса были созданы богом для того, чтобы увековечить дивное спасение Раймундо.

Хайме до сих пор помнил, с каким затаенным трепетом он впитывал в себя все то, что ему рассказывали. О Сольер! Святая и чистая пора, когда жизнь впервые раскрылась перед ним сквозь дымку легенд о чудесах и воспоминаний о героических битвах... Теперь дом Луны потерян для него навсегда, навек утрачены наивная вера и чистота души, неразрывно связанные с той далекой порой. Уже более двадцати лет он не возвращался в забытый Сольер, который пробуждал теперь в его памяти радостные видения детства.

Карета подъехала к разветвлению дороги, свернула на Вальдемосу, и все воспоминания Фебрера, казалось, остались позади, замирая где-то за поворотом пути, улетучиваясь с расстоянием.

Дорога на Вальдемосу не воскрешала в его душе ни одной страницы прошлого. Он проезжал здесь всего два раза, уже взрослым, собираясь кое с кем из друзей посетить картезианский монастырь. Он припомнил росшие вдоль пути оливы, вековые деревья, причудливые и фантастические, которые рисовали многие художники, и выглянул в окно, чтобы посмотреть на них. Начинался крутой подъем; появились засушливые и каменистые поля — первые отроги горного кряжа. Дорога извивалась по склону, среди роц, и мимо окон кареты промелькнули первые оливы.

Фебрер знал о них, часто о них рассказывал, и все же ощущение необычайного овладело им, словно он видел эти оливы впервые. Почерневшие деревья с редкой листвой и большими наростами на огромных узловатых и обнаженных стволах казались необъятной толщины. Они насчитывали сотни лет. Их никогда не подрезали; ветви их истощила старость, и соки медленно текли во вздувшихся стволах, с трудом пробивая себе путь. Поле, где они росли, походило на заброшенную скульптурную мастерскую с сотнями пугающих своим безобразием этюдов, разбросанных по зеленому ковру, усеянному маргаритками и лесными колокольчиками.

Одно оливковое дерево казалось огромной жабой с пучком листьев во рту, поджавшей лапы и готовой прыгнуть; другое напоминало бесформенного удава с бесчисленными нагроможденными друг на друга кольцами и оливковым гребнем на голове; встречались стволы, опрокинутые, как оводы, сквозь которые сияло голубое небо; виднелись огромные змеи, сплетенные друг с другом, как спирали соломоновой колонны; гигантские негры, которые стояли вниз головой, опираясь руками о землю и погрузив в нее свои пальцы-корни, а из поднятых кверху ног торчали ветки, одетые листвой. Иные деревья, побежденные веками, лежали на земле, и стволы их, поддерживаемые вилами, напоминали собою старцев на костылях.

Казалось, по этому полю пронеслась гроза, которая все свалила и смяла; после нее природа словно окаменела и застыла под гнетом скорби и не могла уже вернуть себе первоначальный облик. Некоторые оливы, стройные, с более мягким контуром, обладали, казалось, женскими чертами и формами. Они походила на византийских дев с тиарами из легких листьев, в длинных древесных одеждах. Другие казались свирепыми идолами с выпученными глазами и развевающимися волнистыми бородами; они напоминали собой кумиры темных варварских времен, которые преграждали путь скитавшемуся по лесам первобытному человеку,

заставляя его преклонять колена и трепетать от страха при встрече с божеством. В тишине этой оцепеневшей и словно исковерканной бурями рощи, среди полей, населенных страшными и вечными призраками, распевали птицы; к подножию подгнивших стволов буйно устремлялись лесные цветы и бесконечной цепочкой слопали взад и вперед муравьи, словно неумомимые шахтеры подтачивая многолетние корни.

Жители острова рассказывают, что в этих оливковых рощах создавал самые свои фантастические картины Гюстав Доре[23]. Размышляя о великом художнике, Хайме вспомнил о других, не менее известных людях, которые тоже проезжали по этой дороге и которых приютила Вальдемаса, где они жили и страдали.

Дважды он посетил картезианский монастырь, чтобы взглянуть на те места, с которыми навеки связана память о грустной и болезненной любви двух знаменитых людей. Дед не раз рассказывал ему о «француженке из Вальдемасы» и ее спутнике-музыканте.

Однажды жители Майорки и беглецы с континента, искавшие спасения от ужасов гражданской войны[24], увидели, как на берег сошла чета иностранцев, а с ними — мальчик и девочка. Это происходило в 1838 году. После выгрузки багажа островитяне с изумлением рассматривали большой эраровский рояль, каких тогда еще было мало. Рояль задержали в таможне до разрешения всякого рода формальностей. Путешественники остановились в гостинице, а потом сняли усадьбу Сон Вент, неподалеку от Пальмы.

Мужчина, отличавшийся болезненным видом, был моложе своей спутницы, но сильно ослаблен недугом и бледен; бледность его напоминала прозрачность восковой свечи; глаза горели лихорадочным огнем, узкая грудь надрывалась от жестокого, непрерывного кашля. Тонкие бакенбарды оттеняли его щеки; густые непокорные волосы вились вокруг лба, ниспадая на затылок волнистыми прядями. В чертах и манерах его подруги было что-то мужское. Она вечно хлопотала по дому, как добрая хозяйка в скромной буржуазной семье, правда более прилежная, чем опытная. С детьми она играла, как ребенок, и ее доброе, улыбающееся лицо омрачалось лишь тогда, когда до нее доносился кашель любимого больного. Жизнь этой бродячей семьи была окутана атмосферой экзотики, чуждой всякой размеренности и благоустроенности; от нее веяло духом протеста против общепризнанных законов, управляющих людьми. Дама носила несколько фантастические платья и серебряный кинжал в волосах — романтическое украшение, возмущавшее набожных майоркинских сеньор. Помимо всего, она не ездила в город к мессе, не делала визитов и выходила из дому только затем, чтобы поиграть с детьми или вывести на солнце бедного чахоточного, опиравшегося на ее руку. В детях, как и в матери, бросались в глаза некоторые странности: девочку одевали мальчиком, чтобы ей свободнее было бегать по полям.

Вскоре любопытство островитян было удовлетворено: они узнали имена подозрительных чужестранцев. Она была француженкой, писательницей — Авророй Дюпен, бывшей баронессой, разведенной с мужем, — всемирно известной своими книгами, которые она подписывала мужским именем и фамилией политического преступника — Жорж Санд[25]. Он же был польский музыкант, человек хрупкого здоровья, который в каждое свое произведение, казалось, вкладывал частицу своей тонкой души, чувствуя, что умирает в двадцать девять лет. Его звали Фредерик Шопен. Писательнице, матери детей, исполнилось тридцать пять лет.

Майоркинское общество, погруженное в свои привычные занятия, подобно улитке в раковине инстинктивно враждебное всем безбожным парижским новшествам, было возмущено этой скандальной связью. Они не обвенчаны!.. И она пишет романы, пугающие своей откровенностью порядочных людей!.. Женщины из любопытства хотели познакомиться с их содержанием, но на Майорке книги получал один только дон Орасио Фебрер, дед Хайме, и маленькие томики «Индианы» и «Лелии», принадлежавшие ему, переходили из рук в руки, хотя читатели и не понимали их. Замужняя женщина пишет романы и живет с мужчиной,

который вовсе не ее муж!.. Отшельницу в Сон Вейте посетила донья Эльвира, бабушка Хайме, сеньора мексиканского происхождения, портрет которой он столько раз рассматривал и которую представлял всегда одетой в белое, с глазами, поднятыми к небу, и золотой арфой у колен. Ей льстило то, что она, иностранка, подавляет своим превосходством местных дам, не знающих французского языка; от писательницы она выслушала немало лирических похвал африканскому пейзажу острова с его белыми домиками, колючими кактусами, стройными пальмами и вековыми оливами — все это так резко отличалось от мягкого спокойствия французских равнин. Впоследствии на вечерних собраниях в Пальме донья Эльвира яростно защищала писательницу, эту бедную женщину со страстной душой, жизнь которой, как у сестры милосердия, была скорее полна горестей и забот, чем радостей любви. Чтобы пресечь возникшие толки, деду пришлось вмешаться и запретить знакомство.

Вокруг четы, нарушавшей приличия, образовалась пустота. Пока дети играли с матерью в поле, как маленькие дикари, больной, мучимый кашлем, запирался у себя в спальне или подходил к двери в сад в надежде поймать солнечный луч. Муза, болезненная и меланхоличная, навещала его глубокой ночью. За роялем, подавляя приступы кашля и невольные стоны, сочинял он музыку, дышавшую страстью и горечью.

Владелец Сон Вента, зажиточный горожанин, велел иностранцам убраться вон, словно то были бродячие цыгане. Пианист страдает чахоткой, и хозяин боится, как бы усадьба не стала рассадником заразы. Куда ехать? Возвращаться на родину было трудно, стояла зима, и Шопен, думая о парижских холодах, дрожал, как выброшенный из гнезда птенец. Негостеприимный остров полюбился ему все же своим мягким климатом. Монастырь Вальдемось казался единственным убежищем. Это здание без всяких архитектурных прикрас привлекало к себе лишь тем, что от него веяло стариной, уходящей в средневековье. Оно находилось в горах, по обрывистым склонам которых росли сосновые леса. Солнечный зной смягчали, как легкие завесы, плантации миндаля и пальмовые рощи, сквозь листву которых проглядывали зеленеющая долина и далекое море. Мрачный и таинственный монастырь был полуразрушен, в его залах искали приюта бродяги и нищие. Чтобы попасть в него, нужно было пересечь монастырское кладбище, где корни лесных растений подрывали могилы, а на поверхности земли белели кости. В лунные ночи по монастырю бродило белое привидение: душа отлученного монаха блуждала по местам своих прегрешений в ожидании часа искупления.

Туда направились беглецы в дождливый зимний день, подгоняемые ливнем и ураганом, по тому же пути, по которому ехал теперь Фебрер, — но тогда, в старину, эта дорога была дорогой только по названию. Повозки ехали, по словам Жорж Санд, «одним колесом по горному склону, а другим — по руслу ручьев». Музыкант, закутанный в теплый плащ, дрожал и кашлял под парусиновым навесом, болезненно ощущая каждый толчок. Во время этого переезда, напоминавшего переселение бродяг, там, где особенно трудно было проехать, писательница шла пешком, ведя за руки обоих детей.

В уединенном картезианском монастыре они прожили зиму. Она, в турецких туфлях, с кинжальчиком в плохо причесанных волосах, с энтузиазмом трудилась на кухне. Ей помогала молоденькая крестьянка, которая пользовалась малейшей оплошностью хозяйки, чтобы втихомолку поедать лучшие куски, предназначенные для любимого больного. Вальдемоськие мальчишки забрасывали камнями маленьких французов, считая их маврами и врагами божьими; женщины обсчитывали их мать при продаже съестного и вдобавок прозвали ее Ведьмой. При виде этих цыган, которые осмеливались жить в монастырской келье, среди мертвецов, в постоянном общении с монахом-призраком, бродившим под этими сводами, все крестились.

Днем, когда больной отдыхал, спутница его варила суп и своими белыми, изящными руками писательницы помогала служанке чистить овощи. Потом бежала с детьми к обрывистому лесистому берегу Мирамар, где когда-то Раймунд Луллий основал школу востоковедения.

Настоящая жизнь для нее начиналась с наступлением ночи.

Огромный мрачный монастырь наполнялся таинственной музыкой, доносившейся, словно издалека, сквозь толстые стены. Это склонившийся над роялем Шопен создавал свои ноктюрны. При свече из-под пера писательницы возникал облик Спиридиона[26], монаха, в конце концов отречьшегося от всего, во что он прежде верил. Часто ей приходилось бросать работу: напуганная приступами кашля, она спешила к музыканту и готовила ему питье. Лунными ночами ее охватывала дрожь от каких-то таинственных предчувствий, какой-то сладостный страх, и она выходила за ограду обители, густую темноту которой нарушали лишь молочные пятна окон. Никого!.. На кладбище она присаживалась, тщетно ожидая появления призрака, стремясь нарушить монотонность своего существования чем-нибудь романтическим.

В одну из карнавальных ночей монастырь подвергся вторжению мавров. Это была молодежь из Пальмы. Переодевшись берберами и обегав весь город, они вспомнили о француженке, устыдясь, должно быть, того, что местные жители обрекли ее на одиночество. Они явились в полночь и нарушили песнями и звоном гитар таинственный покой монастыря, вспугнув этим шумом птиц, приютившихся в развалинах. В одной из комнат они исполнили испанские танцы, и музыкант внимательно следил за ними своим лихорадочным взором, а романистка переходила от группы к группе, испытывая простую радость женщины, польщенной вниманием.

Это была для нее единственная счастливая ночь на Майорке. Потом, когда наступила весна и любимый больной почувствовал себя лучше, они отправились в обратный путь, медленно подвигаясь к Парижу. Они походили на перелетных птиц, которые после зимовки оставляют по себе одно лишь воспоминание. Хайме не удалось даже точно узнать, где они жили. Перестройки, произведенные в монастыре, уничтожили малейшие следы их пребывания. Теперь многие семьи из Пальмы приезжали сюда на лето. Они превратили кельи в изящные уголки, и каждому хотелось, чтобы его комната была комнатой Жорж Санд, которую так оскорбляли и презирали его предки. Фебрера сопровождал девяностолетний старик, один из тех, кто когда-то приходил сюда с серенадой в честь француженки. Он ничего не помнил и не мог указать, где она в свое время жила.

Внук дона Орасио испытывал своего рода ретроспективную любовь к этой необыкновенной женщине. Она представлялась ему такой, какой изображалась на портретах времен своей молодости: с глубокими загадочными глазами на маловыразительном лице, с распущенными волосами, украшенными лишь розой у виска. Бедная Жорж Санд! Любовь для нее была чем-то вроде древнего сфинкса, и каждый раз, вопрошая ее, она чувствовала безжалостный укол в сердце. Всю самоотверженность любви и всю ее строптивость извела эта женщина. Капризная любовница венецианских ночей[27], неверная подруга Мюссе оказалась той самой сиделкой, что в тиши Вальдемось готовила ужин и успокоительное питье для умиравшего Шопена... Если бы Фебреру удалось встретить такую женщину, единственную среди тысяч других воплощающую в себе бесконечную гамму оттенков женской нежности и жестокости... Быть любимым женщиной, стоящей выше тебя, властвовать над ней как мужчина и в то же время преклоняться перед ее духовным величием!..

Убаюканный этой мечтой, Фебрер долго смотрел, ничего не видя, на окружавший его ландшафт. Потом иронически улыбнулся, как бы сожалея о своем ничтожестве. Он вспомнил о цели своего путешествия и почувствовал жалость к себе. Он, мечтавший о большой, бескорыстной и необычайной любви, собирался продать себя, предложив руку и имя женщине, которую почти никогда не видел, вступить в брак, который возмутит весь остров... Достойный конец бесполезной и легкомысленной жизни! Его внутренняя опустошенность предстала перед ним в эту минуту со всей очевидностью, без малейших прикрас. Сознание того, что близится час, когда он принесет себя в жертву, заставило его погрузиться в воспоминания и попытаться найти в них оправдание своим теперешним поступкам. Ради чего

жил он на этом свете?..

В его памяти вновь возникли картины детства, навеянные дорогой и Сольер. Он увидел себя в почтенном доме Фебреров вместе с родителями и дедом... Он был единственным сыном. Мать, бледная дама с грустным и красивым лицом, часто болела после его рождения. Дон Орасио жил на втором этаже в обществе старого слуги как бы на положении гостя, по своему капризу то присоединяясь к родным, то отдаляясь от них.

Охваченный воспоминаниями детских лет, Хайме отчетливо представил себе деда. Он никогда не замечал улыбки на этом лице с белыми бакенбардами, еще резче оттенявшими властные черные глаза. Домашним было запрещено подниматься в его комнаты. Никто не видел старика иначе, как одетым для выхода, со всей тщательностью. Только внук мог приходиться в его спальню в любое время. По утрам дед принимал мальчика, одетый в голубой сюртук с высоким воротником, черный галстук был обернут вокруг шеи несколько раз и заколот огромной жемчужиной. Даже чувствуя себя больным, он сохранял свой строгий вид и старомодную элегантность. Если болезнь приковывала его к постели, он приказывал слугам не пускать к нему никого, даже сына.

Хайме проводил целые часы, сидя в ногах у деда и слушая его рассказы. Он робел при виде массы книг, не помещавшихся в шкафах и разбросанных по столам и стульям. Он привык видеть деда в халате на красной шелковой подкладке, казавшемся ему все время одним и тем же, хотя на самом деле халат каждые полгода заменялся новым. Чередование времен года не изменяло одежды старика, если не считать замены бархатного жилета расшитым шелковым. Главной гордостью его были белье и книги. Рубашки ему привозили из-за границы целыми дюжинами, и часто, пожелтевшие и ненадеванные, валялись они в глубине шкафов. Парижские букинисты посылали ему огромные связки книг и, ввиду постоянных заказов, именовали его «книгопродавцем»; эту надпись на посылках дон Орасио показывал с шутливой гордостью.

С последним из Фебреров он беседовал с дедовской добротой, стараясь сделать свои рассказы понятными, хотя в семье обычно был скуповат на слова и плохо уживался с родными. Он рассказывал о своих путешествиях в Париж и Лондон; одни из них были проделаны на парусном судне до Марселя, а затем в почтовой карете, другие на колесных пароходах и по железной дороге, с помощью великих изобретений времен его детства. Он говорил об обществе времен Луи-Филиппа[28], о первых больших триумфах романтизма, свидетелем которых ему довелось быть, о баррикадах, возведение которых он наблюдал из окна своей квартиры, умалчивая о том, что при этом обнимал за талию гризетку, выглядывавшую вместе с ним.

Внук его родился в лучшее время, наилучшее из всех времен. И Дон Орасио вспоминал о своих раздорах с суровым отцом, из-за которых ему пришлось странствовать по Европе. Этот кабальеро, встречая короля Фердинанда, просил о восстановлении старинных обычаев. Благословляя своих сыновей, он приговаривал: «Дай бог, чтобы из тебя вышел славный инквизитор».

Потом дед показывал Хайме большие гравюры с видами городов, где он жил, и ребенку они представлялись фантастическими. Иногда он забывался, созерцая портрет своей жены, красавицы доньи Эльвиры, с арфой, тот самый портрет, который находился теперь в приемном зале в окружении всех остальных сеньор семейства. Прошрое, казалось, его не волновало: он сохранял при этом ту же серьезность, которой сопровождал свои излюбленные шутки и крепкие слова, характерные для его речи, но говорил слегка надтреснутым голосом:

— Твоя бабушка была настоящей дамой, ангельской душой, большой музыкантшей. Я подле нее казался варваром... Она происходила из нашего рода, но приехала из Мексики, чтобы выйти за меня замуж. Отец ее был моряком и остался там, с мятежниками[29]. Во всей нашей

семье не было женщины, которая могла бы с ней сравниться.

В половине двенадцатого он расставался с внуком, надевал зимой черный шелковый цилиндр, а летом — касторовую шляпу и отправлялся гулять по улицам Пальмы, всегда по тем же местам и тем же тротуарам, равнодушный к теплу и холоду, всегда в сюртуке, в любую погоду, в дождливый или солнечный день, с пунктуальностью автоматических фигурок, которые появляются, совершают какие-то движения и исчезают с боем часов.

Только однажды за тридцать лет изменил он свой путь по пустынным и выцветшим от солнца улицам, в которых гулко отдавались его шаги. Как-то утром он услышал из одного дома женский голос:

— Атлота... Уже двенадцать: вот идет дон Орасио. Пора ставить рис.

Он повернулся к двери и сказал с важностью знатного сеньора:

— Я не часы для б...

И бросил эту грубость с самым серьезным видом, как обычно, когда прибегал к крепким выражениям. С этого дня он изменил свой путь, избегая тех, кто верил в пунктуальность его прогулок.

Иногда он рассказывал внуку о былом величии их рода. Географические открытия разорили Фебреров. Средиземное море перестало служить дорогой на Восток. Португальцы и испанцы, жившие по ту сторону океана, нашли новые пути, и майоркинские суда гнили без дела. Войны с пиратами прекратились, Мальтийский орден стал лишь почетным отличием. После захвата Мальты Бонапартом[30] дядя дон Орасио, командор Ла Валетты, получив скромную пенсию, приехал умирать в Пальму. Вот уже два столетия, как Фебреры позабыли о море, где стало нечем торговать и где только бедные судовладельцы воевали с сыновьями рыбаков. Знатный род старался роскошью поддержать былую славу и постепенно разорялся. Дед еще застал времена величия, когда бутифарр на Майорке был чем-то средним между богом и кабальеро. Появление на свет одного из Фебреров заставляло говорить весь город. Знатная роженица в течение сорока дней не выходила из дому, и все это время двери особняка были широко открыты, на внутреннем дворе стояли коляски, вестибюли кишели слугами, гостиные были переполнены посетителями, а столы заставлены сладостями, печениями и прохладительными напитками. Для приема разных сословий были отведены особые дни. Одни из них — только для бутифарров, этих аристократов среди аристократов, немногих привилегированных семейств, связанных между собой родственными узами; другие — для кабальеро, потомственного дворянства, которое неизвестно почему находилось в зависимости от бутифарров. Потом принимали моссонов — сословие более низкое, но тесно общавшееся с дворянством, интеллигенцию той поры — медиков, адвокатов и нотариусов, обслуживавших знать.

Дон Орасио вспоминал о блеске этих приемов. Старики умели все устраивать на широкую ногу.

— Когда родился твой отец, — говорил он внуку, — в этом доме состоялось последнее торжество. Восемьсот майоркинских фунтов заплатил я кондитеру на Борне за конфеты, печенье и напитки.

Об отце у Хайме сохранилось меньше воспоминаний, чем о деде. Он остался в его памяти человеком кротким и обаятельным, но несколько унылым. Думая о нем, он вспоминал его мягкую, светлую, как и у него, бороду, лысую голову, приятную улыбку и очки, которые поблескивали, когда отец кланялся. Рассказывали о том, что в юности у него был роман с двоюродной сестрой Хуаной. Теперь эта набожная сеньора, прозванная всеми Папессой, живет как монахиня и обладает огромным состоянием, которое в свое время щедро

предоставляла претенденту на престол, дону Карлосу[31], а теперь раздает окружающим ее духовным лицам.

Разрыв отца с доньей Хуаной, несомненно, был причиной ее отдаления от семьи и враждебного отношения ее к Хайме.

Следуя семейной традиции, отец Хайме служил офицером во флоте. Он участвовал в тихоокеанской войне и был лейтенантом на одном из фрегатов, бомбардировавших Кальяо [32]. Как будто только дождавшись случая проявить свою доблесть, он после этого немедленно вышел в отставку. Затем он женился на девушке из Пальмы со скромным приданым, отец которой был военным губернатором на Ивисе. Однажды, в беседе с Хайме, Папесса попыталась задеть его своим холодным тоном и высокомерным обращением:

— Твоя мать была благородной, из дворянской семьи, но не из бутифарров, как мы.

В первые годы жизни, когда Хайме только начинал отдавать себе отчет в окружающем, он видел отца лишь во время его кратковременных приездов на Майорку. Отец принадлежал к партии прогрессистов[33], и революция 1868 года[34] выдвинула его в ряды депутатов. Потом, когда на престол вступил Амадей Савойский[35], монарх с революционными взглядами, которого ненавидело отступившее от него старое дворянство, королю пришлось создавать себе двор, опираясь на новых людей. По настоянию своей партии бутифарр стал видным придворным. Несмотря на все уговоры переехать в Мадрид, жена его не пожелала расстаться с островом. Поехать ко двору? А сын, который только что родился?.. С каждым днем дон Орасио заметно слабел и худел. Надменный, всегда в новом сюртуке, он все еще продолжал свои ежедневные прогулки, согласуя свою жизнь с ходом часов на ратуше. Старый либерал, почитавший Мартинеса де ла Роса[36] за его стихи и дипломатическое изящество галстуков, он недовольтно морщился, читая газеты и письма сына. Чем только все это кончится?.. Когда в стране ненадолго установилась республика, отец вернулся на остров, считая свою служебную карьеру законченной. Несмотря на родство, папесса Хуана делала вид, что незнакома с ним. В то время она была очень занята: совершала поездки на континент и переводила, как говорили, огромные средства сторонникам дона Карлоса, продолжавшим воевать в Каталонии и северных провинциях. Она и слышать не хотела о Хайме Фебрере, бывшем моряке! Она настоящая бутифарра, защитница традиций, готовая на любые жертвы ради того, чтобы Испанией управляли дворяне. Кузен ее был хуже чуэта, он был санкюлотом[37]. Люди утверждали, что эта ненависть на почве расхождения в политических взглядах сочеталась у нее с горечью испытанного в прошлом разочарования, которого она не могла позабыть.

После реставрации Бурбонов прогрессист и придворный дон Амадея превратился в республиканца и заговорщика. Он часто совершал поездки, получал шифрованные письма из Парижа, ездил на Менорку, где посещал эскадру, стоявшую в Маоне. Пользуясь своими старыми связями, бывший офицер агитировал среди своих друзей, подготавливая восстание во флоте. В эти революционные предприятия он вкладывал весь пыл Фебреров, старых авантюристов, и свою спокойную смелость. Он умер в Барселоне внезапно, вдали от близких.

Известие об этом дед принял с бесстрастным спокойствием, но в полдень хозяйки, поджидавшие, как всегда, дон Орасио, чтобы поставить на огонь свой рис, не увидели его на улицах Пальмы. Ему было уже восемьдесят шесть лет, он достаточно погулял. Чего он еще не видел?.. Он затворился у себя на втором этаже, куда допускал только внука. Когда родные приходили его навещать, он, несмотря на слабость, предпочитал спускаться в гостиную. На нем всегда был новый сюртук. Белоснежные уголки воротничка ниспадали на узел галстука. Он был чисто выбрит, волосы его были напомажены, бакенбарды хорошо расчесаны. Настал день, когда он не смог подняться с постели. Внук увидел его среди простыней все с тем же выражением лица, в тонкой батистовой рубашке с галстуком, который слуга менял через



день, в шелковом, расшитом цветами жилете. Когда дону Орасио докладывали о приходе невестки, у него вырывалось досадливое восклицание:

Если появлялся врач в те считанные дни, когда он соглашался его принимать, происходило то же самое. Он хотел до последнего момента быть со щитом — быть таким, каким «то видели всю жизнь».

Однажды вечером он слабым голосом окликнул внука, читавшего у окна книгу о путешествиях: Хайме может идти, ему, деду, хочется побыть одному. Мальчик удалился, и старик смог умереть достойно, в одиночестве, не беспокоясь о пристойном выражении лица, и без свидетелей перенести мучения и судороги агонии.

Когда Хайме с матерью остались одни, мальчик ощутил стремление к свободе. Воображение его занимали приключения и путешествия, вычитанные из книг в библиотеке деда, а также подвиги предков, увековеченные в семенных преданиях. Ему хотелось стать военным моряком, каким был его отец и большинство предков. Мать резко воспротивилась этому — от ужаса у нее даже побелели щеки и посинели губы. Чтобы единственный из Фебреров подвергал себя опасности и жил вдали от нее!.. Нет, в их семье уже было достаточно героев. Он должен владеть поместьем на острове, жить спокойно и завести семью для продолжения рода, к которому принадлежит, Хайме уступил просьбам вечно больной матери, которой малейшее противоречие грозило смертью. Раз она не почет, чтобы он стал моряком, он выберет другую профессию. Ему надо жить так, как живут другие его сверстники, с которыми он был знаком в школьные годы. В шестнадцать лет он отплыл на континент. Матери хотелось, чтобы он стал адвокатом и занялся денежными делами семьи, имущество которой было обременено долгами и залогами. Его огромный багаж вмещал целое приданое, кошелек был туго набит. Фебнер не мог жить как какой-нибудь нищий студент. Он направился сначала в Валенсию, так как его мать считала этот город менее опасным для молодежи, второй курс слушал в Барселоне и переходил затем из одного университета в другой, в зависимости от настроения профессоров и их снисходительности. Учение его не подвигалось. Некоторые экзамены он сдавал по чистой случайности и благодаря спокойной смелости, с какой рассуждал на неизвестные ему темы. На других он проваливался, и на этом дело кончалось. Когда он возвращался на Майорку, мать принимала на веру все его объяснения, утешала его, советуя не переутомляться учением, и возмущалась несправедливостью теперешних людей. Папесса Хуана, ее заклятый враг, конечно права: нынешние времена неблагоприятны для кабальеро. Им объявили войну, к ним придираются, чтобы окончательно оттеснить их на задний план. Хайме был довольно известен в домах и кафе Барселоны и Валенсии, где велись азартные игры. Его называли майоркинцем с унциями, так как мать посылала ему деньги золотыми унциями, нагло блесневшими на зеленых столах. К богатству, которое доставляло ему огромное влияние, присоединялся странно звучащий титул бутифарра, вызывавший на континенте улыбки и представление о феодальном властителе с правами суверена на далеких островах.

Прошло пять лет. Хайме стал мужчиной, но не дошел и до середины университетского курса. Его коллеги-земляки, приезжавшие на каникулы, увеселяли своих собутыльников в кафе на Борне рассказами о приключениях Фебрера в Барселоне. Его видели под руку с роскошными женщинами. Подозрительные посетители игорных домов относились с величайшим уважением к «майоркинцу с унциями» за его силу и храбрость. Рассказывали, что как-то ночью он схватил своими могучими руками атлета одного драчуна, поднял его и выбросил в окно. Слушая все это, мирные майоркинцы улыбались с патриотической гордостью. Он Фебнер, настоящий Фебнер. На острове всегда рождались смелые ребята.

Добрая донья Пурификасьон, мать Хайме, была очень недовольна и о то же время приятно поражена, узнав о том, что вместе с ее сыном на остров приехала некая женщина с дурной репутацией. Она понимала ее и прощала. Такой молодой красавец, как Хайме!.. Но платья и повадки приезжей девицы внесли неуместное оживление в спокойную жизнь острова.

Порядочные семьи стали возмущаться, и донья Пурификасьон, вступив через посредников в переговоры с девицей, дала ей денег, с тем чтобы та покинула остров.

В следующие каникулы произошел еще больший скандал. Охотясь в Сон Фебрере, Хайме вступил в связь с молодой красивой крестьянкой, и дело чуть не дошло до перестрелки со сватавшимся к ней деревенским парнем. Сельские романы помогали студенту коротать летнее изгнание. Он был подлинным Фебрером, как его дед. Бедная сеньора знала, что представлял собою ее свекор. Всегда серьезный и корректный, он с хладнокровием знатного сеньора пощипывал за подбородок молоденьких крестьянок. В ближайшей к Сон Фебреру округе многие парни походили на дону Орасио, но его жена-мексиканка, эта поэтическая душа, горящими глазами и арфой на коленях декламировавшая стихи Оссиана[38], была выше этих пошлостей. Сельские красавицы в ярких платочках, с распущенными косами и белыми альпаргатами непреодолимо влекли к себе лощеных и знатных Фебреров.

Когда донья Пурификасьон выговаривала сыну за его длительные отлучки на охоту, тот оставался в городе и проводил целые дни в саду, упражняясь в стрельбе из пистолета. При этом он указывал перепуганной матери на мешок, лежавший в тени апельсинового дерева:

— Вы видите?.. Здесь кинтал[39] пороха. Не перестану, пока не израсходую весь.

В такие дни мадо Антония боялась высунуть голову из окон кухни, а монашенки, занимавшие часть старинного особняка, на секунду появляясь в своих белых чепцах, немедленно прятались у себя, словно голубки, напуганные непрерывной стрельбой.

Сад, окруженный зубчатой оградой, граничившей с парапетом набережной, с утра до вечера оглашался звуками выстрелов. Испуганно хлопая крыльями, разлетались птицы, по выщербленным стенам скользили и скрывались в зарослях плюща зеленые ящерицы, в панике носились по улице кошки. Старый сад не уступал по возрасту дворцу. Вековые апельсиновые деревья с искривленными стволами поддерживались со всех сторон деревянными вилами, на которые опирались их почтенные ветви. На гигантских магнолиях почти не было листвы. Пальмы, не приносившие плодов, тянулись в голубой простор, возвышаясь над зубчатой оградой и приветствуя море покачиванием своих крон.

От жары кора на деревьях потрескалась, на земле бесполезно лопались семена; как золотые искры, блестели насекомые, которые жужжали и танцевали в лучах солнца, проникавшего сквозь листву; с мягким стуком падали на землю, отрываясь от ветвей, зрелые фиги; издали доносился рокот моря, бьющегося о скалы у подножия стены. В этой населенной шорохами тишине Фебрер продолжал разряжать свой пистолет. Он достиг уже мастерства. Прицеливаясь в мишень, нарисованную на стене, он сожалел, что это — не человек, ненавистный враг, которого необходимо уничтожить. Эту пулю — прямо в сердце... Бум!.. И он удовлетворенно улыбался, рассматривая отверстие в том самом месте, куда целил.

Треск выстрелов и пороховой дым вызывали в его воображении воинственные видения, эпизоды борьбы и смерти, где всегда есть победитель-герой. Ему уже двадцать лет, а он еще не дрался! Ему нужен был повод, чтобы проявить храбрость. Как жаль, что у него нет врагов... Но он постарается их завести, как только вернется на континент. Следуя полету своего воображения, которое разыгрывалось под звуки стрельбы, он мысленно представлял себе дуэль. Противник поразил его с первого выстрела, и он упал. Пистолет еще у него в руке, и ему надо защищаться — стрелять, лежа на земле. И, к великому негодованию матери и мадо Антонии, которые высовывались из окон, глядя на него как на сумасшедшего, он продолжал стрелять, лежа ничком, упражняясь в такой стрельбе на случай возможного ранения.

Когда Фебрер, сославшись на то, что решил продолжить свои занятия вернулся на континент, окрепнув от сельской жизни и осмелев после упражнений в стрельбе, он стал стремиться к

дуэли с первым, кто подал бы к этому повод. Однако он был человеком вежливым и неспособным на провокации, его вид внушал уважение наглецам, и потому время шло, а дуэли все не было. Огромный запас жизненных сил и избыток энергии растрчивались на сомнительные приключения и глупые выходки, о которых потом с восхищением рассказывали на острове его товарищи по занятиям.

Когда он жил в Барселоне, пришла телеграмма о серьезной болезни матери. В течение двух дней ему не удавалось отплыть: не было попутных пароходов. А когда он прибыл на остров, мать уже скончалась. От членов семьи, которые еще помнили его детство, не осталось никого. Лишь мадо Антония напоминала об ушедших временах.

В двадцать три года Хайме оказался владельцем состояния Фебреров и человеком, пользующимся неограниченной свободой. Состояние его было подорвано роскошным образом жизни предков и отягощено всякого рода обязательствами. Дом Фебреров поражал своим величием, но напоминал севшие на мель корабли, которые, погибая, приносят богатство тому берегу, где они потерпели крушение. Его развалины, на которые с презрением глядели бы древние Фебреры, все еще представляли целое состояние.

Хайме ни о чем не хотел думать, ни о чем не хотел знать: он хотел жить, повидать свет. Он отказался от своих занятий. На что ему римские законы и обычаи или церковные каноны, если можно жить в свое удовольствие? Он уже был достаточно учен. Самыми лучшими и самыми отрадными познаниями он был обязан матери: еще ребенком он научился от нее немного играть на рояле и говорить по-французски. Рояль был старым инструментом с желтоватыми клавишами и большим пюпитром красного дерева, который доставал почти до потолка. Многие знали меньше его, но это нисколько не мешало им жить господами и быть еще счастливее, чем он. Итак, надо жить!..

Два года прожил он в Мадриде, имел любовниц, принесших ему некоторую славу, держал прекрасных лошадей, позволял себе поскандальить в ресторане «Форнос», был близким приятелем одного известного тореадора и вел крупную игру в игорных домах на улице Алькала. Он дрался и на дуэли, но не так, как он воображал — лежа на земле с пистолетом в правой руке, а на шпагах. При этом столкновении он получил легкое ранение в руку, которое дни него сущим пустяком — все равно что булавоочный укол для слона.

Он уже не был больше «майоркинцем с унциями». Запасы золотых кружочков, сберегавшиеся его матерью, истощались, но он щедрой рукой кидал на игорные столы кредитные билеты, а когда проигрывал — писал своему управляющему, адвокату из семьи старых моссон, веками служивших Фебрерам.

Хайме устал от Мадрида, где чувствовал себя чужим. В нем жила душа древних Фебреров, великих путешественников, которые объездили все страны, кроме Испании, так как всегда жили повернувшись спиной к своим королям. Многие из его предков чувствовали себя как дома во всех крупных городах Средиземноморья, гостили у властителей мелких итальянских государств, бывали на аудиенциях у папы и турецкого султана, но о поездке в Мадрид и не помышляли.

Кроме того, Фебрер постоянно ссорился со своими столичными родственниками, молодыми людьми, которые гордились дворянскими титулами и втихомолку посмеивались над его необычным званием бутифарра. И подумать только, что его семья не раз уступала родственникам на континенте титулы маркизов, предпочитая всему титул, столь высокий среди островного дворянства, и высшие кавалерские степени Мальтийского ордена!..

Он начал путешествовать по Европе, проводя осень и часть зимы в Париже, а холодные месяцы — на Лазурном берегу; весной жил в Лондоне, а летом — в Остенде, совершая время от времени поездки в Италию, Египет и на север — в Норвегию, чтобы увидеть, как светит

солнце в полночь.

Ведя этот новый образ жизни, он оставался почти никем не замеченным. Он был лишь простым туристом, ничтожной песчинкой в том огромном потоке людей, которых жажда странствий влечет во все концы земли. И все же это постоянное передвижение с места на место, порою томительно однообразное, порою богатое неожиданными приключениями, отвечало его атавистическим инстинктам, тем вкусам, которые он унаследовал от предков, любивших далекие путешествия.

Кроме того, эта бродячая жизнь удовлетворяла его страсть ко всему необычному. В отелях Ниццы, этих очагах мирового разврата, лицемерно скрытого под маской благопристойности, его баловали женщины, нежданно являвшиеся к нему и сумерках. В Египте ему пришлось бежать от изощренных ласк одной стареющей венгерской графини, элегантной и сильно надушенной женщины с ввалившимися глазами, скрывавшей увядающее тело под густым слоем косметики.

Он жил в Мюнхене, когда ему исполнилось двадцать восемь лет. Незадолго до этого он был в Байрейте на нескольких представлениях опер Вагнера, а теперь в столице Баварии посещал театр Резиденции, где проходил моцартовский фестиваль. Хайме не был меломаном, но кочевой образ жизни заставлял его ехать туда, куда ехали все, и два года подряд он в качестве пианиста-любителя посещал эти торжества.

В мюнхенском отеле он встретил мисс Мери Гордон, которую видел раньше в вагнеровском театре. Эта высокая и стройная англичанка обладала крепким и худощавым телом гимнастки. Спорт избавил ее от приятной женской полноты, придав ей здоровый вид хорошенького, безусого мальчика. Особенно красива была ее голова — фарфорово-прозрачная головка пажа, с розовым носиком игривой собачки, влажными голубыми глазами и рыжими волосами, которые терку отливали светлым золотом, а ближе к коже — червонным. Красота ее, очаровательная и хрупкая, была той исключительно английской красотой, что в тридцать лет исчезает под лиловатым румянцем и шероховатой кожей.

В ресторане Хайме не раз встречался со взглядом ее голубых глаз, спокойно и смело останавливавшихся на нем. Ее сопровождала толстая нарумяненная дама — компаньонка, одетая в черное, в красной соломенной шляпке и с поясом того же цвета, разделявшим на два выпуклых полушария ее живот и грудь. Сама же она, молодая и легкая, казалась цветком из золота и перламутра в своем белом фланелевом платье мужского покроя, мужском галстуке и панаме с опущенными полями и голубой вуалью.

Фебрер встречался с ними на каждом шагу: в Пинакотеке[40] возле «Евангелистов» Дюрера [41], в Глиптотеке[42] перед эгинскими мраморными статуями[43], в театре Резиденции, выдержанном в стиле рококо, где в зале, украшенном по моде прошлого века фарфором и гирляндами и, казалось, требовавшем от посетителей красных каблуков и белых париков, исполняли Моцарта. Привыкнув к этим встречам, Хайме при виде мисс приветливо улыбался, а она застенчиво отвечала ему одними глазами, в которых вспыхивали огоньки.

Однажды утром, выйдя из своей комнаты, он встретил англичанку на площадке лестницы. Перегнувшись через перила, она прижалась к нему мальчишеской грудью.

— Лифт!.. Лифт!.. — кричала она птичьим голосом, вызывая лифтера.

Поклонившись, Фебрер вошел вместе с ней в кабину и, чтобы завязать разговор, сказал несколько слов по-французски. Англичанка молча смотрела на него ясными голубыми глазами, в которых блестела золотая искорка. Она стояла неподвижно, словно не понимая, но Хайме недавно видел, как она перелистывала в читальном зале парижские газеты.

Выйдя из лифта, англичанка быстрым шагом направилась в контору, где с пером в руке сидел

кассир отеля. Он почтительно выслушал ее, готовый служить переводчиком любым гостям, вышел из-за своей перегородки и направился к Хайме, еще смущенному неудачей и делавшему вид, что читает объявления в вестибюле. Фебрер подумал, что обращаются не к нему. «Сеньор, эта сеньорита просит меня представить вас ей».

И, повернувшись к англичанке, сказал с чисто немецким спокойствием, словно выполнял свой служебный долг:

— Месье идальго Фебрер, испанский маркиз.

Он знал свои обязанности. Всякий испанец, путешествовавший с полными чемоданами, был для него дворянином и маркизом, если только сам не опровергал этого.

Потом указал глазами на англичанку, сохранявшую во время этой церемонии серьезный и важный вид, без которого ни одна порядочная девушка не может обменяться с мужчиной и двумя словами:

— Мисс Гордон, доктор Мельбурнского университета.

После этого мисс протянула свою ручку в белой перчатке и крепко пожала руку Фебреру. И только тогда она решилась сказать:

— Oh l'Espagne!.. Oh don Quichotte!..[44] Как бы случайно, они вышли из отеля вдвоем, беседуя о спектаклях, которые посещали по вечерам. В этот день театр был закрыт, и они решили пойти на Терезиенвизе, к подножию статуи Баварии, посмотреть на праздник тирольцев и послушать их песни. После завтрака в отеле они пошли на праздник, поднялись на голову огромной статуи, осмотрели оттуда баварскую равнину, озера и далекие горы и пробежали по галерее Славы, уставленной бюстами знаменитых баварцев, имена которых они прочли впервые. Спустившись, они прошли вдоль балаганов, любуясь тирольскими костюмами, акробатическими танцами и звонкими трелями, похожими на щелканье соловья.

Хайме и мисс Гордон гуляли так, будто знали друг друга всю жизнь. Ему нравилась та непринужденная манера, с которой она себя держала, манера саксонских девушек, не боящихся общения с мужчиной, сознающих свою силу и способных себя защитить. С этого дня они стали вместе посещать музеи, академии, старые церкви — иногда одни, а иногда в сопровождении компаньонки, следовавшей за ними по пятам. Они были словно два товарища, которые обменивались впечатлениями, не думая при этом о различии пола. Хайме хотелось воспользоваться этой близостью, чтобы сказать ей комплимент, позволить себе маленькие вольности, но в последний момент он сдерживал себя. Ему казалось, что с такого рода женщинами не следует спешить: они остаются бесстрастными, внешне чуждыми всякого рода эмоциям, и необходимо ждать проявления инициативы с их стороны. Эти женщины могли одни путешествовать по всему свету и были способны ответить на любую вспышку страсти боксерским ударом. Он знал и таких, которые вместе с пудреницей и носовым платочком носили в рукаве или в сумочке маленький никелированный револьвер.

Мисс Мери рассказывала ему об отдаленном архипелаге в Океании, где отец ее был чем-то вроде вице-короля. Матери у нее не было, и теперь она прибыла в Европу для завершения образования, полученного в Австралии. Она была доктором Мельбурнского университета, доктором музыки... Хайме старался не удивляться рассказам об этом далеком мире и, в свою очередь, говорил о своей семье и стране, о красотах острова, о пещере в Арта, трагически грандиозной и хаотической, как преддверье ада, о пещерах Дракона с бесчисленными рядами светящихся сталактитов, походивших на ледяной дворец с уснувшими тысячелетними озерами, из глубины которых, казалось, могли бы выплыть обнаженные волшебницы, подобные дочерям Рейна[45], оберегающим сокровище Нибелунгов. Мисс Гордой слушала его как зачарованная, Хайме, сын этого сказочного острова, где море всегда лазурно, где круглый год светит солнце и цветут апельсины, становился в ее глазах еще интереснее.

Фебрер понемногу начал проводить вечера в комнатах англичанки. Моцартовский фестиваль окончился. Мисс Гордон испытывала постоянную потребность в музыке, которая была ее духовной пищей. В ее гостиной стоял рояль и лежала целая груда партитур, сопровождавших ее во всех путешествиях. Хайме садился рядом с ней за инструмент и пытался ей аккомпанировать. Она исполняла вещи всегда одного и того же автора, божественного и неповторимого. Отель был расположен неподалеку от вокзала, и шум вагонов, карет и трамваев раздражал англичанку и вынуждал ее закрывать окна. Компаньонка оставалась в своей комнате, радуясь возможности отдохнуть от оглушительного потока звуков: ничто не доставляло ей такой отрады, как вязание ирландских кружев. Наедине с испанцем мисс Гордон обходилась с ним, как учительница:

— Давайте еще раз повторим тему меча[46]. Будьте внимательнее.

Но Хайме, который все время искоса поглядывал на стройную и белую шею англичанки, опущенную золотистыми волосами, и на тонкую сеть голубых жилок, слегка просвечивавших сквозь ее перламутровую кожу, был рассеян.

Однажды вечером шел дождь, и свинцовое небо, казалось, нависло над самыми крышами домов. Гостиная тонула в полумраке. Они играли в сумерках, сдвинув головы, чтобы разобрать белеющее пятно партитуры. Шумел зачарованный лес и шелестел зелеными кронами над суровым Зигфридом, этим невинным сыном природы, стремившимся познать язык и душу безгласных вещей. Пела чудесная птица, и ее нежному дрожащему голосу вторил рокот листом. Мери вздрогнула.

— О поэт!.. Поэт!..

И продолжала играть. В сгустившихся сумерках гостиной зазвучали суровые аккорды, провожающие в могилу героя, — траурный марш воинов, несущих на большом щите огромное белое тело золотоволосого Зигфрида. Марш перебивала меланхолическая мелодия богов. Мери дрожала. Наконец ее руки оторвались от клавиш, и она, словно птичка с поникшими крыльями, склонилась на плечо Хайме.

— Oh Richard!..! Richard, mon bien aime![47] Испанец увидел ее расширившиеся зрачки и плачущий рот, тянувшийся к нему, почувствовал в своих руках ее холодные руки, ощутил ее дыхание. К его груди прижалась скрытая платьем округлая девичья грудь, крепкая и упругая, о наличии которой он и не догадывался.

В этот вечер музыки больше не было.

Когда в полночь Фебрер ложился спать, он все еще не мог опомниться. Он первый обладал ею, в этом не могло «нить сомнения. После такой холодной сдержанности все произошло очень просто, без всяких усилий с его стороны — так, как будто его взяли под руку.

Хайме также удивляло, что его называли чужим именем. Кем мог быть этот Рихард?.. В часы нежных и мечтательных признаний, сменявших минуты безумия и забвения, она поведала о том впечатлении, которое испытала, впервые увидев его среди тысячи людей, наполнявших театр в Байрейте. Это был Он!.. Он, каким его рисуют на юношеских портретах! И встретив его снова в Мюнхене, под одной крышей, она поняла, что жребий брошен и бесполезно бороться с этим влечением.

В своей комнате Фебрер с ироническим любопытством посмотрел на себя в зеркало. Чего только не способна увидеть женщина! Да, в нем было нечто от того, другого... Тяжелый лоб, прямые волосы, острый нос и выступающий подбородок, которые с годами могут сблизиться и придать ему сходство со старой колдуньей... Превосходный и славный Рихард! Как это случилось, что ты доставил мне одну на величайших радостей в жизни?.. Какая странная женщина!

Иногда к его изумлению примешивалось горькое чувство. Эта женщина каждый день казалась иной, как бы забывая о прошлом. Она принимала его с такой важной миной, как будто между ними ничего не произошло, словно пережитое ею исчезало бесследно и предыдущего дня не существовало. Только тогда, когда музыка вызывала в ее памяти образ другого, приходила нежность и покорность.

Хайме был раздражен и задался целью подчинить ее себе — ведь он как-никак мужчина. В конце концов, он достиг того, что рояль стал звучать все реже и реже, а она увидела в нем нечто большее, нежели живой портрет своего кумира.

Опьяненные своим счастьем, они нашли Мюнхен уродливым, а отель, где их знали как людей, чужих друг другу, показался им скучным. Им хотелось ворковать на свободе и улететь подальше. В один прекрасный день они очутились в порту с каменным львом при входе и увидели чистую гладь огромного озера, сливавшуюся на горизонте с небом. Они были в Линдау. Один пароход мог доставить их в Швейцарию, другой — в Констанцу. Они предпочли тихий немецкий город, известный тем, что в нем происходил великий Собор, и остановились в отеле на острове — бывшем доминиканском монастыре.

С каким волнением вспоминал всегда Фебрер об этой поре, самой лучшей поре его жизни! Мери продолжала оставаться для него необычайной женщиной, в которой все еще нужно было что-то покорить. Она бывала нежна лишь в определенные минуты, а в остальное время дня казалась суровой и неприступной. Он был ее любовником и, несмотря на это, не мог позволить себе ни малейшей вольности, которая бы выдала их отношения. Самый легкий намек на их близость заставлял ее краснеть от возмущения. Shocking!..[48] И все же каждое утро Фебрер проходил по коридорам бывшего монастыря, стелил постель в своей комнате, чтобы не вызывать подозрений у слуг, и выходил на балкон. В саду среди высоких розовых кустов распевали птицы. Там, впереди, Констанцское озеро окрашивалось в пурпурный цвет восходящего солнца. Ранние рыбацьи лодки рассекали воды, оставляя за собой оранжевый след; издали слышался звон колоколов собора, скрытого влажным утренним туманом; на том берегу, где озеро кончается и переходит в русло Рейна, начинали скрипеть лебедки; шаги слуг и приглушенные звуки утренней уборки отдавались глухим эхом под сводами старинного монастыря.

Возле балкона находилась башня, прижатая к стене и стоявшая так близко, что Хайме мог достать ее рукой, — под черепичной крышей, с древними гербами на круглом фасаде. Когда-то, готовясь взойти на костер, в ней томился Ян Гус...[49] Испанец думал о Мери. В эти часы в ароматном полумраке своей комнаты она спит первым сладким сном, подложив руки под свою рыжую головку... Тело ее устало и все трепещет от сладостного изнеможения... Бедный Ян Гус!.. Фебрер по-дружески сочувствовал ему. Сгореть среди столь восхитительного пейзажа, быть может в такое же утро, как это!.. Положить свою голову в волчью пасть и отдать жизнь, споря о том, хорош или плох папа и должны ли миряне причащаться вином, как священники, или нет! Умереть из-за этих глупостей, когда жизнь так прекрасна и еретик мог бы безудержно предаться наслаждению в одной из тех рыжих, полногрудых и широкобедрых кардинальских подруг, которые присутствовали при казни!.. Бедный апостол!.. Хайме иронически сочувствовал наивному протесту мученика. Он смотрел на жизнь иными глазами. Да здравствует любовь!.. Только в ней истинный смысл жизни.

Около месяца прожили они в этом старинном городке, резиденции епископа, прогуливаясь вечерами по заросшим травой пустынным улицам с полуразрушенными дворцами времен великого Собора; спускались в лодке по Рейну, вдоль берегов, покрытых лесами, останавливаясь, чтобы взглянуть па домики с красными крышами и просторными беседками, в которых бюргеры с кружкой в руках распевали песни с истинно немецкой веселостью: степенно и спокойно.

Из Констанцы они поехали в Швейцарию, а потом в Италию. Целый год они вместе

любовались пейзажами, осматривали музеи, посещали руины с лабиринтами и укромными уголками, где Хайме не раз пользовался случаем, чтобы коснуться поцелуем перламутровой кожи Мери, наслаждаясь ее стыдливым румянцем и возмущенным видом, с которым она произносила: Shocking!.. Компаньонка, бесчувственная, как чемодан, к переменам маршрута, продолжала вязать кружевную ирландскую накидку, которую начала еще в Германии и не выпускала из рук в Альпах, в Апеннинах, вблизи Везувия и Этны. Лишенная возможности поговорить с Фебрером, не знавшим английского языка, она приветливо улыбалась ему, поблескивая желтыми зубами, и возвращалась к своим занятиям, как декоративная фигура в холле отеля.

Влюбленные не раз говорили о будущем браке. Мери решала вопрос энергично и быстро. Отцу достаточно написать несколько строк. Он находится очень далеко, и, кроме того, она никогда с ним не советовалась. Он будет согласен со всем, что бы она ни сделала, уверенный в ее рассудительности и осторожности.

Они были в Сицилии, и эта земля напоминала Фебреру родной остров. Предки его тоже появлялись здесь, но только они носили латы, и их окружало дурное общество. Мери говорила о будущем, решая предстоящие финансовые вопросы со свойственной ее народу практической жилкой. Бедность Фебрера ее не смущала: состояния у нее хватит па двоих. И она перечисляла все виды своего имущества: земли, дома и акции, как управляющий, помнящий все наизусть. По возвращении в Рим они обвенчаются в евангелической капелле и в католической церкви. Она знакома с одним кардиналом, который ей устроил прием у папы. Его преосвященство уладит все.

Хайме провел бессонную ночь в сиракузском отеле. Жениться? Мери прелестна, она украсит жизнь и принесет с собой богатство. Но действительно ли она выходит замуж за него?.. Фебрера начинал беспокоить тот, другой, чья прославленная тень воскресала в Цюрихе, в Венеции, везде, где они бывали и где сохранялись следы посещений великого маэстро. Он, Хайме, состарится, а музыка, его страшная соперница, всегда будет юной. И вскоре, когда в результате брака их отношения будут лишены очарования запретного, сладости недозволенного, Мери встретит какого-нибудь дирижера, еще более похожего на того, другого, или какого-нибудь уродливого виолончелиста, молодого и длинноволосого, который напомнит ей Бетховена в молодости. Помимо этого, ми принадлежит к другой нации, обычаи и страсти у нею иные. Его утомляла эта стыдливость в любви, это постоянное сопротивление его порывам, что так нравилось ему вначале и создавало иллюзию, будто перед ним каждый раз другая, новая женщина. Но теперь он от этого устал. Нет, еще не поздно бежать.

«Одно досадно: что она теперь подумает об Испании?.. О дон Кихоте?..» — говорил он про себя, укладывая на рассвете свой чемодан.

И он бежал, решив затеряться в Париже, куда англичанка не поехала бы на поиски. Она ненавидела этот неблагодарный город, освиставший «Тангейзера» за много лет до ее рождения[50].

От этой связи, продолжавшейся год, у Хайме осталось лишь воспоминание о счастье, которое время преувеличило и приукрасило, да прядь рыжих волос. Дома, среди бесконечных путеводителей и открыток, в старинном столе хранился портрет доктора музыки в тоге с длинными рукавами и в четырехугольном плоском берете, с которого свисала кисточка.

О той жизни, которую он вел после этого, Фебрер почти не помнил, — пустота и скука ее нарушалась лишь денежными заботами. Управляющий с трудом высылал положенные суммы и всегда запаздывал. На денежные просьбы он огнем. 1л жалобными письмами, распространяясь о предстоящей выплате процентов, о повторных закладах, для которых было так трудно найти. Считая, что его присутствие может чем-нибудь помочь, Фебрер изредка наезжал на Майорку, что всегда приводило к продаже одного из владений. Получив



деньги, он немедленно исчезал, не обращая внимания на советы управляющего. Деньги вызвали у него чувство радости и беспечности. Все уладится. На худой конец — он женится. А пока что... надо жить!

И он прожил еще несколько лет в Мадриде и больших заграничных городах, пока наконец управляющий не прервал эту жизнь, полную беззаботной расточительности, прислав счета и отказ в дальнейшей присылке денег, а заодно и просьбу об отставке.

Целый год провел он на острове, как он выражался — заживо погребенным, по ночам развлекаясь только игрой в казино и проводя вечера в кафе на Борне, за одним столиком со старыми друзьями, коренными островитянами, которые с удовольствием слушали его рассказы о путешествиях. Нынешняя его жизнь состояла из лишений и нищеты. Кредиторы угрожали немедленными взысканиями. Формально он еще сохранял Сон Фебрер и другие владения предков, но недвижимость на острове приносила немного: по старому обычаю арендная плата оставалась такой же, как и во времена дедов, так как семьи арендаторов пользовались землей из поколения в поколение. Они платили непосредственно его кредиторам, но даже таким образом не вносилась и половина процентов. Богатое убранство дворца было отдано ему лишь на хранение. Благородный дом Фебреров шел ко дну, и он не мог предотвратить его гибель. Хайме хладнокровно подумывал о том, что ему следовало бы выйти из этого положения без унижений и бесчестья. Что, если в один прекрасный день его найдут в саду навсегда уснувшим под апельсиновым деревом, с револьвером в руке?

В таком состоянии духа находился он однажды, выходя под утро из казино. Шел третий час ночи — время, когда нервная бессонница заставляет видеть все в необычайном свете, с какой-то особой ясностью, и в эту минуту кто-то подал Фебреру новую мысль. Дон Бенито Вальс, богатый чуэт, очень его любит. Не раз вмешивался он в его дела, спасая от неминуемой опасности. Он симпатизировал ему как человеку и относился с уважением к его имени. У Вальса была только одна наследница, и он, к тому же, хворал; плодовитость и исключительная жизнеспособность его нации в данном случае не оправдывалась. Дочь его Каталина в ранней юности собиралась стать монахиней, но теперь, когда ей уже минуло двадцать, она почувствовала влечение к суетной светской жизни и трогательно жалела Фебрера, когда при ней говорили о его неудачах.

Хайме воспротивился этому предложению с таким же ужасом, как и мадо Антония. Чуэта! Но понемногу мысль о браке стала укрепляться в его сознании, еще усиливаемая нарастающими затруднениями, возникавшими ежедневно. А почему бы и нет? Дочь Вальса была самой богатой наследницей на острове, а деньги не пахнут.

В конце концов, он уступил настояниям своих друзей, взявших на себя роль усердных посредников между ним и родственниками Каталины. И вот сегодня он едет завтракать в Вальдемосу, где Вальс проводил большую часть года в надежде найти облегчение от душившей его астмы.

Хайме попытался вспомнить Каталину. Несколько раз он видел ее на улицах Пальмы. Красивая фигура, приятное лицо. Если она будет жить вдали от своих и лучше одеваться, то будет весьма представительной дамой... Но сможет ли он любить ее?

Фебрер скептически улыбнулся. Разве для того, чтобы жениться, необходимо любить? Брак для него был путешествием вдвоем по оставшейся части жизни, и в женщине нужно было только искать качеств, необходимых для спутника по экскурсии: доброго характера, сходства вкусов, одинаковых привычек в отношении еды и сна... Любовь! Все претендовали на нее, а она, как талант, как красота, как богатство, была редкой удачей, которой наслаждались немногие избранные. К счастью, это жестокое неравенство скрывалось обманом, и все люди, заканчивая свои дни, с грустью вспоминали о молодости, уверенные в том, что действительно знавали любовь, тогда как не ощущали ничего иного, кроме жаркого

соприкосновения тел.

Любовь — прекрасная вещь, но она совершенно необязательна для брака и для жизни. Самое важное — выбрать хорошую подругу для оставшегося пути; спокойно и прочно устроиться в жизни; шагать в ногу, чтобы не было скачков и ненужных столкновений; владеть своими нервами, чтобы не создавать излишних трений при постоянном общении в совместной жизни; спать, как добрые друзья, сохраняя взаимное уважение, не толкаясь коленями и не ударяя друг друга локтем в бок... Он и надеялся найти это, заранее готовый на все.

Вскоре на вершине холма открылась окруженная горами Вальдемоса. Башня картезианского монастыря, красиво облицованная зелеными изразцами, возвышалась над густой зеленью садов, прилегавших к кельям.

Фебрер заметил экипаж, стоявший у поворота дороги. Из него вышел мужчина и замахал руками, чтобы кучер Хайме остановил лошадей. Потом он открыл дверцу и со смехом уселся рядом с Фебрером.

— О, капитан! — сказал тот с изумлением.

— Ты не ожидал меня встретить, а?.. Я тоже буду на завтраке, я сам себя пригласил. Мой брат будет страшно удивлен!..

Хайме пожал ему руку. Это был один из самых преданных его друзей — капитан Пабло Вальс.

### III

Пабло Вальса знала вся Пальма. Когда он усаживался на террасе кафе на Борне, вокруг него обычно теснились слушатели, и каждый улыбался его энергичным жестам, сопровождаемым раскатами громкого голоса, который, казалось, не способен был звучать приглушенно.

— Я чуэт, ну и что же?.. Еврей, самый настоящий еврей! Вся наша семья происходит от тех, кто жил на Улице. Когда я командовал судном «Рохер де Лауриа» и был однажды в Алжире, я остановился возле дверей синагоги, и один старик, посмотрев на меня, сказал: «Можешь войти, ведь ты из наших». И я подал ему руку и ответил: «Спасибо, единоверец».

Слушатели смеялись, а капитан Вальс громогласно заявлял о том, что он чуэт, и гордо озирался, словно бросая вызов домам и людям, воплотившим в себе душу острова, который питал к его нации нелепую вековую ненависть.

Лицо выдавало его происхождение. Рыжие с сединой бакенбарды и короткие усы свидетельствовали о том, что он отставной моряк; но у обладателя этой пышной растительности был характерный семитский профиль с тяжелым горбатым носом и выступающим подбородком; а глаза, опущенные длинными ресницами, отливали, в зависимости от освещения, то золотом, то янтарем, и в них словно плавали крапинки табачного цвета.

Он много плавал, долго жил в Англии и Соединенных Штатах и после пребывания в этих свободных странах, чуждых религиозной ненависти, научился открыто и дерзко презирать обычаи острова, застывшего в безжизненном оцепенении. Другие чуэты, утраченные на протяжении многих веков преследованиями и презрением, скрывали свое происхождение или старались заглушить в Других воспоминание о нем своей покорностью. А капитан Вальс

пользовался любым случаем, чтобы поговорить о своей принадлежности к иудейской расе, выставляя ее напоказ, слоимо дворянский титул, как вызов всеобщему предубеждению.

— Я еврей, ну и что же?.. — продолжал он громогласно. — Единоверец Иисуса, святого Павла и других святых, которым поклоняются и у алтарей. Бутифарры с гордостью говорят о своем роде, который ведет свое начало чуть ли не со вчерашнего дня. Я знатнее, мой род более древний. Моими предками были библейские патриархи.

Потом, возмущаясь предрассудками, породившими ожесточение против его народа, продолжал нападать;

— В Испании, — заявлял он категорически, — нет ни одного христианина, который посмел бы задирать нос. Все мы внуки евреев или арабов. А кто нет... кто нет...

Тут он останавливался и после короткой паузы убежденно утверждал:

— Кто нет, тот внук монаха.

На Полуострове неизвестна эта традиционная ненависть к евреям, которая все еще разделяет население Майорки на две касты. Пабло Вальс просто бесился, говоря о своей родине. Здесь уже не было иудеев по религии. Много веков тому назад разрушили последнюю синагогу. Почти все евреи крестились, а непокорные были сожжены инквизицией. Нынешние чуэты — самые преданные католики на Майорке, привносящие в свои религиозные убеждения семитский фанатизм. Они молятся вслух, делают своих сыновей священниками, находят связи для устройства в монастыри своих дочерей, состоят как зажиточные люди в числе приверженцев самых консервативных идей, и все же к ним относятся с тем же отвращением, что и в прошлые века, и они живут совершенно обособленно, так как ни один класс общества не желает сближения с ними.

— Вот уже четыреста пятьдесят лет, как нам кропят темя при крещении, — продолжал кричать капитан Вальс, — а мы по-прежнему прокляты, отвержены, как до нашего обращения в христианство. Разве это справедливо?.. О, эти чуэты! Остерегайтесь их! Это дурные люди!.. На Майорке есть два католицизма: один — для нас, а другой — для остальных.

И затем с ненавистью, в которой как бы отражалась вся горечь преследуемого, моряк говорил о своих единоплеменниках:

— Впрочем, так им и надо, трусам, за то, что слишком любят остров, эту скалу, на которой мы родились. Чтобы не уезжать отсюда, они сделались христианами, а теперь, когда они стали ими взаправду, их за это еще лягают. Если бы они остались иудеями и разъехались по всему свету, как это сделали остальные, они были бы теперь, наверно, важными персонами и королевскими банкирами, вместо того чтобы сидеть в своих уличных лавчонках и выделывать серебряные кошельки.

Скептик в вопросах религии, он презрительно или дерзко отзывался о всех: о евреях, сохранивших свою старую веру, о принявших христианство, о католиках, о мусульманах, с которыми общался во время своих путешествий к берегам Африки и в портах Малой Азии. Иногда его охватывала атавистическая нежность, и он впадал в благоговение перед своим народом.

Он был семитом и с гордостью заявлял об этом, ударяя себя в грудь: «Мы — первый народ в мире!»

— В Азии мы обовшивели и умирали с голоду, потому что там не с кем было торговать и некому давать займы. Но не кто иной, как мы, дали человеческому стаду его теперешних пастырей, которые еще много веков будут владеть душами человеческими. Моисей, Иисус и

Магомет родились на моей земле... Могучие сообщники, не так ли, господа? А теперь мы дали миру четвертого пророка, тоже из нашего племени, только у него два облика и два имени. Одни зовут его Ротшильдом, и он главенствует над всеми, у кого есть деньги, а другие его Историю своего народа на острове Вальс излагал с обычным для него лаконизмом. Когда-то евреев было много, очень много. В их руках находилась почти вся мировая торговля принадлежала значительная часть морских судов. Фебреры и другие владетельные христиане не отказывались вступать с ними в деловые связи. Эти древние времена можно назвать эпохой свободы: преследования и варварство относятся к сравнительно новому периоду. Евреи были королевскими казначеями, медиками и другими придворными в средневековых государствах Пиренейского полуострова.

Когда начались религиозные распри, самые богатые и хитрые евреи острова сумели креститься вовремя и по доброй воле, смешались с местными семьями и заставили забыть о своем происхождении. Впоследствии именно эти новые католики, отличавшиеся, как все новообращенные, особенным пылом, и возглавили ожесточенное гонение на своих бывших собратьев. Теперешние чуэты, единственные майоркинцы достоверно еврейского происхождения, это — потомки евреев, принявших крещение последними, внуки тех, на кого обрушилась ярость инквизиции.

Быть чуэтом, вести свой род от тех, кто жил на улице Ювелиров, которую для краткости называют просто Улицей, — величайшее несчастье для майоркинца. Напрасно в Испании происходили революции и провозглашались либеральные законы, признававшие равенство всех испанцев: чуэт, прибыв на полуостров, становился таким же гражданином, как и все, но на Майорке он был отверженным, чем-то вроде зачумленного, который имеет право породниться только со своими.

Вальс говорил с усмешкой о той общественной иерархии, которая царила на острове в течение веков; иные ступени этой социальной лестницы и по сей день остаются незыблемыми. Наверху — гордые бутифарры, затем дворяне — кабальеро, потом моссоны, за ними — купцы и ремесленники и, наконец, крестьяне, обрабатывающие землю. Далее открывалась как бы огромная скобка на пути, избранном господом богом, создателем тех и других, — обширное пустое пространство, которое каждый мог заселять по своей прихоти. Несомненно, за благородными и простыми майоркинцами шли по старшинству свиньи, собаки, ослы, кошки, крысы... и под конец, за всеми этими тварями господними, шел презренный сосед с Улицы — чуэт, пария острова. Неважно, что он богат, как брат капитана Вальса, или умен, как некоторые другие. Многие чуэты, бывшие на Полуострове государственными служащими — военные, юристы, финансисты, — по возвращении на Майорку убеждались в том, что самый последний нищий считал себя выше их всех и, чувствуя себя оскорбленным, раздражался бранью по адресу евреев и их родни. Оторванность этого уголка Испании, окруженного морем, благоприятствовала сохранению здесь духа прошлых времен.

Тщетно пытаюсь отвести от себя многовековую ненависть, не исчезнувшую и с прогрессом, чуэты доходили до крайностей в своем католицизме, в своей слепой и страстной вере. В значительной мере это вызывалось страхом, проникшим в плоть и кровь в результате многолетних преследований. Напрасно доходили они до крика, молясь в своих домах, чтобы их слышали соседи по улице, подражая предкам, которые поступали так же. Помимо того, пища готовилась при открытых окнах, с тем чтобы все видели, что они едят свинину. Традиционная ненависть, делавшая из них отщепенцев, не умирала. Католическая церковь, именующая себя вселенской, оставалась для них на острове жестокой и неприступной и платила им за преданность тем, что отталкивала с презрением. Дети чуэтов желавшие стать священниками, не получали мест в семинариях. Монастыри закрывали двери перед каждой послушницей, происходившей с Улицы. На континенте дочери чуэтов выходили замуж за людей знатных и богатых, но на острове они с трудом находили человека, согласного принять их руку и богатства.

— Негодяи! — продолжал иронизировать Вальс. — Они бережливые труженики, мирно живущие в своих семьях, они, пожалуй, больше католики, чем все остальные, но они чуэты, и в них всегда есть что-то такое, за что их ненавидят. В них есть нечто, вы понимаете, господа? Нечто... Кто желает, может убедиться сам.

И моряк смеялся, рассказывая о темных крестьянах, которые еще несколько лет назад уверяли, что у чуэтов тело покрыто жиром, а сзади у них хвосты; пользуясь случаем, они раздевали встречного ребенка с Улицы, чтобы проверить, имеется ли у него пресловутый отросток.

— А мой брат? — продолжал Вальс. — А мой праведный брат Бенито, который так громко молится и, кажется, готов съесть глазами изображения святых?

Все вспоминали о случае с доном Бенито и искренне смеялись, тем более что его брат первым потешался над этим происшествием. Рассчитавшись с долгами, богатый чуэт оказался владельцем дома и ценных земель в одном из селений в глубине острова. Когда он собрался вступить во владение новой собственностью, осторожные соседи дали ему совет: он, разумеется, может посещать эти земли днем, но оставаться там ночевать?.. Никоим образом! Никто не помнил, чтобы в их селе когда-нибудь ночевал чуэт. Дон Бенито не обратил внимания на эти советы и однажды заночевал, в своем владении; но едва он лег в постель, как слуги сбежали. Когда хозяину надоело спать, он соскочил с кровати. Сквозь ставни не проникало даже слабой полоски света. Ему казалось, что он проспал по меньшей мере двенадцать часов, на самом же деле была еще ночь. Он открыл окно — и впотьмах сильно ударился головой о что-то твердое, попробовал открыть дверь — и не смог. Во время его сна соседи забили все ходы и выходы, и чуэту пришлось спасаться через крышу, под хохот людей, радовавшихся своей затее. Шутка эта была лишь предупреждением: если он будет упорно идти против местных обычаев, то может проснуться ночью в доме, объятom пламенем.

— Жестоко, но остроумно! — добавлял капитан. — Мой брат!.. Такой добряк!.. Такой святой!..

Все смеялись при этих словах. Капитан постоянно общался со своим братом, хотя и относился к нему с некоторой холодностью, не делая секрета из того, что они часто ссорились. Пабло Вальс считался в своей семье бродягой: он всегда скитался — то в море, то в далеких странах, ведя образ жизни веселого холостяка; на необходимые расходы ему хватало. После смерти отца дела по дому перешли к его брату, и тот обсчитал капитана на несколько тысяч дуру.

— Совершенно так же, как водится у добрых старых христиан, — спешил пояснить Пабло. — Когда дело идет о наследстве, то не существует ни нации, ни веры. Деньги не признают религии.

Бесконечные преследования, перенесенные его предками, приводили капитана в негодование. В те времена на людей с Улицы нападали под любым предлогом. Когда у крестьян случались раздоры с дворянами или толпы вооруженных чужеземцев шли на горожан Пальмы, то конфликт разрешался совместным нападением на район чуэтов, причем тех, кто не успевал скрыться, убивали, а лавки их громили. Если в военное время майоркинскому батальону приходил приказ выступить в Испанию, солдаты бунтовали, выходили из казарм и грабили Улицу. Когда в Испании реакция приходила на смену революции, то сторонники короля, чтобы отметить свою победу, брали приступом ювелирные лавки чуэтов, захватывали их богатства и разводили костры из мебели, бросая в огонь даже распятия. Ведь у старых евреев и распятия фальшивые!..

— А кто такие эти с Улицы? — кричал капитан. — Всем известно: это те, у кого глаза и нос такие, как у меня, хотя есть среди них и курносые, сильно отличающиеся от общего типа.

Зато сколько есть гордых аристократов, почитающих себя за старинную знать, с лицами точь-в-точь как у Авраама и Иакова!..[51] Существовал список подозрительных фамилий, чья принадлежность к чуэтам не была установлена. Однако такие же фамилии носили и старые христиане — их отличал от евреев лишь капризный обычай. Всеобщая ненависть распространялась только на семьи, происходившие от тех, кто подвергся бичеванию или был сожжен на костре инквизиции. Этот знаменитый список фамилий был, нет сомнения, почерпнут из актов святейшего судилища[52].

— Какое счастье стать христианином! Предки поджарены на кострах, а дети навечно заклеены и прокляты...

Капитан утрачивал свой иронический тон, вспоминая страшную участь майоркинских чуэтов. Щеки его багровели, и глаза загорались ненавистью. Чтобы жить спокойно, все евреи приняли в XV веке христианство. На острове не оставалось ни одного иудея, но инквизиции надо было чем-нибудь оправдать свое существование, и на Борне происходили сожжения людей, заподозренных в иудаизме. По записям летописцев, эти зрелища были устроены в полном соответствии с блестящими представлениями, отпразднованными во имя торжества веры в Мадриде, Лиме и Палермо.

Одних чуэтов сожгли, другие подверглись бичеванию, иные отделались тем, что были выставлены на позор в колпаке, разрисованном чертями, и с зеленой свечой в руке. Но имущество конфисковали у всех, и святейший трибунал обогатился. С тех пор все заподозренные в иудаизме и не располагавшие покровительством какого-либо церковника обязаны были каждое воскресенье ходить с семьей в собор к обедне, куда их гнали, как стадо, под надзором полицейского, надевавшего на несчастных особые плащи, чтобы не спутать с другими людьми. В таком виде их вели в храм, под гниет, ругань и град камней, которые посыпала им вдогонку набожная чернь. Так бывало каждое воскресенье, и в этой бесконечной еженедельной пытке умирали отцы, превращались в мужчин их сыновья, порождая новых чуэтов, обреченных на публичное поношение.

Несколько семей уговорились бежать от этого позорного рабства. Они собирались в саду около городской стены, и их советником и предводителем был некий Рафаэль Вальс, человек смелый и широко образованный.

— Не знаю точно, был ли он моим родственником, — говорил капитан. — С тех пор прошло более двух столетий! Но даже если он мне и не сродни, я бы очень хотел считать его близким по крови... Мне лестно иметь его своим предком. Но продолжим!

Пабло Вальс собрал в своем доме документы и книги, относящиеся к эпохе преследований, и рассказывал о них, как о событиях вчерашнего дня:

— Они погрузились на судно, мужчины, женщины и дети, на английское судно, но буря вернула их вновь к майоркинским берегам, и беглецы были пойманы. В Испании тогда правил Карл II Злосчастный[53]. Как?! Они хотели бежать с Майорки, где с ними так хорошо обращались, и, более того, — на судне с протестантской командой!.. Их заключили в тюрьму на три года, и конфискация их имущества принесла миллион дуро. Кроме того, святейший трибунал располагал еще несколькими миллионами дуро, похищенными у предыдущих жертв. В Пальме построили дворец, самый лучший и роскошный из всех дворцов инквизиции. Заключенных пытали до тех пор, пока они не признались во всем том, чего желали судьи. И вот седьмого марта тысяча шестьсот девяносто первого года начались казни. Это событие нашло себе такого историка, какого не сыскать во всем мире, — отца Гарау, святого иезуита, кладезя богословской премудрости, ректора семинарии в Монте-Сионе, где теперь находится Институт, автора книги «Торжествующая вера» — литературного памятника, который я не продам ни за какие деньги. Вот он, я ношу его с собой повсюду.

И вынув из кармана «Торжествующую веру», томик, переплетенный в пергамент, со старинной красноватой печатью, он поглаживал его со сдержанной яростью.

— Преподобный отец Гарау! Назначенный увещевать и укреплять в вере осужденных, он все видел вблизи и описал многотысячные толпы зрителей, которые пришли из различных сел острова, чтобы присутствовать на празднестве, на торжественных богослужениях с участием тридцати восьми осужденных на сожжение; далее падре говорит о роскошных одеждах дворян, об альгвасилах[54], скакавших на резвых конях перед процессией, и о набожности народа, который громкими криками выражал сострадание преступникам, когда тех тащили на виселицу, но оставался безгласным при виде этих отступников, забытых богом...

В этот день, по мнению ученого иезуита, выявилась душевная стойкость верующих в бога и тех, кто его не признает. Священники шествовали с вдохновенным видом, неумолимо призывая грешников к покаянию, а те шли жалкие, бледные, поникшие и обессиленные. Для всех было очевидно, на чьей стороне заступничество божье.

Приговоренных привели на место сожжения, к подножию замка Бельвер. Маркиз де Леганес, губернатор Миланской области, находившийся проездом на Майорке, куда он прибыл во главе своего флота, сжалился над молодостью и красотой одной осужденной девушки и просил о ее помиловании. Трибунал воздал Отцу Гарау было поручено наставлять Рафаэля Вальса, человека ученого, но наделенного дьявольской гордостью, побуждавшей его оскорблять тех, кто осудил его на смерть, и мешавшей ему примириться с церковью. Но, как пишет иезуит, эта смелость ведет свое начало от злого духа и поэтому исчезает перед опасностью и никак не может сравниться со спокойствием священника, который напутствует преступника.

— Отец иезуит вел себя героем: он находился далеко от костра. Теперь послушайте, с каким евангельским благочестием он описывает смерть моего предка.

И Вальс открывал книгу на заложенной странице и медленно читал: «Пока до него достигал только дым, он казался статуей, а когда до него дошло пламя, он стал защищаться, пытаясь укрыться от него, и боролся, как мог и пока мог. Он был толстым, как откормленный боров, и загорелся изнутри, когда огонь еще не доставал до него; тело его, пылавшее подобно головешке, лопнуло посередине, и из него выпали внутренности, как у Иуды: «*Crepuit medius diffusa sunt omnia viscera ejus*».

Это варварское описание всегда производило впечатление. Смех прекращался, лица мрачнели, и капитан Вальс, поглядывая вокруг своими янтарными глазами, удовлетворенно вздыхал, как бы одержав победу, и небольшой томик опять скрывался в его кармане.

Однажды, когда среди слушавших был и Фебрер, моряк сказал с укором:

— Ты тоже там находился, вернее не ты... Один из твоих предков, один из Фебреров, нес зеленое знамя, как главный знаменосец трибунала, а дамы твоей семьи приехали в карете к замку, чтобы присутствовать при сожжении.

Раздосадованный этими словами, Хайме отвел глаза.

— Старые дела! Кто теперь вспоминает о том, что было? Разве какие-нибудь безумцы вроде тебя... Лучше расскажи, Пабло, что-нибудь о своих путешествиях... о своих победах над женщинами.

Капитан ворчал: — Старые дела! Душа нашего острова осталась такой же, как в те времена. Все еще держатся религиозная и национальная ненависть. Недаром мы живем в стороне, на клочке земли, отрезанном морем.

Но вскоре к Вальсу возвращалось хорошее настроение, и, как все много скитавшиеся по белому свету люди, он не мог устоять, когда ему предлагали рассказать о своем прошлом.

Фебрер, такой же скиталец, как он, с наслаждением слушал его рассказы. Оба они прожили беспокойную жизнь людей, оторванных от родины, столь отличную от монотонного существования островитян, оба щедро сорили деньгами. Разница между ними состояла только в том, что Вальс благодаря духу предприимчивости, свойственному его народу, умел и зарабатывать, и теперь, будучи на десять лет старше Хайме, имел достаточно средств, чтобы чувствовать себя независимым и удовлетворять свои скромные потребности старого холостяка. Время от времени он еще занимался делами и выполнял поручения друзей, присылавших ему письма из дальних портов.

Хайме пропускал мимо ушей ту часть пестрой истории моряка, где он говорил о бурях и голодовках, — его интересовали любовные похождения в больших международных портах, где встречаются в изобилии экзотические пороки и женщины всех рас. Во времена молодости, когда он командовал судами своего отца, Вальс знал женщин всех сословий и всех оттенков кожи и участвовал в оргиях моряков, которые заканчивались потоками виски и ударами ножа.

— Пабло, расскажи нам о твоих похождениях в Яффе, когда тебя хотели убить арабы.

И Фебрер надрывался со смеху, слушая очередную историю, а моряк между тем говорил себе, что Хайме — неплохой парень, достойный лучшей участи, и его единственный недостаток то, что он принадлежит к бутифаррам и несколько заражен семейными предрассудками. Встретив коляску Фебрера по дороге в Вальдемосу, Вальс приказал своему кучеру возвращаться в Пальму; затем, усевшись рядом с приятелем, он сдвинул на затылок мягкую фетровую шляпу с приплюснутой тульей и полями, загнутыми спереди и опущенными сзади, которую он носил в любую погоду.

— Вот мы и вместе. Не правда ли, ты меня не ожидал? Я все знаю, мне говорят обо всем, и раз уж готовится семейный праздник, так пусть все будут в сборе.

Фебрер прикинулся непонимающим. Экипаж въехал в Вальдемосу и остановился неподалеку от картезианского монастыря, у дома современной постройки. Когда друзья миновали решетку сада, они увидели господина с седыми бакенбардами, который, опираясь на палку, шел к ним навстречу. Это был дон Бенито Вальс. Он медленно, приглушенным голосом приветствовал Фебрера, прерывая несколько раз свою речь, чтобы перевести дыхание. В словах его чувствовалось смирение и желание подчеркнуть ту честь, которую оказывал ему Хайме, приняв его приглашение.

— А я? — спросил капитан с лукавой улыбкой. — Разве я никто?.. Ты не рад видеть меня?

Дон Бенито был рад его видеть. Так он повторил несколько раз, но глаза его выражали беспокойство. Брат внушал ему некоторый страх. У него такой острый язык!.. Было бы лучше им встречаться пореже.

— Мы приехали вместе, — продолжал моряк. — Я узнал, что Хайме будет здесь завтракать, и пригласил себя сам, уверенный в том, что ты мне обрадуешься. Эти семейные встречи совершенно очаровательны.

Они вошли в просто обставленный дом. Мебель была современной и безвкусной; несколько хромолитографий и два-три скверных пейзажа Вальдемосы и Мирамара украшали стены.

Каталина, дочь Бенито, поспешно спустилась со второго этажа. Рисовая пудра, рассыпанная у нее на груди, выдавала поспешность, с которой она, уже завидев подъезжающую карету, прихорашивалась перед зеркалом.



Впервые Хайме мог внимательно рассмотреть девушку. Он не ошибся в своих предположениях: высокая, матово смуглая, с черными бровями, с глазами, похожими на чернильные пятна, и легким пушком над губой и на висках. Несмотря на девическую стройность, фигура ее была крепкой и плотной, что предвещало значительную полноту в будущем, как у всех женщин ее нации. Характер у нее, очевидно, был нежный и покорный; она была бы хорошим товарищем, не способным испортить совместное путешествие в жизнь. Встречая взгляд Хайме, Каталина опускала глаза и краснела. В ее поведении и смущенных взглядах сквозило почтительное преклонение перед тем, кто казался ей высшим существом и внушал ей известную робость.

Капитан нежно обнял племянницу с непринужденным старческим добродушием, с каким беседовал обычно в поздние ночные часы с девицами из Пальмы в одном из ресторанов на Борне. Ах, какая красивая девушка! И какая славная! Подумать только, что она происходит из семьи уродов.

Дон Бенито повел их в столовую. Завтрак был давно подан. В этом доме по старому обычаю завтракали в двенадцать. Сели за стол, и Фебрер, оказавшийся рядом с хозяином, с тревогой следил за его хриплым дыханием и мучительными передышками, которыми тот прерывал свои слова.

В тишине, наступающей, как обычно, в начале еды, раздавался непрерывный свист его больных легких. Богатый чуэт выпячивал губы, складывая их колечком, наподобие трубки, и устало и шумно втягивал воздух. Как и все больные, он испытывал потребность говорить, и речи его были бесконечными, с заминками и долгими перерывами для отдыха, причем грудь его хрипела, глаза закатывались и казалось, что вот-вот он умрет от удушья. Атмосфера в комнате была напряженной. Фебрер смотрел на хозяина с некоторым беспокойством, словно боясь, что он того и гляди замертво упадет со стула. Его дочь и капитан, привычные к этому зрелищу, были, казалось, вполне спокойны.

— Это астма, дон Хайме... — с трудом сказал больной. — В Вальдемесе... мне лучше... В Пальме я погибал.

Дочь воспользовалась случаем, чтобы гость услышал ее голос, робкий как у монашки, совершенно не гармонирующий с ее жгучими восточными глазами.

— Да, папе здесь лучше.

— Здесь тебе покойнее, — прибавил капитан, — и ты меньше грешишь.

Фебрер думал о том, как мучительно проводить свою жизнь подле этого разрушенного кузнечного меха. К счастью, старик скоро умрет. Помеха, которая будет продолжаться несколько месяцев, не может изменить его решения вступить в эту семью. Вперед!

Астматик с присущей ему болезненной болтливостью рассказывал Хайме о его предках, славных Фебрерах, самых знатных и самых добрых кабальеро на острове.

— Я имел честь быть добрым другом вашего деда, дона Орасио.

Фебрер подсмотрел на него с изумлением. Ложь! Его важного деда знали на острове все, и со всеми он разговаривал, сохраняя при этом степенный вид, который внушал людям уважение и не отталкивал их. Но значило ли это быть другом?.. Быть может, он с ним беседовал по поводу какого-либо займа, в котором дон Орасио нуждался для поддержки своего состояния, пришедшего в упадок.

— Я также хорошо знал вашего батюшку, — продолжал дон Бенито, ободренный молчанием Фебрера. — Я агитировал за него, когда его выбирали в депутаты. Да, это были

другие времена! Я был молод и не обладал таким состоянием, как теперь... Тогда я считался красным.

Капитан Вальс прервал его со смехом. Теперь его браг консерватор и член всех религиозных братств Пальмы.

— Да, я в них состою! — крикнул, задыхаясь, больной. — Мне нравится порядок... Мне нравится старина...

Пусть управляют те, кому есть что терять. А религия? О, религия!.. Я отдал бы за нее всю жизнь.

И он прижал руку к груди, боязливо дыша, как бы задыхаясь от прилива энтузиазма. Он поднял к небу свой угасающий взор, словно склоняясь в страхе и трепете перед святым учреждением, которое сожгло его предков.

— Не обращайтесь внимания на Пабло, — продолжал он, с трудом переводя дыхание и обращаясь к Фебреру. — Ведь вы его знаете: мозги набекрень, республиканец, человек, который мог бы быть богатым, а доживет до старости, не имея и двух песет.

— Для чего? Чтобы ты их у меня отобрал?..

Эта резкая реплика моряка вызвала общее молчание. Каталина сделала печальное лицо, опасаясь, что в присутствии Фебрера повторится одна из тех бурных сцен, которые разыгрывались при каждой ссоре двух братьев.

Дон Бенито пожал плечами и заговорил, обращаясь только к Хайме. Его брат — сумасшедший: золотое сердце, но сумасшедший, безнадежно, сумасшедший. Из-за своих сумасбродных идей и разглагольствований в кафе он является главным виновником того, что приличные люди питают известное предубеждение к... что дурно говорят о...

Старик сопровождал свои отрывистые фразы беспомощными жестами, избегая произносить слово «чуэты» и стараясь не упоминать о пресловутой Улице.

Капитан, раскрасневшись и уже раскаявшись в своей выходке, искренне хотел, чтобы все забыли о вырвавшихся у него словах, и жадно ел, опустив голову.

Его племянница посмеивалась над его прекрасным аппетитом. Всегда, когда он ест вместе с ними, они восторгаются вместимостью его желудка.

— Это потому, что я знаком с голодом, — сказал моряк с оттенком гордости. — Я испытал настоящий голод — голод, заставляющий подумать о мясе своих товарищей.

И, увлекшись воспоминаниями о морских приключениях, он заговорил о тех временах своей молодости, когда отбывал службу на одном из фрегатов, плававших у побережья Тихого океана. Убедившись, что Пабло упорно желает стать моряком, его отец, старый Вальс, заложивший основу благополучия их дома, посадил его на корабль, возивший сахар из Гаваны. Но это не было настоящим плаванием. Повар приберегал для него лучшие куски, капитан не осмеливался отдавать ему приказания, видя в нем сына судовладельца. Так он никогда бы не стал настоящим моряком, опытным и закаленным. С энергией, свойственной его нации, он устроился без ведома отца на фрегат, отправлявшийся грузить гуано на острова Чинчас, с весьма разношерстной командой, состоявшей из дезертиров английского флота, лодочников из Вальпараисо, перуанских индейцев — словом, из всяких подонков. Ими командовал один каталонец, скупой на кормежку и щедрый на удары плетью. Рейс к островам прошел благополучно, но на обратном пути, после того как они прошли Магелланов пролив, настал штиль, и фрегат простоял без движения в Атлантическом океане около месяца,

причем запасы продовольствия вскоре истощились. Судовладелец был крохобором и снабдил корабль безобразно скудным количеством провианта, а капитан, в свою очередь, еще более сократил эти запасы, присвоив себе часть средств, отпущенных на их закупку.

— Нам выдавали на день по две совершенно червивые галеты. В первый раз я как благовоспитанный барчук удалил этих животных одного за другим, но после очистки оставались одни только корочки, тонкие как облатки причастия, а я умирал с голоду. Тогда...

— О дядя! — воскликнула Каталина и, догадываясь о том, что он собирается сказать, с жестом отвращения отодвинула тарелку и вилку.

— Тогда, — бесстрастно продолжал моряк, — я отменил очистку и глотал их целиком. Правда, я съедал их по ночам... И столько раз, моя девочка, сколько раз их нам выдавали. Под конец нам стали выдавать по одной, и когда я прибыл в Кадис, мне пришлось перейти на суп, чтобы наладить желудок.

После завтрака Каталина и Хайме вышли в сад. Дон Бенито с видом благодушного патриарха приказал дочери сопровождать сеньора Фебрера и показать собственноручно посаженные хозяином несколько кустов роз, отличавшихся разнообразием и экзотической красотой. Братья остались в комнате, служившей кабинетом, и наблюдали за парой, которая прогуливалась по саду, а затем уселась в камышовые кресла, стоявшие под тенистым деревом.

Каталина отвечала на вопросы своего спутника с робостью христианской девушки, воспитанной в благочестии, угадывая тайный смысл его слов, скрытый шаблонной любезностью. Этот мужчина приехал ради нее, и отец ее был согласен с его намерениями. Дело решено. Он Фебрер, и она скажет ему «да». Ей припомнилось детство, школьные годы, когда ее окружали дети из более бедных семей, которые, унаследовав родительскую ненависть, пользовались любым случаем, чтобы задеть ее, завидуя ее богатству. Она была чуэтой и могла дружить только с чуэтами, но и они, стремясь примириться со своими недругами, предавали друг друга, не имея ни достаточной энергии, ни товарищеской поддержки для дружного отпора. После окончания уроков чуэты, по указанию монахинь, уходили первыми, чтобы не встречаться на улице с другими ученицами и избежать оскорблений и неожиданных нападений. Даже служанки, сопровождавшие девочек, ссорились между собой, переняв ненависть и предрассудки своих хозяев. В мужских школах чуэты тоже уходили раньше, чтобы ускользнуть от сыновей старых христиан, избивавших их камнями или ремнями.

Дочь Вальса вдоволь натерпелась предательских булавочных уколов, царапин исподтишка, нападений с ножницами на ее косы. Потом, когда она стала взрослой, ненависть и презрение бывших соучениц по-прежнему преследовали ее, отравляя беззаботную жизнь молодой и богатой девушки. Для чего ей наряжаться?.. На прогулке ее приветствовали лишь друзья отца, в театре к ней в ложу заходили только люди с Улицы. За одного из них ей предстояло выйти замуж, как то пришлось в свое время сделать ее матери и бабушкам.

Чувство безнадежности и мистицизм, свойственный ей в ранней юности, влекли ее в монастырь. Отец был совершенно убит горем. Но она готовилась отдать свою жизнь служению религии!.. И дон Бенито согласился на ее уход в один из майоркинских монастырей, где он мог бы видеть дочь ежедневно. Однако ни один монастырь не пожелал ее принять. Соблазненные состоянием отца, которое должно было перейти к общине, настоятельницы были добры и снисходительны, но монастырская паства восставала против приема в свою среду девушки с Улицы, к тому же не бедной и, стало быть, готовой переносить чужое превосходство, а гордой и богатой.

И вот, натолкнувшись на это противодействие, она снова вернулась к мирской жизни, не зная,

что думать о своем будущем, и жила теперь подле отца как сиделка, в полном неведении предстоящей судьбы. Она отворачивалась от молодых чуэтов, привлеченных миллионами ее отца и увивавшихся вокруг нее. И тут явился Фебрер, как принц в волшебной сказке, чтобы сделать ее своей супругой. Как милостив господь! Она видела себя во дворце около собора, в аристократическом квартале, где по тихим и узким улицам с голубоватой мостовой в вечерние сонные часы, заслышав звон колокола, проходят каноники. Она видела себя в роскошной коляске среди сосновых аллей парка на горе Бельвер или гуляющей вдоль мола рядом с Хайме и с наслаждением думала о злобных взглядах своих бывших одноклассниц, завидующих не только ее богатству и новому положению, но и тому, что ей принадлежит мужчина, которому бурная жизнь и приключения в далеких странах создали славу совершенно неотразимого человека, ослепительного и рокового для застенчивых барышень острова.

Хайме Фебрер!.. Каталина всегда видела его только издали, но когда она старалась заполнить надоевшее ей одиночество непрерывным чтением романов, некоторые наиболее интересные персонажи своими приключениями и смелостью напоминали ей этого дворянина из соборного квартала, разъезжавшего по свету и сорившего деньгами в обществе элегантных женщин. И вдруг отец заговорил с ней об этом необычайном герое, заверил, что тот готов предложить ей свое имя и славу своих предков, бывших друзьями королей!.. Она не знала, была ли то любовь или благодарность, но испытывала прилив нежности, вызывавшей у нее слезы и неудержимо привлекавшей ее к этому человеку. Ах, как она будет его любить! Она внимала ласковому журчанию его слов, не вникая в смысл того, о чем он говорил, опьяняясь лишь музыкой его речи и думая в то же время о будущем, которое внезапно открылось перед ней, подобно солнечному лучу, пробившемуся сквозь тучи.

Но вот, сделав над собой усилие, она прислушалась к словам Фебрера, говорившего о больших и далеких городах, о вереницах богатых карет с великолепными женщинами, выставлявшими напоказ последние новинки моды, о лестницах в театрах, откуда спускались целые каскады бриллиантов, перьев и обнаженных плеч. Он старался при этом приноровиться к уровню представлений молодой девушки и угодить ей подробным описанием того, что составляет предмет женского тщеславия.

Хайме не заканчивал своей мысли, но Каталина хорошо понимала смысл его слов. Она, несчастная девушка с Улицы, чуэта, привыкшая видеть близких ей людей робкими и придавленными вековой ненавистью к ним, посетит эти города, сольется с этой богатой толпой, перед ней откроются двери, ранее для нее закрытые, и она войдет в них, опираясь на руку человека, воплощавшего для нее всегда все земное величие.

— Увижу ли я все это! — прошептала Каталина с напускной скромностью. — Мне суждено жить на острове; я бедная девушка, никому не причинившая зла, но, несмотря на это, мне пришлось перенести большие огорчения... Должно быть, я просто непривлекательна.

Фебрер тотчас устремился по пути, открытому перед ним женским лукавством. Она непривлекательна?! Нет, Каталина. Он прибыл в Вальдемосу только ради того, чтобы увидеть ее, поговорить с ней. Он предлагает ей новую жизнь. Всем, что вызывает у нее восхищение, она может воспользоваться, ей стоит только сказать одно слово. Согласна ли она выйти за него замуж?..

Каталина, уже целый час ожидавшая этого предложения, вздрогнула. Наконец-то она услышала об этом из его уст! Она не могла сразу ответить и пролепетала лишь несколько слов. Для нее это было счастьем, самым большим в ее жизни, но она как благовоспитанная девушка не должна была сразу соглашаться.

— Я?.. Я подумаю... Это так неожиданно!..

Хайме хотел настоять на своем, но в эту минуту из сада вышел капитан Вальс и громко позвал его. Им пора ехать в Пальму, он уже велел запрягать. Фебрер глухо запротестовал. По какому праву Пабло вмешивается в его дела?..

Появление дона Бенито прекратило их разговор. Старик тяжело дышал, лицо его было багровым. Капитан нервно расхаживал взад и вперед, возмущаясь медлительностью кучера. Было ясно, что между братьями произошел крупный разговор. Старший из них бросил взгляд на дочь и на Хайме и немного успокоился, догадавшись, что они поняли друг друга.

Дон Бенито и Каталина проводили гостей до экипажа. Астматик схватил руку Фебрера и крепко пожал ее. Вот его дом, а сам он — верный друг дона Хайме, всегда готовый к услугам. Если тому нужна помощь, он может рассчитывать на нее в любое время. На него смотрят как на члена семьи!.. Старик еще раз вспомнил о доне Орасио, об их старинной дружбе. Потом, не упоминая о брате, он пригласил Фебрера позавтракать с ними дня через два.

— Да, я приеду, — сказал Хайме и бросил на Каталину взгляд, заставивший ее покраснеть.

Когда садовая ограда, из-за которой приветливо махали руками отец и дочь, исчезла из виду, капитан Вальс шумно расхохотался.

— Итак, тебе хочется как будто, чтобы я стал твоим дядей? — спросил он с иронией.

Взбешенный вмешательством своего друга и внезапною, с какой тот заставил его покинуть дом, Фебрер дал волю своему негодованию. Что ему надо? По какому праву капитан вмешивается в его дела? Он взрослый и не нуждается в советниках.

— Постой-ка! — сказал моряк, откидываясь на сиденье и придерживая руками свою широкополую мушкетерскую шляпу, съехавшую на затылок. — Постой, любезный!.. Я вмешиваюсь потому, что принадлежу к этой семье. Полагаю, что дело идет о моей племяннице; по крайней мере, мне так кажется.

— А если я собираюсь жениться на ней... Тогда что?.. Быть может, Каталина не возражает; возможно, что и отец ее тоже будет согласен.

— Я не говорю, что это не так, но я дядя, и дядя протестует и утверждает, что этот брак — глупость.

Хайме изумленно посмотрел на него. Глупость выйти замуж за Фебрера? Быть может, он желает лучшего для своей племянницы?..

— Глупость с их стороны и глупость с твоей, — утверждал Вальс. — Ты забыл, где живешь. Ты можешь быть моим другом, другом чуэта Пабло Вальса, которого встречаешь в кафе, в казино и которого многие считают полусумасшедшим. Но жениться на женщине из моей семьи!..

И моряк рассмеялся при мысли об этом союзе. Родные Хайме будут возмущены, перестанут с ним здороваться. Им легче было бы пережить его самоубийство. Его тетка папесса Хуана будет визжать, как если бы на ее глазах совершилось кощунство. Он потеряет все, а племянница капитана, до сего времени спокойная и всеми позабытая, сменит свое грустное, монотонное, но все же мирное существование на адскую жизнь, полную огорчений, унижений и презрительных насмешек.

— Нет, повторяю тебе: дядя возражает.

Даже простолюдины, почитающие себя врагами богачей, будут возмущены, узнав, что бутифарр женился на чуэте. Следует уважать традиции острова, чтобы не погибнуть, как погибнет его брат Бенито от недостатка воздуха. Опасно одним взмахом изменить то, что

складывалось веками. Даже те, кто прибывал сюда из других мест, свободные от предрассудков люди, быстро поддавались влиянию этой национальной розни, которой, казалось, была пропитана вся атмосфера.

— Однажды, — продолжал Вальс, — на остров прибыла одна бельгийская чета, желавшая здесь поселиться; ее мне рекомендовал мой приятель из Антверпена. Я им помог, оказал ряд услуг. «Будьте осторожны, — говорил им я,

— не забывайте о том, что я чувствую, а чувствую — плохие люди». Женщина смеялась. Какая дикость! Какие отсталые нравы на этом острове! Евреи живут везде, и они такие же люди, как и все остальные. Потом мы стали встречаться реже, у них появились другие знакомства. Через год, встречая меня на улице, они оглядывались по сторонам, прежде чем со мной поздороваться. Теперь при виде меня они всегда отворачиваются, как будто они майоркинцы!

Жениться! Ведь это на всю жизнь. В первые месяцы Хайме не будет обращать внимание на эти нашептывания и презрительные улыбки, но пройдет время — вековая ненависть не исчезнет за несколько лет! — и он станет сожалеть о своем уединении, признает, что совершил ошибку, бросив вызов предрассудкам, разделяемым большинством окружающих. Страдать же от последствий всего этого будет Каталина, на которую в ее же доме будут смотреть как на олицетворение позора. Нет, женитьба — дело нешуточное. В Испании брак нерасторжим, развода не существует, и попытки подобного рода обходятся дорого. Поэтому он, Вальс, и остался холостяком.

Фебрер, раздраженный этими словами, припомнил шумные выступления Пабло против врагов чувств.

— Да разве ты не желаешь, чтобы к твоим единоплеменникам относились достойно? Разве тебя не возмущает, когда людей с Улицы рассматривают как нечто отличное от всех других?.. Что может быть лучше этого брака в борьбе против предрассудков?

Капитан развел руками в знак сомнения. Та-та-та!.. Брак еще ничего не доказывает. В периоды терпимости и недолгого забвения прошлого старые христиане заключали браки с чувствами. Немало на острове людей, чьи фамилии напоминают об этих союзах. И что же? Ненависть и разделение существуют по-прежнему. Впрочем, не совсем так, — несколько смягченные, но всегда готовые прорваться наружу. Положить этому предел сможет только более высокий уровень культуры, новые обычаи, а это — дело долгих лет, и одним-единственным браком здесь ничего не добьешься. Кроме того, такие опыты опасны и требуют жертв. Если он, Хайме, хочет это испытать, пусть выбирает другую, а не его племянницу.

И Вальс иронически улыбнулся, видя протест Фебрера.

— Быть может, ты влюблен в Каталину? — спросил он.

Янтарные хитрые глаза капитана уставились на Хайме, и тот не смог солгать. Влюблен?.. Нет, не влюблен. Но разве любовь обязательна для женитьбы? Каталина очень славная, она может стать превосходной женой, приятной спутницей жизни.

Улыбка Пабло стала еще шире.

— Поговорим как добрые друзья, знающие жизнь. Мой брат для тебя еще приятнее. Несомненно, он возьмется уладить твои дела: правда, поплачет, подсчитав, во что это ему обойдется; но старик преклоняется перед знатным именем, обожает и почитает все древнее — и все это переживет... Но не доверяй ему, Хайме. Бенито принадлежит к числу тех евреев, которые выступают в комедиях с огромным мешком золота и помогают людям в трудную

минуту, с тем чтобы выжать из них потом последнее. Такие, как он, и подрывают к нам доверие. Я совсем иной, человек. Когда ты окажешься в его власти, то пожалеешь о совершенной сделке.

Фебрер смотрел на своего приятеля недружелюбно. Самое лучшее, что тот мог сделать, это не говорить об этом. Пабло — сумасшедший и привык говорить то, что думает, но он, Хайме, не желает это терпеть. Лучше замолчать, чтобы остаться друзьями.

— Хорошо, замолчим, — сказал Вальс. — Но заметь себе еще раз, что дядя возражает и что я это делаю ради тебя и ради нее.

Молча проехали они остаток дороги. На Борне они разошлись с холодным поклоном, не пожав друг другу руки.

Хайме пришел домой ночью. Мадо Антония зажгла на столе в приемном зале масляную плошку, пламя которой, казалось, еще больше сгущало мрак огромного помещения.

Ивитяне недавно ушли. После завтрака они побродили по городу и ждали сеньора до самого вечера. Ночь они должны были провести на шхуне: хозяин хотел отплыть до рассвета, и мадо с благодушным сочувствием рассказывала об этих людях, как будто явившихся с другого конца света. Как они всем восторгались! Они ходили по улицам как ошарашенные... А Маргалида! Какая красивая девушка!..

Добрая мадо Антония говорила одно, а думала другое и, провожая хозяина до спальни, искоса поглядывала на него, надеясь что-либо прочесть на его лице. Что произошло в Вальдемесе, пресвятая дева Льюкийская! Что случилось с этим сумасбродным планом, о котором хозяин сообщил ей за завтраком?..

А хозяин был в плохом настроении и очень коротко отвечал на ее вопросы. Он не останется дома, будет ужинать в казино. При свете керосиновой лампы, слабо освещавшей большую спальню, он переоделся, привел себя в порядок и взял из рук мадо огромный ключ, чтобы отпереть двери, когда будет возвращаться домой поздней ночью.

В девять часов вечера по пути в казино он увидел в дверях кафе на Борне своего друга Тони Клапеса, контрабандиста. Это был здоровенный мужчина с бритым скуластым лицом, в крестьянской одежде. Он походил на сельского священника, переодевшегося землепашцем, чтобы провести ночь в городе. В белых альпартатах, рубашке без галстука и сдвинутой назад шляпе он входил в любое кафе, в любую компанию, и везде его принимали с величайшими изъявлениями дружбы. Господа в казино восхищались им, видя, как спокойно он вынимает из своих карманов целые пачки банкнот. Родом из отдаленного селения, расположенного в глубине острова, он стал благодаря своей отваге и перенесенным опасностям главой таинственного государства, о котором все знали понаслышке, но чье тайное существование оставалось в тени. У него были сотни подданных, готовых отдать за него жизнь, и невидимый флот, плававший по ночам, не боявшийся бурь и бросавший якорь в почти недоступных местах. Опасности и риск этих предприятий никогда не отражались на его жизнерадостном лице и на его великодушном отношении к окружающим. Он казался печальным лишь тогда, когда неделями не поступало сведений о каком-нибудь его судне, вышедшем из Алжира в плохую погоду.

— Пропало! — говорил он друзьям. — Судно и груз не имеют значения... Там было семь человек, я тоже совершал такие плавания... Постараемся сделать что-либо для семей, чтобы они не остались без куска хлеба.

Иногда печаль его бывала напускной, и он иронически усмехался: «Правительственный катер захватил у меня судно...» И все посмеивались, зная, что Тони почти каждый месяц давал захватить одно из устаревших судов с немногими тюками табака, чтобы порадовать своих

преследователей. Когда в портах Африки вспыхивала эпидемия, власти острова, бессильные охранять обширное побережье, обращались к Тони, взывали к его майоркинскому патриотизму, и контрабандист немедленно прекращал свои перевозки или грузился в других местах, чтобы не занести заразы.

Фебрер испытывал братское доверие к этому суровому, веселому и щедрому человеку. Часто он рассказывал ему о своих денежных затруднениях, надеясь получить добрый совет у смышленного крестьянина. Не способный просить займы у друзей по казино, Хайме принимал в трудные минуты деньги от Тони, который, казалось, тут же забывал о них.

Повстречавшись, они обменялись рукопожатиями. «Ты побывал в Вальдемосе?..» — Тони уже знал о его поездке благодаря легкости, с какой распространялись самые ничтожные слухи в монотонной и спокойной жизни этого жадного до новостей провинциального города.

— Еще кое о чем болтают, — сказал Тони на своем крестьянском наречии, — хотя мне все это кажется враньем. Говорят, ты женишься на дочке дона Бенито Вальса?

Фебрер, пораженный тем, как быстро все стало известно, не рискнул отрицать. Да, это так, только Тони он может сообщить об этом, у контрабандиста вырвался жест отвращения, а в глазах его, обычно спокойных при самых неожиданных известиях, появилось изумление.

— Ты поступаешь плохо, Хайме; плохо поступаешь.

Он говорил серьезно, как бы обсуждая важный вопрос. Бутифарр испытывал к своему другу больше доверия, чем к кому бы то ни было.

— Ведь я разорен. Тони! В моем доме мне ничего не принадлежит! Кредиторы считаются со мной только в надежде на этот брак!..

Тони по-прежнему отрицательно качал головой. Суровый крестьянин, контрабандист и нарушитель законов, он казался ошеломленным этой новостью.

— Все равно ты поступаешь плохо. Выпутывайся из своих затруднений любым способом, только не таким... Мы, твои друзья, тебе поможем. Но жениться на чуэте?..

И, прощаясь с Фебрером, он крепко пожал ему руку, как будто тот на его глазах шел навстречу смертельной опасности.

— Ты поступаешь плохо... Подумай об этом, — сказал он с упреком. — Ты поступаешь плохо, Хайме!

#### IV

Когда в три часа ночи Хайме лег спать, ему почудились во мраке спальни лица капитана Вальса и Тони Клапеса.

И тот и другой, казалось, говорили ему то же, что и накануне вечером. «Я возражаю», — повторял моряк с иронической улыбкой. «Не делай этого»,

— серьезно советовал контрабандист.

Ночь в казино он провел молчаливый, в дурном настроении — эти протесты неотступно преследовали его. Что же было странного и глупого в таких планах, если их отвергал этот



чувств, хотя он, Хайме, оказывал честь его семье, да и этот крестьянин, суровый и лишенный предрассудков, живущий почти вне закона?..

Конечно, на острове этот брак вызвал бы скандальные толки и пересуды, но разве не имел он права искать спасения любым способом? Разве впервые люди его Круга пытаются поправить свое состояние путем брака? Разве родовитые герцоги и князья, искавшие золота в Америке, не женились на дочерях миллионеров еще более сомнительного происхождения, чем дон Бенито?

Да, этот сумасшедший Пабло Вальс отчасти прав. Такие браки могут совершаться где угодно на свете, но Майорка, их любимая Скала, еще обладала живой душой прошлого, исполненной ненависти и предрассудков. Люди здесь оставались такими, какими родились, какими были их отцы и какими они должны были оставаться в застойной атмосфере острова, которую не могли изменить далекие и запоздавшие веяния, приходившие извне.

Хайме беспокойно метался в постели. Его мучила бессонница. Фебреры! Какое славное прошлое! И как силен был его гнет, словно цепь рабства, из-за которой еще сильнее чувствуешь нищету!..

Много вечеров провел он в домашнем архиве — помещении, прилегающем к столовой, разбирая рукописи, нагроможденные в шкафах с медными дверцами, при слабом свете, проникавшем сквозь занавеси. Пыльные старые бумаги необходимо было перетряхивать, чтобы их не поела моль. Грубые навигационные карты с ошибочными и прихотливыми контурами, служившие Фебрерам в их первых торговых плаваниях!.. За все это вряд ли получишь столько, сколько нужно, чтобы прокормиться несколько дней. И тем не менее семья его боролась в течение многих веков за то, чтобы оказаться достойной всего, что здесь хранилось и множилось. Сколько забытой славы!..

Подлинная слава его рода, выходящая за пределы истории острова, начиналась с 1541 года, с приезда великого императора. В заливе Пальмы собралась армада из трехсот судов с восемнадцатитысячным десантным войском, направлявшимся на завоевание Алжира. Там были испанские полки под начальством Гонзага[55], немцы под знаменами герцога Альбы[56], итальянцы, предводимые Колонной[57], двести рыцарей с Мальты во главе с командором доном Приамо Фебрером, героем семьи, а всем флотом командовал великий моряк Андреа Дориа[58].

Майорка приветствовала сказочными торжествами властителя Испании и обеих Индий, Германии и Италии, уже страдавшего от подагры и подточенного другими болезнями. Лучшая кастильская знать сопровождала императора в этом святом походе и разместились в домах майоркинских дворян. Дом Фебреров оказал гостеприимство новоиспеченному дворянину, недавно еще совершенно неизвестному, чьи подвиги в далеких странах и несметные сокровища вызвали возбуждение и толки. Это был маркиз дель Валье Уаксака, дон Эрнандо Кортес, только что покоривший Мексику. Он присоединился к экспедиции на галере, снаряженной на собственный счет, желая принять участие в походе наравне со старинной знатью времен Реконквисты, сопровождаемый двумя сыновьями — доном Мартином и доном Луисом. Королевская роскошь окружала завоевателя неведомых стран, владельца фантастических богатств. Мостик его галеры украшали три огромных изумруда, стоивших более ста тысяч дукатов, один — граненный в форме цветка, второй — в виде птицы и третий — в виде колокольчика, язычком которому служила большая жемчужина. С ним были слуги, побывавшие в дальних землях и перенявшие их странные обычаи. Тощие идалго с болезненным цветом лица молча проводили целые часы, зажигая пучки трав, свернутые наподобие обрубков каната, которые они называли табаком, и выпускал изо рта дым, словно демоны, пылающие изнутри.

Бабки Фебрера сохраняли из поколения в поколение большой неграненый алмаз,

подаренный им на память отважным полководцем за щедрое гостеприимство. Драгоценный камень фигурировал в документах семьи, но уже деду Хайме, дону Орасио, не удалось увидеть его. С течением времени он исчез, как и многие другие сокровища, погибшие в эпоху оскудения некогда блистательного рода.

Фебреры готовили подкрепление для армады от лица всей Майорки, большей частью за свой счет. Чтобы император мог оценить изобилие и плодородие острова, это подкрепление состояло из ста коров, двухсот овец, нескольких сот кур и индеек, множества четвертей масла и муки, бочек вина, голов сыра, оливок и каперсов, двадцати бочек миртовой воды и четырех кинталов белого воска. Кроме того, Фебреры, жившие по соседству на острове и не принадлежавшие к Мальтийскому ордену, погрузились на суда эскадры вместе с двумястами майоркинских дворян, горевших желанием завоевать Алжир, это гнездо пиратов. Триста галер с распущенными по ветру вымпелами вышли из залива под грохот пушек и мортир и приветственные клики народа, толпившегося на стенах города. Никогда еще император не собирал столь внушительного флота.

Стоял октябрь. Опытный Дориа был недоволен. Для него на Средиземном море не существовало надежных портов, кроме «июня, июля, августа и... Маона». Император слишком долго задержался в Тироле и в Италии. Папа Павел III, встретив государя в Лукке, предсказал ему неудачу из-за позднего времени года. Экспедиционный отряд высадился на побережье Хаммы. Командор Фебрер с мальтийскими рыцарями шел в авангарде, непрерывно выдерживая стычки с турками. Войска захватили высоты, окружающие Алжир, и начали осаду. Предсказания Дориа начали сбываться. Разразилась страшная буря, со всей яростью внезапно наступившей африканской зимы. Воины, не имевшие крова над головой, промокшие ночью до костей под проливным дождем, были обессилены; свирепый ветер прижимал людей к земле. На рассвете, воспользовавшись этим, турки внезапно напали на войско и почти целиком рассеяли его.

К счастью, там находился командор Приамо, неистовый в бою, нечувствительный к воде и к огню, суровый, неутомимый и хитрый. С горстью своих рыцарей он остановил напор врага. Испанцы и немцы оправились, а турки отступили, преследуемые осаждающими до самых стен Алжира. Дон Приамо Фебрер, раненный в лицо и ногу, дополз до ворот города и вонзил в них кинжал — в знак своей смелой атаки. В следующую вылазку неверных столкновение было столь яростным, что итальянцы отхлынули; их примеру последовали и немцы. Император, побагровевший от гнева при виде бегства своих лучших солдат, обнажил меч, потребовал свой штандарт, дал шпоры скакуну и крикнул сопровождавшей его блестящей свите: «Вперед, сеньоры! Если я паду со штандартом, сначала поднимите его, а потом уж меня».

Под натиском стального эскадрона турки бежали. Один из Фебреров, богач-островитянин, далекий предок Хайме, дважды бросался между врагами и императором, спасая тому жизнь. При выходе из теснины всадники потеряли десятую часть людей от огня турецких пушек. Герцог Альба схватил под уздцы коня своего монарха: «Государь, ваша жизнь дороже, чем победа». Лицо императора просветлело, он повернул назад и, царственным жестом сняв с себя золотую цепь, висевшую у него на шее, возложил ее в знак благодарности на Фебрера.

Тем временем от бури погибло сто шестьдесят судов, а остальному флоту пришлось укрыться за мысом Матифукс. Большинство знати высказалось за немедленное отступление. Эрнандо Кортес, граф Алькаудете, правитель Орана и майоркинские рыцари с Фебрером во главе просили императора удалиться в безопасное место и позволить войскам продолжать военные действия. В конце концов, решили отступить. По вершинам и ущельям, переходя через вздувшиеся от дождя реки, печально отходили солдаты, подвергаясь неотступному преследованию со стороны противника, теряя по пути товарищей. В страшную бурю все, кто мог, погрузились на суда. Разбушевавшееся море поглотило еще несколько кораблей. Майоркинские галеры прибыли в залив Пальмы, сопровождая императора, который не

пожелал сойти на берег и направился на Полуостров. Несмотря на поражение, Фебреры вернулись домой, покрытые славой, — один со знаками монаршей дружбы, другой, командор, распростертый на носилках, Приамо Фебрер!.. Думая о нем, Хайме не мог отрешиться от известного чувства симпатии и любопытства, которое ему внушили рассказы, слышанные в детстве. Предок его был и славой и проклятием для своей семьи. Почтенные дамы семейства никогда не упоминали его имени, а услышав о нем, опускали глаза и краснели. Этот воин церкви, святой рыцарь, принесший обет целомудрия при вступлении в Орден, постоянно возил на своей галере женщин — выкупленных у мусульман христианок, которых он не спешил возвращать домой, или обращенных в рабство язычниц, захваченных при смелых набегах.

При разделе добычи он равнодушно смотрел на груды сокровищ, оставляя их для Великого Магистра. Его интересовали лишь женщины. Когда духовные пастыри угрожали ему отлучением, он смеялся им в лицо дьявольским смехом. Если Великий Магистр упрекал его в нечестивости, он гордо выпрямлялся и напоминал о великих победах на море, которыми ему был обязан Мальтийский орден.

В семейном архиве сохранились некоторые из его писем — листы пожелтевшей бумаги, неровно исписанные красноватыми буквами; стиль этих посланий выдавал безграмотность командора: Он изъяснялся с невозмутимостью солдата, чередуя религиозные тирады с самыми непристойными выражениями. В одном из этих писем, прочитанных Хайме, дон Приамо с тревогой писал своему брату на Майорку по поводу таинственной болезни, которой тот страдал; на тот случай, если бы это оказалось болезнью от женщин, командор давал испытанные советы и указывал магические средства. Этот недуг он хорошо изучил в восточных портах.

Имя его гремело по всему средиземноморскому побережью, населенному неверными. Магометане боялись его как черта, арабки умирляли своих малюток, пугая их командором Фебрером. Великий турецкий корсар Драгут считал его единственным соперником, не уступавшим ему в доблести. После нескольких стычек, в которых тот и другой понесли большие потери, они относились друг к другу с опаской и уважением, избегая встреч и столкновений в открытом море.

Однажды, обходя свои галеры в Алжире, Драгут увидел Фебрера, полуголового, с веслом в руках, прикованного к сиденью.

— Игра войны! — заметил Драгут.

— Игра судьбы! — ответил командор.

Они пожали друг другу руки и не сказали больше ни слова. Один не оказывал милости, другой не просил пощады. Жители Алжира сбегались на берег, желая взглянуть на мальтийского демона в оковах, но, видя, что он горд и хмур, как пойманный орел, не осмеливались его оскорблять. За сотни рабов, за суда с ценным грузом, словно князя, выкупил Орден своего доблестного воина. Несколько лет спустя, поднявшись на борт одной из мальтийских галер, дон Приамо увидел бесстрашного Драгута, прикованного к скамье гребцов. Повторилась прежняя сцена. Ни один из них не выказал удивления, словно все было в порядке вещей. Они пожали друг другу руки.

— Игра войны! — сказал один.

— Игра судьбы! — ответил другой.

Хайме любил командора за то, что в их благородной семье он был воплощением беспорядка, свободы и презрения к предрассудкам. Что значили для него различия в нации и вере, если его влекло к женщине!.. В зрелые годы он жил уединенно в Тунисе со своими добрыми

друзьями — богатыми корсарами, которые когда-то его ненавидели и преследовали, а под конец стали его товарищами. Это был наименее известный период в его жизни. По преданию, он стал ренегатом и, скуки ради, охотился в море за мальтийскими галерами. Некоторые рыцари Ордена, его враги, клятвенно уверяли, что видели его во время боя на юте одного из неприятельских судов, одетого турком.

Верно лишь то, что он жил во дворце на берегу моря с необыкновенно красивой арабкой, родственницей его друга — тунисского бея. Два письма в архиве подтверждали этот сладостный и непостижимый плен. После смерти мусульманки дон Приамо вернулся на Мальту, считая свою карьеру законченной. Высшие сановники Ордена хотели оказать ему честь, если он изменит свое поведение, и назначить правителем Негропонта или великим кастеланом Ампосты. Но погрязший в грехах дон Приамо не исправлялся, продолжал вести разгульный образ жизни, держась капризно и неровно по отношению к товарищам. Зато доблестного командора боготворили братья-служители, воины Ордена, простые солдаты, имевшие право носить на своих доспехах только половину креста.

Презрение к интригам и ненависть врагов заставили его навсегда покинуть архипелаг Ордена, острова Мальту и Гоццо, уступленные императором воинственным монахам. В виде дани государю они ежегодно посылали ему ястреба, выращенного на этих островах.

Состарившийся и утомленный, дон Приамо удалился на Майорку, где жил на доходы от своего каталонского поместья. Нечестивая жизнь и пороки бывшего удальца приводили в ужас его родных и вызывали негодование всего острова. Три молодые арабки и одна необычайно красивая еврейка всегда сопровождали его в качестве служанок в покои, занимавшие целый флигель особняка Фебреров, который в те времена был значительно больше теперешнего. Кроме того, он держал нескольких рабов, татар и турок, трепетавших при его появлении. Он водился со старухами, которые слыли колдуньями, советовался с евреями знахарями, запирался с этими подозрительными людьми в спальне, и соседи трепетали от страха, видя, как поздней ночью окна его освещаются адским пламенем. Некоторые рабы были хилыми и бледными, как будто из них высасывали жизнь капля по капле. Ходили слухи, что командор употребляет их кровь для приготовления магических зелий. Дон Приамо стремился вернуть себе молодость и оживить угасавшие желания. Великий инквизитор Майорки поговаривал о том, чтобы посетить особняк командора, захватив с собою его родню и альгвасилов, но старый мальтиец, доведившийся инквизитору кузеном, уведомил его письмом, что едва тот вступит на его лестницу, как он раскроит ему череп абордажным топором. Дон Приамо скончался, вернее — уморил себя дьявольскими зельями, оставив, в знак полного презрения к предрассудкам, любопытное завещание, копию которого читал Хайме. Воин церкви завещал имущество, оружие и трофеи детям своего старшего брата, как всегда поступали младшие сыновья в их семье. Но далее следовал целый перечень того, что он завещал своим детям от рабынь-мусульманок или от случайных подруг — евреек, армянок и гречанок, влачивших в ту пору жалкое существование в отдаленных восточных портах. Это было целое потомство библейского патриарха, незаконное, смешанное скрещение враждебных друг другу кровей и разноплеменных рас. Можно было подумать, что, нарушая принесенный обет, славный командор хотел уменьшить свою вину, выбирая себе в жены неверных. Постыдные связи с женщинами, не верящими в истинного бога, он сочетал с грехом нечестивости.

Хайме восхищался им как своим предшественником, разрешавшим его сомнения. Что из того, если он соединится с чуэтой, не отличавшейся от других женщин по своим обычаям, вере и воспитанию, тогда как самый знаменитый из Фебреров в эпоху нетерпимости жил с неверными, попирая все законы. Семейные предрассудки все же вызывали у Хайме угрызения совести; в его памяти вставал один из пунктов завещания командора. Он оставлял имущество детям рабынь, смешанного происхождения, так как они были его потомками и он хотел избавить их от нищеты; но он запрещал им носить имя отца, имя Фебреров, которые всегда воздерживались от неравных браков.

Вспоминая об этом, Хайме улыбался в темноте. Кто мог нести ответственность за прошлое? И какие только тайны не скрывались в корнях его родословного, древа в те времена средневековья, когда Фебреры и богачи из балеарской синагоги совершали совместные сделки и сообща грузили суда в Пуэрто-Пи? У многих в его семье, и у него самого, как и у других представителей майоркинской знати, в лице было что-то еврейское. Чистота расы — это иллюзия. Жизнь народов заключается в вечном движении, порождающем смешение и запутанные связи... Но как щепетильна семейная гордость! И эта рознь, вызванная обычаями!.. И сам он, готовый смеяться над предрассудками прошлого, испытывал непреодолимое чувство превосходства над доном Бенито, своим будущим тестем. Он считал себя выше его, снисходительно терпел его и внутренне возмущался, когда богатый чуэт говорил о своей воображаемой дружбе с доном Орасио. Нет, Фебреры никогда не связывались с этими людьми. Когда его предки направлялись с императором в Алжир, предки Каталины, наверно, сидели взаперти в квартале Калатравы, трудясь над серебряными изделиями и содрогаясь при мысли о том, что крестьяне способны ворваться с воинственными кликами в Пальму. Бледные от страха, они склонялись перед великим инквизитором — несомненно, одним из Фебреров, стремясь обеспечить себе его покровительство.

В приемном зале висел портрет одного из недавних предков Хайме, гладко выбритого господина с тонкими и бледными губами, в белом парике и красном шелковом кафтане. Как гласила надпись на полотне, он был постоянным губернатором города Пальмы. Король Карл III[59] прислал на остров грамоту, запрещающую оскорблять бывших иудеев, «людей трудолюбивых и честных», и грозившую тюрьмой тем, кто называет их чуэтами. Совет острова был возмущен нелепым распоряжением монарха, в высшей степени благодушного и доброго, и правитель Фебрер решил этот вопрос самолично. «Передать грамоту в архив, принять ее к сведению, но не к исполнению. Разве чуэтам необходимо достоинство, как кому-нибудь из нас? Они вполне довольны теми, кто не покушается на их кошельки и не трогает их жен».

Все смеялись, утверждая, что Фебрер судит по собственному опыту, так как он очень любил посещать Улицу, раздавая заказы ювелирам, чтобы иметь возможность поболтать с ювелиршами.

В приемном зале висел портрет еще одного из его предков — инквизитора дона Хайме Фебрера, его тезки. На чердаке дома оказались пожелтевшие от времени визитные карточки с именем этого богатого священника; на них были выгравированы эмблемы, входившие в моду в начале XVIII века. В центре карточки — крест, сложенный из поленьев, с мечом и оливковой ветвью, по бокам — два панциря, один — с крестом святого судилища, другой — с драконами и головами Медузы. Наручные кандалы, бичи, черепа, четки и свечи дополняли виньетку. Внизу, вокруг столба с нашейным кольцом, пылал костер и виднелся колпак наподобие воронки, разрисованный змеями, жабами и рогатыми головами. Среди этих украшений высилось нечто вроде саркофага, и на нем старинным испанским шрифтом было начертано: «Великий инквизитор дон Хайме Фебрер». Волосы становились дыбом у знатного майоркинца, находившего по возвращении домой эту визитную карточку.

Хайме вспомнил еще одного предка, о ком говорил с раздражением Пабло Вальс, рассказывая о сожжении чуэтов и книжечке отца Гарау. Это был Фебрер, изящный и галантный, восхищавший пальмских дам во время знаменитого аутодафе, когда он в новом костюме флорентийского сукна, отделанном золотом, скакал на прекрасном, как сон, коне со штандартом святого трибунала в руках. В лирических тонах описывал иезуит его приятную осанку. С наступлением сумерек этот всадник находился у подножия замка Бельвер и смотрел, как пылало большое упитанное тело Рафаэля Вальса и как лопнувшие внутренности падали в костер. От этого зрелища его отвлекало присутствие некоторых дам, и он заставлял своего коня гарцевать возле дверей их карет. Капитан Вальс прав. Это было варварством. Но Фебреры — его близкие: им он обязан именем и утраченным состоянием. И

он, последний отпрыск семьи, гордившейся своей историей, собирается жениться на Каталине Вальс, происходящей от этого казненного!..

Наставления, выслушанные в детстве, неприхотливые рассказы, которыми его развлекала мадо Антония, приходили теперь ему на память как нечто позабытое, но оставившее глубокий след» Он думал о том, что чуэты, по народному поверью, отличаются от других людей — они существа грязные и скользкие, скрывающие, должно быть, страшные уродства. Кто мог поручиться за то, что Каталина такая же, как и остальные женщины?..

В эту минуту он подумал о Пабло Вальсе, таком веселом и великодушном, который по своим качествам был выше почти всех его друзей на острове. Но Пабло мало жил на Майорке, он много путешествовал и не был таким, как его единоплеменники, застывшие на одном уровне в течение ряда веков, плодившиеся из рода в род среди захлестнувшей их подлости и трусости, не имевшие ни сил, ни единства на то, чтобы воспрянуть духом и потребовать к себе уважения.

В Париже и Берлине Хайме был знаком с богатыми еврейскими семьями. Он даже добивался знакомства с некоторыми именитыми иудеями, но при соприкосновении с настоящими евреями, сохранившими свою религию и национальную независимость, не ощущал того инстинктивного отвращения, какое ему внушал набожный дон Бенито и другие чуэты на Майорке. Возможно, тут сказывалось окружение? Или их вековое подчинение, покорность, страх и привычка унижаться превратили майоркинских евреев в особую нацию?..

Наконец Хайме погрузился в тяжелый сон, постепенно теряя нить своих размышлений, все менее и менее отчетливых.

На следующее утро, одеваясь, он решил сделать визит, требовавший от него большого усилия воли. Брак его — дело смелое и опасное, и необходимо все хорошо обдумать, как сказал его друг контрабандист.

«Сначала я должен поставить мою последнюю карту, — подумал Хайме. — Надо навестить папессу Хуану. Я не видел ее уже много лет, но она моя тетка, самая близкая родственница. Я являюсь по праву ее наследником. О, если бы она захотела!.. Достаточно ей шевельнуть пальцем, и все мои затруднения исчезнут».

Хайме подумал о времени, наиболее подходящем для посещения знатной дамы. По вечерам у нее собирался избранный кружок из каноников и важных господ, которых она принимала с царственным видом. Они должны были ей наследовать, как полномочные представители различных религиозных корпораций. Ему надо повидать ее сейчас же, когда она бывает одна после мессы и утренних молитв.

Донья Хуана жила во дворце рядом с собором. Она осталась незамужней, презрев мирскую жизнь после известных разочарований, причиненных ей в молодости отцом Хайме. Со всей агрессивностью желчного характера, сухой и надменной преданностью вере, она посвятила себя политике и религии. «За бога и короля!» — эти слова Фебрер слышал, бывая у нее еще мальчиком. В молодости донья Хуана мечтала о героинях Вандеи[60], преклоняясь перед подвигами и злоключениями герцогини Беррийской[61], желая, подобно этим поборницам религии и легитимизма, сесть на коня с распятием на груди и опоясавшись саблей поверх амазонки. Однако желания эти остались лишь несбыточными мечтами. На деле же она совершила только одну экспедицию — в Каталонию, во время последней карлистской войны, Враги папессы Хуаны утверждали, что в дни ее молодости у нее во дворце скрывался граф де Монтемолин[62], претендент на престол, который с ее помощью связался с генералом Ортегой, военным губернатором островов. К этим толкам присоединялся слух о романтической любви доньи Хуаны к претенденту.

Хайме улыбался, слушая эти толки. Все было ложью. Дед, дон Орасио, был хорошо

осведомлен и часто рассказывал своему внуку об этих событиях. Папесса любила только отца Хайме. Генерал Ортега был фантазером, которого донья Хуана принимала с романтической таинственностью в полутемной гостиной, одетая в белое, беседуя с ним тихим, загробным голосом, как добрый гений прошлого, о необходимости вернуть Испании ее старинные обычаи, смести либералов и восстановить власть аристократии. «За бога и короля!..» Ортега был расстрелян при неудачной высадке карлистов на каталонском побережье, а Папесса осталась на Майорке, готовая отдать свои деньги на новое святое дело.

Многие считали, что она разорилась от излишней расточительности в последнюю гражданскую войну, но Хайме знал размеры богатства набожной дамы. Она жила скромно, как простая крестьянка; на острове у нее еще оставались большие имения, и все свои деньги она обращала в дары церквам и монастырям или же расходовала их на пожертвования в казну святого Петра. Ее старый лозунг: «За бога и короля!» — потерпел крушение. Она уже не думала о короле. От прежнего восхищения претендентом доном Карлосом осталась лишь большая — Славный юноша, — говорила она, — добрый дворянин, но почти такой же, как и либералы. Ах, эта жизнь на чужбине! Как она меняет людей!.. О, грехи наши!..

Теперь она была предана только богу, и деньги ее находили дорогу в Рим. На склоне лет ее волновала последняя мечта: не пришлет ли ей перед смертью святой отец Золотую Розу? Этот орден предназначался раньше только для королей, но теперь такой награды удостаивались и богатые набожные дамы из Южной Америки. И она умножала свои щедрые приношения, живя в святой бедности, чтобы послать в Ватикан еще больше денег, получить Золотую Розу и умереть!..

Фебрер подошел к дому Папессы. Внутренний двор был такой же, как и у него в особняке, но более чистый, более прибранный, без следов травы на мостовой, без трещин и обвалившейся штукатурки, — здесь было опрятно, как в монастыре. Дверь наверху открыла бледная молоденькая служанка в голубом платье и белом переднике. Она была поражена, узнав Хайме.

Оставив его в приемной, увешанной портретами, как и в доме Фебреров, она легко и проворно, как мышь, прошмыгнула во внутренние покои, чтобы доложить о столь необычном визите, нарушавшем монастырское спокойствие дворца.

В полной тишине прошли долгие минуты ожидания. Хайме слышал тихие шаги в соседних комнатах, видел, как колышутся занавеси, словно от дуновения легкого ветерка; он угадывал за ними людей, которые подслушивали, подсматривали исподтишка. Вновь появилась служанка, почтительно приветствуя Хайме. Ведь он племянник сеньоры!.. Она проводила его в большую гостиную и исчезла.

Хайме, в ожидании хозяйки, разглядывал большую комнату, отделанную со старинной роскошью. Таким же был и его дом во времена деда. На стенах, покрытых дорогим вишневым бархатом, отчетливо выделялись картины религиозного содержания, написанные в мягкой итальянской манере. Мебель была белая, с позолотой, с капризными изгибами, обитая тяжелым вышитым шелком. На консолях, отражаясь в глубоких голубоватых зеркалах, виднелись разноцветные фигуры святых и часы XVII века с мифологическими фигурами. Своды потолка были покрыты фресками с изображениями богов и богинь, восседавших на облаках, — их обнаженные розовые тела и смелые позы резко контрастировали со скорбным ликом большого изображения Христа, который словно подчинял себе все в гостиной, занимая большую часть стены над возвышением между дверьми. Папесса признавала греховность этих мифологических украшений, но они напоминали о лучших временах, когда власть находилась в руках аристократов, и она относилась к ним с уважением, стараясь их не замечать.

Раздвинулась бархатная портьера, и в зал вошла старая служанка, вся в черном, в гладкой юбке и невзрачной, как у крестьянки, кофте. Ее седые волосы были полуприкрыты темным платочком, который приобрел красноватый оттенок, такой он был старый и засаленный. Из-под юбки виднелись ноги в толстых белых чулках и суконных туфлях. Хайме поспешно встал. Эта старая служанка была Папессой.

Стулья, расставленные в беспорядке, напоминали о собраниях, происходивших здесь каждый вечер. По установившемуся обычаю, каждое кресло принадлежало какой-либо важной особе и постоянно стояло на своем месте. Донья Хуана заняла кресло, походившее на трон, откуда она по вечерам руководила кружком верных ей каноников, пожилых дам и здравомыслящих господ, подобно королеве, принимающей своих придворных.

— Садись, — коротко сказала она племяннику.

Привычным жестом протянула она руки над огромной пустой серебряной жаровней и внимательно взглянула на Хайме пронизательными серыми глазами, привычными внушать страх. Этот властный взгляд стал понемногу смягчаться, и глаза ее наконец увлажнились от волнения. Почти десять лет она не видела своего племянника.

— Ты настоящий Фебрер. Как ты похож на своего деда!.. Да и на всех в твоем роду!

Она утаила свою сокровенную думу: его сходство с отцом взволновало ее. Хайме был совсем как тот морской офицер, который посещал ее в давние времена... Ему лишь не хватало мундира и пенсне... Ах, это чудовище либерализма и неблагодарности!..

Взгляд ее приобрел привычную твердость, она побледнела, черты ее лица стали более сухими и острыми.

— Что тебе нужно? — резко спросила донья Хуана. — Не думаю, чтобы ты пришел ради удовольствия видеть меня...

С детским лицемерием Хайме опустил глаза: он боялся сразу приступить к делу и начал издали. Он человек порядочный, предан всему старому, стремится поддержать престиж семьи, возвеличить его. Он, конечно, признает, что не был святым, эта сумасбродная жизнь поглотила его состояние... Однако честь их рода не запятнана! Из этой греховной и порочной жизни он вынес две превосходные вещи: опыт и твердое желание исправиться.

Тетка в ответ загадочно кивнула. Это хорошо: так же поступали святой Августин[63] и другие святые мужи, они проводили молодость в распутстве, а потом становились светочами церкви.

Услышав это, Хайме воспрянул духом. Он, конечно, никогда не станет светочем, но он желает стать добрым христианским кабальеро. Он женится, он будет воспитывать своих детей, чтобы они продолжали традиции рода, — им предстоит счастливое будущее. Но увы! После его беспорядочной жизни так трудно повернуть на путь добродетели. Ему необходима помощь. Он разорен. Его имущества почти полностью в руках кредиторов, его дом — голые стены, он вынужден продавать реликвии прошлого. Он, потомок рода Фебреров, окажется на улице, если сострадательная рука не окажет ему поддержки. И он подумал о своей тетке, которая ведь, в конце концов, его ближайшая родственница, вроде матери, и могла бы его спасти. Намек на возможное материнство заставил слегка покраснеть донью Хуану, и в глазах ее появилось еще более жестокое выражение. Ах, эти мучительные воспоминания!

— И это от меня ты ожидаешь спасения? — медленно спросила Папесса голосом, как бы свистящим сквозь ее редкие, пожелтевшие, но еще крепкие зубы. — Напрасно время теряешь, Хайме. Я бедна... У меня почти ничего нет. Мне едва хватает на жизнь и небольшие подаяния.



Она сказала это с такой твердостью, что Фебрер сразу потерял надежду и понял, что настаивать бесполезно. Папесса не хотела ему помочь.

— Хорошо, — сказал Хайме с заметным отчаянием. — Но раз вы не хотите помочь мне, я вынужден найти иной выход из положения, и он у меня есть. Вы старшая в семье, и у вас мне надо попросить совета. Я собираюсь жениться, меня может спасти брак с богатой женщиной, но она не нашего сословия и низкого происхождения. Что мне делать?..

Он ожидал от своей тетки изумления, любопытства. Быть может, ее смягчит известие о его женитьбе. Он был почти уверен в том, что раз чести их рода грозит опасность, она пойдет на все и окажет ему поддержку. Однако изумленным и напуганным оказался сам Хайме, заметив холодную усмешку на бледных губах старухи.

— Я знаю об этом, — сказала она. — Мне обо всем рассказали нынче утром в церкви святой Евлалии, после мессы. Вчера ты был в Вальдемесе. Ты женишься... Ты женишься на... чуэте.

Ей трудно было вымолвить это слово, и, произнеся его, она содрогнулась. В гостиной наступило долгое молчание, трагическое и всеобъемлющее, какое обычно наступает вслед за великими катастрофами: казалось, обвалился дом и вдали замерло эхо от падения последней стены.

— Что вы об этом думаете? — осмелился робко спросить Хайме.

— Делай что хочешь, — холодно ответила Папесса. — Тебе известно, что мы не виделись долгие годы, и что так может продолжаться и до конца наших дней. Теперь мы с тобой будто люди разной крови, мыслим по-разному и не понимаем друг друга.

— Итак, я должен жениться? — в упор спросил Хайме.

— Об этом спроси себя самого. Вот уже много лет, как Фебреры идут такими путями, что меня ничем не удивишь.

Во взгляде и голосе тетки Хайме почудилось скрытое удовольствие, наслаждение местью, злорадство при виде того, что ее врагам, по-видимому, грозило бесчестие, и это возмутило его.

— А если я женюсь, — сказал он, подражая холодному тону доньи Хуаны, — могу я рассчитывать на вас? Вы приедете ко мне на свадьбу?..

Этот вопрос окончательно вывел Папессу из себя. Она гордо выпрямилась. Вспомнив романтические повести, прочитанные в молодости, она ответила как оскорбленная королева в конце главы исторического романа:

— Сударь, по отцу я Геноварт. Моя мать была из рода Фебреров, но одни стоят других. Я отрекаюсь от крови, которая готова смешаться с кровью подлых людей, убивших Христа, и остаюсь при своей, крови моего отца, чистой и незапятнанной.

И она указала на дверь надменным жестом, давая понять, что свидание окончено. Потом, сообразив, что ее протест неуместен и театрален, опустила глаза, смягчилась и сказала с выражением христианской кротости:

— Прощай, Хайме, и да просветит тебя господь!

— Прощайте, тетя.

Инстинктивно он протянул ей руку, но она отдернула свою, спрятав ее за спиной. Фебрер

слегка улыбнулся, припомнив то, что нашептывали сплетники. Этот жест не означал ни презрения, ни ненависти. Папесса принесла обет — не подавать в своей жизни руки ни одному мужчине, кроме священников.

На улице он разразился глухими ругательствами, поглядывая на пузатые балконы особняка. Змея! Как она обрадовалась его женитьбе! Когда она состоится, Папесса изобразит перед всем собранием возмущение и негодование, возможно даже заболеет, чтобы вызвать на острове всеобщее сочувствие. Тем не менее, ее радость безгранична: это взлелеянная долгими годами радость мщенья при виде одного из Фебреров, сына ненавистного ей мужчины, который теперь подвергается самому большому, по ее мнению, унижению... А он, вынужденный поступить так из-за грозящего ему разорения, доставит ей это удовольствие, вступив в брак с дочерью Вальса!.. О, эта нищета!

Было далеко за полдень, а он все блуждал по малолюдным улицам, прилегавшим к Альмудайне и собору. Пустота в желудке заставила его инстинктивно направиться к дому. Он молча поел, не разбирая вкуса пищи и не замечая мадо, которая, испытывая беспокойство еще со вчерашнего вечера, вертелась вокруг него, стараясь завязать разговор.

После еды он прошел на выходящую в сад небольшую галерею с полуразрушенной балюстрадой, увенчанной тремя римскими бюстами. У его ног расстилалась листва фиговых деревьев, сверкали глянцевитые листья магнолий, покачивались зеленые шары апельсинов. В голубом просторе высились стволы пальм, за острыми зубцами ограды раскинулось море, светящееся, трепещущее жизнью; его нежной поверхности едва касались рыбачьи лодки, распустившие парус по ветру. Справа находился порт, усеянный мачтами и желтыми трубами, дальше в воды залива вдавалась темная масса сосен Бельвера, а на вершине горы красовался круглый, как арена для боя быков, старинный замок с уединенно стоящей башней Почета, соединявшейся с замком лишь смело переброшенным мостиком. Внизу тянулись красные дома новой деревушки Террено, а за ней виднелась крайняя точка мыса — старинный Пуэрто-Пи с сигнальной вышкой и батареями Сан Карлоса.

По ту сторону залива, скрытый дымкой, терялся в море темно-зеленый мыс с красноватыми скалами, мрачный и необитаемый.

Собор своими колоннами и аркадами резко выделялся на фоне голубого неба, подобно кораблю из камня со срезанными верхушками мачт, выброшенному волнами между городом и берегом. Позади собора виднелась старинная крепость Альмудайна с красными мавританскими башнями. Во дворце епископа, как полосы раскаленной стали, сверкали стекла окон, словно отражая зарево пожара. Между дворцом и прибрежной каменной стеной, в глубоком рву, заросшем травой, по скатам которого вились кусты роз, громоздились многочисленные пушки: одни — старинные, на колесах, другие — современные лежали на земле, ожидая уже в течение многих лет того часа, когда их установят. Бронированные башни заржавели, так же как и лафеты; дальнобойные орудия, окрашенные в красный цвет и уткнувшиеся в траву, походили на сточные трубы. Эти заброшенные новейшие орудия старели, всеми позабытые, покрытые ржавчиной. Традиционная атмосфера затхлости, которая, по мнению Фебрера, обволакивала весь остров, тяготела, казалось, и над этими атрибутами войны, обветшавшими вскоре после того, как они родились, и задолго до того, как им заговорить.

Безучастный к яркому свету солнца, блеску и трепету необъятной лазури, щебетанию птиц, порхавших у его ног, Хайме ощутил сильную тоску и глубокое уныние: «К чему бороться с прошлым?.. Как сбросить с себя цепи?.. При рождении каждому предначертано его место и поведение на всем протяжении жизненного пути, и бесполезно стремиться изменить свое положение.

Часто в молодые годы, когда он с вершины горы любовался городом и смеющимися

окрестностями, его охватывали мрачные мысли. На залитых солнцем улицах или под навесом крыш кишел человеческий муравейник, движимый заботами или окрыленный идеями, казавшимися ему в данный момент самыми важными. Застывшие в своем наивном и тщеславном эгоизме, люди искренне верили в то, что чья-то высшая и всемогущая воля бодрствует над ними и руководит их суетливыми движениями взад и вперед, движениями инфузорий в капле воды. За городом Хайме мысленно видел однообразные ограды с высящимися над ними кипарисами, целое селение, сжатое на тесном пространстве, с белыми домиками, окошки которых были размером с печную дверцу, и плитами, прикрывавшими, казалось, входы в погреба. Сколько было живых существ в городе, на его площадях и широких улицах?.. Тысяч шестьдесят, восемьдесят. Увы! В другом городе, расположенном неподалеку, тесном и тихом, в белых домиках, зажатых между мрачными кипарисами, было четыреста тысяч невидимых жителей, шестьсот тысяч — кто знает? — может быть, миллион.

Та же мысль возникла у него однажды вечером в Мадриде, когда он прогуливался с двумя дамами в окрестностях города. Склоны холмов возле реки были заняты безмолвными поселениями, и среди их белых строений высились остроконечные кущи кипарисов. А с другой стороны огромного города находились такие же пристанища тишины и забвения. Город жил в тесном кольце твердынь Небытия. Полмиллиона живых существ двигались по его улицам, уверенные в том, что они одни господствуют здесь и управляют своим существованием, забывая в своем неведении о четырех, шести или восьми миллионах им подобных, незримо пребывающих на соседних кладбищах.

Об этом же раздумывал он и в Париже, где четыре миллиона бодрствующих проживали в окружении двадцати или тридцати миллионов бывших горожан, ныне заснувших вечным сном; эта мрачная мысль преследовала его во всех больших городах.

Живые нигде не остаются одни: их всюду окружают мертвые, и так как мертвых больше, неизмеримо больше, то они тяготеют над живущими, подавляя их вековой тяжестью и своей бесчисленностью.

Нет, мертвые не уходят быстро, как поется в народном припеве. Мертвые остаются на своих местах, за гранью жизни, наблюдая за новыми поколениями и давая им чувствовать власть прошлого сильными душевными потрясениями всякий раз, как те уклоняются от заранее намеченного для них пути.

Какие они тираны! Как безгранично их могущество! Бесполезно закрывать глаза и не думать об этом. Их можно встретить везде, они толпятся на всех дорогах нашей жизни и выходят нам навстречу, принуждая к унижительной признательности. Какое рабство!.. Дом, в котором мы живем, построен мертвыми; ими созданы религии; законы, которым мы повинемся, продиктованы мертвыми, им мы обязаны нашими страстями и вкусами, пищей, которая нас поддерживает, всем, что производит земля, поднятая руками, тех, кто ныне обратился в прах. Мораль, обычаи, предрассудки, честь — все это создано ими. Если бы они мыслили иначе, строй современного общества был бы иным. То, что приятно нашим чувствам, стало таким потому, что нравилось мертвым; неприятное и бесполезное отвергается нами по воле тех, кто уже не существует; что нравственно, а что нет — установлено ими столетия тому назад...

Силясь сказать что-либо новое, живые лишь повторяют другими словами то, что мертвые говорили много веков назад. То, что мы считаем проявлением собственной личности и непосредственностью, продиктовано нам учителями, сокрытыми в лоне земли; они же, в свою очередь, переняли урок от других, ранее умерших. В наших глазах сияет душа наших предков, а наши лица воспроизводят и отражают черты исчезнувших поколений.

Фебрер горестно улыбнулся. Мы считаем, что мыслим самостоятельно, но в извилинах нашего мозга бьется та же сила, которая жила в других телах, подобно тому как сок привитого ростка передает новым стволам энергию столетних умирающих деревьев. Многие из того, что

мы принимаем за последнее достижение нашего разума, является чужой идеей, находившейся в нашем мозгу от рождения и осознанной только сейчас. Вкусы, капризы, добродетели и недостатки, склонности и антипатии — все унаследовано нами, все — дело тех, кто исчез, но продолжает жить в нас.

С ужасом думал Хайме о власти мертвых... Они скрываются, чтобы смягчить свое владычество, но в действительности они не погибли: их души незримо бодрствуют в пределах нашего существования, а их тела ограждают со всех сторон человеческие поселения, подобно укрепленному лагерю.

Они неутомимо шпионят и следуют за нами, впиваясь в нас своими когтями при малейшем отклонении от указанного пути. Они объединяются между собой и с дьявольской энергией тянут назад толпы людей, устремляющихся на поиски нового и необычайного идеала, насильно возвращая жизни ее покой, ибо они любят тишину и невозмутимость, шелест поблекших трав и порхание белых бабочек — кроткое безмолвие кладбища, уснувшего под солнцем.

Души умерших заполняют мир. Мертвые не уходят, потому что они хозяева. Мертвые повелевают, и бесполезно противиться их приказам.

Увы, обитатель больших городов, живущий их головокружительным ритмом, не знает, кем построен его дом, кем добыт его хлеб; природа является ему лишь в виде чахлых деревьев, растущих на улицах, и он ничего не ведает о тирании мертвых. Он даже не думает о том, что вся его жизнь проходит в окружении миллионов и миллионов предков, сгрудившихся в нескольких шагах от него, наблюдающих на нем и управляющих его действиями. Он слепо повинуется тем, кто дергает за веревку, держащую на привязи его душу, не зная, в чьих руках находится другой конец. Бедный автомат считает, что все его поступки продиктованы его волей, тогда как они всего лишь результат воздействия со стороны всемогущих и невидимых существ.

Обреченный на монотонное прозябание на тихом острове, Хайме, хорошо изучивший всех своих предков, зная происхождение и историю всего, что его окружало, — предметов, платья, мебели и этого дома, казалось, обладавшего душой, мог отдать себе отчет в этой тирании лучше, чем кто-либо другой.

Да, мертвые повелевают. Авторитет живых, их поразительные новшества — все это иллюзии, обман, облегчающий существование...

Глядя на морской горизонт, где виднелась слабая струйка дыма, Фебрер думал о больших океанских судах, этих плавучих городах, передвигающихся с чудовищной быстротой, гордости человеческой промышленности, в короткое время совершающих свой путь вокруг света... Его далекие предки, ходившие в средние века в Англию на корабле размером с рыбацью лодку, представлялись ему еще более необычайными... Великие полководцы современности с бесчисленными массами подвластных им людей совершали не большие подвиги, чем командор Приамо с горстью моряков.

О жизнь!.. Какими только призрачными и обманчивыми вышивками мы не тешимся, чтобы скрыть от себя однообразие ее канвы! Как удручающе ограничено все то, что мы можем ощутить и чему мы можем в ней удивляться! Все равно, прожить ли тридцать или триста лет. Люди совершенствуют полезные для своего эгоистического благополучия игрушки — машины, средства передвижения, но, за вычетом этого, живут по-прежнему. Страсти, радости и предрассудки остаются все теми же: человек-зверь не меняется.

Прежде Фебрер считал себя человеком свободным, с душой, по его выражению, современной, вполне ему принадлежащей; теперь же он чувствовал в ней смутную связь с душами своих предков. Он узнавал их потому, что успел их изучить, потому, что они

находились в соседней комнате, в архиве, как сухие цветы, сохраняемые среди листов старой книги. Большинство людей, знающих о прошлом, помнит разве что своих ближайших предков; те же семьи, для которых история их прошлого на протяжении веков известна недостаточно, не отдают себе отчета в жизни своих предшественников, еще продолжающейся в их душе, и считают собственными побуждениями те призывы, которые бросают им деды. Наша плоть — это плоть тех, кто давно не существует; наши души — это осколки душ умерших.

Хайме ощутил в себе дух степенного дона Орасио, а с ним и совесть великого инквизитора, внушавшего ужас своей визитной карточкой, душу знаменитого командора и других предков. Его мышление современного человека сохраняло в себе нечто от взглядов того бессменного губернатора, который считал крестившихся евреев острова особым, презренным народом.

Мертвые повелевают. Теперь он понимал то необъяснимое отвращение и высокомерие, которое испытывал, встречаясь с доном Бенито, таким услужливым и предупредительным... И чувства эти были непреодолимы! Ему их навязывали. Печальное настроение вернуло его к существующему положению вещей. Все пропало!.. Он неспособен на мелкие переговоры, сделки и соглашения ради того, чтобы покончить со своими лишениями. Он отказывается от брака, его единственного спасения, и кредиторы, едва узнав об этом отказе, разрушающем их надежды, сразу же набросятся на него. Он будет изгнан из наследственного особняка, все будут жалеть его, и это сожаление для него будет хуже, чем любое оскорбление. Он чувствовал, что у него нет сил присутствовать при окончательной гибели своего дома и имени. Что же ему делать? Куда направиться?..

Большую часть дня он провел, любясь морем и следя за движением белых. Покинув террасу, Фебрер, сам не зная как, отворил дверь, ведущую в молельню, старую, позабытую дверь; едва она заскрипела на ржавых петлях, как на него слетела пыль и паутина. Сколько времени не входил он сюда! В душной атмосфере комнаты ему почудились смутные ароматы, исходящие от позабытого здесь раскрытого флакона, ароматы, заставившие его вспомнить величественных дам его семьи, чьи портреты находились в приемном зале.

В луче света, проникавшего сквозь окошки купола, кружились миллионы пылинок, озаренных солнцем. Древний алтарь смутно поблескивал в полумраке, отсвечивая старинной позолотой. На престоле лежали лисьи хвосты и стояло ведро, позабытое несколько лет тому назад, во время последней уборки.

Две скамеечки для коленапреклонения, обитые старым голубым бархатом, как будто еще сохраняли следы изнеженных барских тел, давно покинувших этот мир. На пюпитрах лежали два позабытых молитвенника с потертыми от употребления углами. Одну из этих книг Хайме узнал. Она принадлежала его матери, бледной и болезненной женщине, проводившей свою жизнь в молитве и любви к своему сыну, чье будущее представлялось ей величественным и славным. Вторым молитвенником пользовалась, вероятно, его бабушка, эта американка времен романтизма, которая, казалось, еще наполняла огромный дом шорохом белого платья и вздохами арфы.

Это видение прошлого, до сих пор незримо ощущаемого в покинутой часовне, воспоминание об обеих дамах: одной — воплощенной набожности, другой — идеалистке, изящной и мечтательной, окончательно расстроило Хайме.

И подумать только, что руки ростовщиков осквернят предметы, достойные благоговения!.. Он не может присутствовать при этом. Прощай! Прощай все!

Когда стемнело, он разыскал на Борне Тони Клапеса. Контрабандист внушал ему дружеское доверие, и он попросил у него денег взаймы.

— Не знаю, когда смогу вернуть их тебе. Я уезжаю с Майорки. Пусть рухнет все, но я не

могу на это смотреть.

Клапес дал Хайме больше денег, чем тот просил. Тони оставался на острове; с помощью капитана Вальса он постарается устроить его дела, если это еще возможно. Капитан разбирается в этих вопросах и умеет распутывать даже самые сложные. Правда, накануне Фебрер с ним поссорился, но это неважно: Вальс — настоящий друг.

— Никому не сообщай о моем отъезде, — добавил Хайме. — Об этом можешь знать только ты и... Пабло. Ты прав, он верный друг.

— А когда ты уезжаешь?..

Он ждет первого парохода, уходящего на Ивису. У него там еще кое-что осталось — груда скал, поросших травой, где бегают кролики, полуразвалившаяся башня пиратских времен. Об этом он узнал вчера, чисто случайно: ему рассказали крестьяне с Ивисы, которых он встретил на Борне.

— Мне все равно, где находиться, там или в другом месте... Быть может, там будет даже лучше. Буду охотиться, ловить рыбу. Жить вдали от людей.

Вспомнив советы, которые он давал накануне ночью, Клапес с чувством пожал руку Хайме. С чужой все кончено. Его крестьянская душа радовалась этому исходу.

— Ты хорошо делаешь, что уезжаешь. То, другое... То было бы безумием.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Фебрер рассматривал свое отражение — прозрачную тень с расплывчатыми очертаниями, трепетавшую в воде, сквозь которую виднелось дно с молочными пятнами чистого песка и темными обломками скал, покрытыми слоем водорослей.

Морские травы плавно шевелили изумрудными пучками гибких стеблей; круглые плоды, похожие на индийские фиги, белели на каменистых уступах; цветы, казавшиеся перламутровыми, блестели в глубине зеленых вод, и среди этой таинственной растительности ярко выделялись разноцветные остроконечные морские звезды. Морской еж свивался в черный, как клякса, колючий клубок, беспокойно сновали морские коньки, и стая рыбок, хвосты и плавники которых мелькали в вихре воздушных пузырьков, пронеслась словно серебряно-пурпурный сноп искр, внезапно появляясь откуда-то из глубины пещеры и снова пропадая в непроницаемом мраке.

Хайме сидел, слегка нагнувшись, на борту маленькой лодки со спущенным парусом. В руке он держал воланти — длинную бечеву с многочисленными крючками, почти касающуюся морского грунта.

Было уже около полудня. Лодка покачивалась в тени. За спиной Хайме простиралось сильно изрезанное дикое побережье Ивисы с выступавшими вперед каменными грядами и глубокими бухтами. Впереди, словно надменный пограничный столб, взметнувшийся на высоту трехсот

метров, вздымалась Ведро, уединенная скала, казавшаяся и своим одиночеством еще выше. Тень, падавшая от колосса, придавала воде у его подножия темный и вместе с тем прозрачный оттенок. За голубоватой и призрачной громадой скалы кипело Средиземное море, переливаясь на солнце золотистыми брызгами, а берега Ивисы, красные и обнаженные, казалось излучали пламя.

В тихие дни Хайме удил в этом узком канале между островом и скалой. При тихой погоде здесь словно текли воды голубой реки, над поверхностью которой торчали черные головы подводных утесов. Великан позволял подплывать к нему, не теряя при этом своего внушительного вида, сурового и враждебного. Как только ветер начинал крепчать, наполовину погруженные в море вершины скал окаймлялись пеной, и волны поднимали рев. Свинцовые горы воды с глухим шумом устремлялись в пролив. Приходилось ставить парус и бежать как можно скорее из этой стремнины, где беспорядочные течения, завихряясь, превращались в ревущие водовороты.

На носу лодки сидел дядюшка Вентолера, старый моряк, плававший на судах многих стран, который с момента прибытия Хайме на Ивису стал его постоянным приятным спутником. «Мне уж под восемьдесят, сеньор!» Однако он не пропускал ни одного дня, чтобы не отправиться на ловлю рыбы. Он не знал ни болезней, ни страха перед непогодой. Лицо его было обожжено солнцем и соленым ветром, но морщин на нем было совсем мало. На ногах, видневшихся из-под закатанных штанин, была еще молодая кожа с сильными, упругими мускулами. Распахнутая блуза открывала грудь, заросшую щетиной, такой же сероватой, как волосы на голове, покрытой черной шапочкой с алой кисточкой и широкой лентой в белую и красную клетку, которую он носил в память, последнего рейса в Ливерпуль. Лицо его обрамляли узкие бакенбарды, а в ушах болтались медные серьги.

Познакомившись со стариком, Хайме заинтересовался этими украшениями.

— Мальчиком я служил юнгой на английской шхуне, — ответил Вентолера на ивисском диалекте, произнося слова нараспев тонким голоском. — Хозяин был надменный мальтиец с баками и серьгами. И я сказал себе: когда я стану мужчиной, то буду как хозяин... Когда-то я был большим щеголем, выглядел не так, как сейчас, и мне нравилось подражать почтенным людям.

В первые дни ловли около Ведры Хайме не обращал внимания ни на воду, ни на снасть, которую держал в руке, и только смотрел, не отрываясь, на колосса, высившегося над морем и точно оторванного от берега.

Скалы громоздились одна на другую и тянулись вверх, заставляя зрителя закидывать голову, чтобы увидеть острую вершину. Прибрежные утесы были вполне доступны. Море проникало под узкие арки подводных пещер, служивших в свое время убежищем для корсаров, теперь же иногда — складами для контрабандистов. Можно было пройти по берегу, прыгая с утеса на утес среди зарослей можжевельника и других диких растений, но дальше, вглубь, скала высилась прямая, гладкая и неприступная, круто обрываясь серыми отшлифованными стенами. На огромной высоте было несколько площадок, покрытых зеленью, а над ними скала вздымалась отвесно до самой вершины, остроконечной как палец. Охотники карабкались на эту твердыню, правда не до самой вершины, используя углубления в камне и достигая таким образом первых площадок. Выше всех забирался, по словам дядюшки Вентолера, только один монах, сосланный правительством за карлистскую агитацию. Он и построил на берегу Ивисы обитель Кубельс.

— Это был человек суровый и отважный, — продолжал старик. — Говорят, он водрузил на самом верху крест, но его уже снесли злые ветры.

Фебнер видел, как по впадинам огромного серого утеса, оттененного зеленью можжевельника

и морских сосен, скакали цветные пятнышки, словно красные или белые блошки, непрерывно сновавшие взад и вперед. Это были одичавшие на просторе козы Ведры, которые много лет тому назад были предоставлены самим себе и, размножаясь вдали от человеческих поселений, утратили привычки домашних животных. Делая удивительные прыжки, они словно взлетали ввысь, как только к утесу приставала лодка. По утрам в тихую погоду над морем разносилось их блеяние, особенно отчетливое среди царившего в природе молчания.

Однажды на рассвете Хайме захватил ружье и дал два выстрела по небольшому стаду коз, которые паслись вдалеке. Он был уверен, что не попадет в них, и хотел лишь полюбоваться тем, как они будут бежать. Эхо разнесло звуки выстрелов вдоль узкого пролива, и воздух наполнился криками и хлопанием крыльев. Это были сотни напуганных грохотом старых огромных чаек, покидавших свои гнезда. Потрясенный гулом островок изгонял крылатых обитателей. Еще выше, словно черные точки, к острову летели другие большие беглецы — соколы, укрывавшиеся на Ведре и охотившиеся на голубей на Ивисе и Форментере.

Старый моряк показал Хайме несколько пещер, похожих на окна, в самых отвесных и недоступных скалах островка. Туда не могли забраться ни козы, ни люди. Дядюшка Вентолера знал, что скрывается в этих черных впадинах. Это были ульи, существовавшие сотни лет природные убежища пчел, которые перелетали через пролив между Ивисой и Ведрой и, налетавшись над полями острова, укрывались в неприступных пещерах. В определенное время года он мог наблюдать, как из этих отверстий, извиваясь, как змейки, струились вдоль скал блестящие нити. Это был мед, растопленный солнцем у входа в пещеру и теперь бесполезно вытекавший из сот.

Дядюшка Вентолера вытащил свою снасть и одобрительно проворчал:

— Вот, уже восемь!

На крючке, корчась и шевеля клешнями, висел темно-серый краб. Другие неподвижно лежали в корзине возле старика.

— Дядюшка Вентолера, разве вы не поете мессу?

— Если позволите...

Хайме знал привычки старика и его страсть затягивать литургические песнопения всегда, когда он чему-либо радовался. Перестав ходить в дальние плавания, он развлекался тем, что распевал по воскресеньям в сельской церкви Сан-Хосе или Сан-Антонио. Кроме того, он давал волю этой склонности в любые радостные минуты жизни.

— Сейчас начну... Сейчас начну... — сказал он покровительственно, словно собираясь доставить своему спутнику самое большое удовольствие.

Быстрым движением руки он вынул изо рта вставную челюсть и засунул ее за пояс. Лицо его сразу же покрылось морщинами, рот ввалился, и он запел, поочередно возглашая то за священника, то за вторившего ему служку. Надтреснутый детский голос приобретал торжественную звучность, разносясь над поверхностью воды и отзываясь эхом в скалах. Время от времени козы Ведры отвечали ему изумленным и нежным блеянием. Хайме забавляло невероятное усердие старика, который, закатив глаза, прижимал одну руку к сердцу, а другой крепко сжимал бечеву воланти. Так прошло немало времени. Феврер, внимательно следивший за своей снастью, ни разу не заметил, чтобы та дрогнула. Вся рыба попадалась старику. Это рассердило Хайме, и вскоре пение стало его раздражать:

— Хватит, дядя Вентолера... Уже достаточно!

— Вам понравилось, не правда ли? — наивно спросил старик. — Я знаю и другие вещи,



например о капитане Рикере, это — быль, не сказка. Мой отец видел это своими глазами.

У Хайме вырвался протестующий жест. Нет, не надо про капитана Рикера! Он знает его подвиг наизусть. За три месяца, что они вместе выходили в море, редкий день не бывало рассказов об этом событии. Но дядюшка Вентолера со старческим простодушием уже начал свой рассказ, будучи убежден в необычайной важности всего, о чем он повествует. Хайме, повернувшись к нему спиной, перегнулся через борт и смотрел в глубь воды, стараясь не слушать лишний раз того, что знал уже во всех подробностях.

Капитан Антонио Рикер!.. Герой Ивисы, такой же великий моряк, как Барсело...[64] Но так как Барсело был майоркинцем, а Рикер ивитянином, то все почести и звания доставались первому, а не второму. Будь на свете справедливость, море поглотило бы надменный остров, мачеху Ивисы. Вдруг старик вспомнил, что Фебрер был майоркинцем, и сконфуженно умолк.

— Это просто так говорится, — добавил он извиняющимся тоном. — Всюду есть хорошие и порядочные люди. Вы, ваша милость, один из них. Но вернемся к капитану Рикеру...

Это был владелец трехмачтовой шебеки «Сан Антонио», снаряженной как корсарское судно, с ивисской командой на борту, — парусника, постоянно сражавшегося с галеотами алжирских арабов и кораблями англичан — врагов Испании. Имя Рикера было хорошо известно всему Средиземноморью. Этот случай произошел в 1806 году. Утром в троицын день в виду города Ивисы показался фрегат под английским флагом и открыл залповый огонь всем бортом, держась за пределами огня крепостных пушек. Это была «Фелисидад», судно итальянца Микеле Новелли, прозванного Папой, который, будучи обитателем побережья Гибралтара, стал корсаром и сражался на английской стороне. Он явился для встречи с Рикером и, желая над ним посмеяться, дерзко маневрировал на виду у всех. Раздался звон набата, забили барабаны, весь город столпился на стенах Ивисы и в Морском квартале. «Сан Антонио» в это время шпаклевали на берегу, но Рикер с ребятами своей команды спустил его на воду. Маленькие пушки были сняты с шебеки, и их пришлось спешно закреплять канатами. Все жители Морского квартала стремились выйти в море, но капитан отобрал только пятьдесят человек и направился с ними к мессе в церковь Сан Тельмо. Когда на судне готовились ставить паруса, появился отец Рикера, старый моряк, который, несмотря на сопротивление сына, взошел на борт.

«Сан Антонио» пришлось долго и умело маневрировать, чтобы сблизиться с фрегатом Папы. Крохотная шебека казалась мухой рядом с огромным кораблем. Команда на нем состояла из самых отважных авантюристов, завербованных на пристанях Гибралтара: мальтийцев, англичан, римлян, венецианцев, ливорнцев, сардинцев и далматинцев. Первым же пушечным залпом на шебеке было убито пять человек, в том числе и отец Рикера. Сын поднимает изуродованный труп и, обрызганный кровью, уносит его в трюм. «Убили нашего отца!» — рычат братья Рикера. «А мы на что? — хрипло кричит Антонио. — За бутылки! На абордаж!»

Бутылки, начиненные горючим, были страшным оружием ивисских корсаров: ударяясь о палубу вражеского судна, они зажигали ее. Теперь эти бутылки летят на корабль Папы. Пылают снасти, горит вся надводная часть судна, и, словно стая чертей, рвется сквозь огонь Рикер со своими молодцами, держа в одной руке пистолет, а в другой — абордажный топор. По палубе струится кровь, трупы с разможенными головами скатываются за борт. Папу, полумертвого от страха, нашли в его собственной каюте, где он залез в сундук.

И дядя Вентолера смеется как ребенок, вспоминая этот забавный эпизод из славной схватки, окончившейся победой Рикера. Как только пленного Папу доставили на остров, горожане и крестьяне сбегались толпой и разглядывали его, как редкостного зверя. И это тот пират, который наводил ужас на все Средиземное море?! И его нашли между полками рундука, куда он спрятался от страха перед ивитянами! Его судили и собирались вздернуть на острове Повешенных в проливе Монахов, где теперь маяк, но Годой[65] приказал обменять его на

пленных испанцев.

Отец старика был свидетелем этих великих событий: он служил юнгой на судне Рикера. Потом он попал в плен к алжирцам и находился в числе последних невольников накануне завоевания Алжира французами. Однажды ему грозила смертельная опасность, когда стали расстреливать каждого десятого из них за убийство одного араба-развратника, труп которого обнаружили в уборной. Дядюшка Вентолера вспоминал также рассказы отца о тех временах, когда на Ивисе еще были корсары и туда приводили захваченные суда с пленными арабами и арабками. Пленники представляли перед писарем, который подсчитывал добычу, и в качестве свидетелей успешного набега, по требованию победителей, клялись алакивиром[66], пророком и его Кораном, подняв вверх руку с вытянутым указательным пальцем и обернувшись лицом к восходу солнца. Между тем суровые ивисские корсары, распределяя между собою захваченное, выделяли средства на покупку простыней, предназначенных для перевязки их будущих ран, а другую часть доходов оставляли на то, чтобы священник во время их отсутствия ежедневно служил мессу.

От Рикера дядюшка Вентолера перешел к другим отважным корсарам, предшественникам доблестного моряка, но Хайме, раздраженный его болтовней, в которой сквозило желание уязвить соседний враждебный остров — Майорку, в конце концов потерял терпение:

— Уже полдень, дед... Пора домой; рыба не клюет.

Старик посмотрел на солнце, проходившее над вершиной Ведры. Полдень еще не наступил, но до него оставалось немного. Затем рыбак взглянул на море; да, сеньор прав: клева нынче не будет. Но он вполне доволен своим уловом.

Потянув худыми руками за бечеву, он поставил малый треугольный парус. Лодка склонилась набок, покачнулась на месте и стала разрезать воду, тихо журчавшую за бортом. Они вышли из пролива, оставили позади Ведру и пошли вдоль берега Ивисы. Хайме сидел за рулем, а старик, зажав между колен корзину с уловом, начал с жадностью перебирать и считать рыбу.

Лодка обогнула мыс, и перед ними открылся новый участок берега. На скалистой, красноватого цвета возвышенности, кое-где покрытой темными пятнами кустарников, отчетливо виднелась широкая желтая башня, похожая на приплюснутый цилиндр, с одним лишь окном, выходившим на море и казавшимся, темным пятном с неопределенными очертаниями. На верхушке башни на фоне голубого неба обрисовывалась прорезь бойницы, которая служила в свое время укрытием для небольшой пушки. С одной стороны мыса, круто обрывающегося в море, берег понижался и казался зеленым: здесь росли низкие деревца с густой листвой, среди которых белел небольшой домик.

Лодка направилась к башне; поблизости от нее она слегка повернула в сторону и, уткнувшись носом в песчаный грунт, пристала к берегу. Старик спустил парус и подтянул лодку к одиноко стоявшему утесу, с которого свисала цепь. Привязав лодку, он и Хайме сошли на берег. Рыбак не хотел вытаскивать лодку на сушу: под вечер, поев, он собирался вновь выйти в море — ему нужно было поставить палангри[67], который он собирался вытащить назавтра поутру. Будет ли сеньор его сопровождать?.. Фебрер отрицательно покачал головой, и старик расстался с ним до утра. Он сойдет на берег и разбудит его, распевая «Интроитус», в ту пору, когда в небе еще не угаснут звезды. Рассвет должен застать их у Ведры. «Посмотрим, быстро ли сеньор выйдет из башни!»

И, повесив на руку корзину с рыбой, старик удалился.

— Кланяйтесь Маргалиде, дядя Вентолера, и пусть мне поскорее принесут обед.

Моряк, не оборачиваясь, кивнул ему в ответ, а Хайме пошел вдоль берега, к башне. Ноги его, обутые в альпартаты, шагали по песку, на котором замирали последние судорожные брызги

прибоя. Среди голубоватых камешков попадались куски обожженной глины, обломки ручек, выпуклые черепки со следами былой росписи, когда-то украшавшей, по-видимому, пузатые сосуды; маленькие неровные шарики серой глины, на которых как будто еще можно было распознать разъеденные водой бесформенные лица, обезображенные временем. Это были таинственные остатки того, что стало добычей бурной стихии, частицы великой тайны моря, вновь увидевшие свет после того, как пролежали там тысячелетия,

— следы загадочной и легендарной повести, прибитые своевольными волнами к берегам этих островов, служивших в далекие времена убежищем для финикийцев, карфагенян, арабов и норманнов. Дядюшка Вентолера говорил о серебряных монетах, тонких как облатки причастия, — их находили дети, играя на берегу. Когда рыбак был еще мальчиком, его дед рассказывал ему старинные предания о подводных пещерах, где хранились сокровища, принадлежавшие сарацинам и норманнам, клады, замурованные обломками скал, тайна которых была давно позабыта.

Направляясь к башне, Хайме начал спускаться по каменистому склону. Жесткие, шелестевшие ветками тамариски казались карликовыми соснами, пропитанными растворенной в воздухе солью и уходившими корнями в скалистый грунт. В бурные дни ветер сметал песок и обнажал их обильные перепутанные корни, черные и змеевидные, о которые не раз спотыкались ноги Фебрера. Его гулким шагам вторил в кустах шелест листвы и шум, поднятый боязливо удиравшими зверьками; в зарослях быстро мелькал клубок серой шерсти с хвостом, похожим на пуговку. Стремительно мчавшиеся кролики заставляли обращаться в бегство и изумрудных ящериц, лениво гревшихся на солнце.

Сквозь эти шорохи Хайме услышал слабые звуки тамбурина и мужской голос, певший ивисский романс. Порою певец умолкал, как бы в нерешительности, упорно повторяя одни и те же куплеты, прежде чем перейти к новым. По местному обычаю он в конце каждой строфы издавал какое-то странное кудахтанье, напоминавшее крик павлина, пронзительную трель, какой сопровождают свои песни арабы.

Добравшись до вершины, Фебрер заметил музыканта, сидевшего на камне позади башни и пристально смотревшего на море.

Это был молодой парень, которого он иногда встречал в Кан-Майорки, в доме своего бывшего арендатора Пепа. На одном колене он держал ивисский тамбурин — небольшой барабан, выкрашенный в синий цвет, расписанный по ободу цветами и позолоченными ветками. Локтем левой руки он опирался на инструмент, полуприкрыв лицо ладонью. В правой руке у него была палочка, которой он медленно ударял по коже барабана; застыв в мечтательной позе и погружившись в импровизацию, музыкант задумчиво смотрел сквозь свои пальцы на необъятный морской простор.

Его прозвали Певцом, как всех тех на острове, кто сочинял новые стихи на танцах и при исполнении серенад. Это был высокий юноша лет восемнадцати, болезненно бледный и узкий в плечах. При пении он кашлял, напрягая худую шею, и прозрачное лицо его заливалось нежным румянцем. У него были большие женские глаза с воспаленными краями век. Одевался он всегда по-праздничному, носил штаны из голубого бархата, ярко-красные пояс и галстук, поверх которого на шею был наброшен женский платочек, расшитый спереди. За каждым ухом торчало по розе, а из-под фетровой шляпы, сдвинутой назад и украшенной цветами и лентой, выбивались курчавые пряди блестящих от помады волос. Заметив этот почти женский наряд, большие глаза и бледный цвет лица юноши, Фебрер мысленно сравнил его с теми худосочными девицами, которых современное искусство возводит в идеал. Но за алым поясом этой «девицы» торчало нечто внушающее тревогу. Это был, несомненно, нож или пистолет, какие выделывают кузнецы на острове, — неразлучный спутник каждого ивисского атлота.

При виде Хайме молодой человек встал, и тамбурин повис у него на ремне, перекинутом через левое плечо; правой рукой, все еще держа в ней палочку, он коснулся полей шляпы:

-. Добрый день!

Фебрер, убежденный, как истый майоркинец, в свирепости ивитян, тем не менее, встречаясь с ними на дорогах, каждый раз восхищался их вежливостью. Они убивали друг друга из-за соперничества в любви, но чужеземец почитался ими с той же традиционной щепетильностью, какую проявляет араб по отношению ко всем кто просит приюта под его шатром.

Певец, казалось, смутился, оттого что майоркинский сеньор застал его возле своего дома, на принадлежащей ему земле. Бормоча невнятные извинения, он рассказал, что пришел сюда потому, что ему нравилось смотреть сверху на море. В тени башни дышалось легче; никто из друзей не мешал ему своим присутствием, и он свободно слагал стихи для предстоящей вечеринки в Сан Антонио.

Услышав эти робкие извинения музыканта, Хайме улыбнулся. Стихи, вероятно, посвящены какой-нибудь атлоте?.. Юноша кивнул: «Да, сеньор...» А кто она?

— Цветок миндаля, — ответил поэт.

Цветок миндаля... Красивое имя! — Польщенный одобрением сеньора, юноша оживленно продолжал. Цветок миндаля — это Маргалида, дочь сеньо Пепа из Кан-Майорки. Это имя он дал ей сам, заметив, что она бела и прекрасна, как цветы, которыми покрывается миндаля, когда кончаются заморозки и с моря доносятся первые дуновения ветра, возвещающие весну. Все молодые люди в округе подхватили это имя, и теперь Маргалиду никто не называет иначе. Певец приписывал себе дар давать красивые прозвища: стоило ему выдумать, как имя так и оставалось за человеком.

Фебрер с улыбкой слушал слова юноши. Вот где нашла себе приют поэзия!.. Потом он спросил, работает ли атлот. Тот ответил отрицательно: родители не разрешают ему работать, так как городской врач, осмотревший его в базарный день, посоветовал семье не давать ему утомляться. Обрадованный таким советом, он в дни полевых работ сидел в тени под деревом, прислушиваясь к пению птиц и посматривая на девушек, проходящих по тропинке. Когда же в его голове зарождался новый стих, он усаживался на берегу моря, неторопливо обдумывая его и закрепляя в памяти.

Хайме распротился с юношей: пусть продолжает свои занятия поэзией. Пройдя несколько шагов и не слыша звуков тамбурина, он обернулся. Боясь обеспокоить сеньора своей музыкой, атлот спустился под гору в поисках другого уединенного уголка.

Фебрер подошел к башне. То, что издали казалось первым этажом, на самом деле было сплошной каменной стеной. Дверь находилась на уровне верхних окон — былая стража башни могла избежать таким образом внезапного нападения пиратов. Для входа и выхода пользовались приставной лестницей, убиравшейся с наступлением ночи. Чтобы попадать в свое жилище, Хайме заказал грубую деревянную лестницу, но никогда не убирал ее. Башня, построенная из песчаника, снаружи несколько пострадала от морских ветров. Многие плиты выпали из гнезд, и эти отверстия стали как бы скрытыми ступеньками, по которым можно было подняться в башню.

Отшельник вошел в свое жилище. В этом круглом помещении не было иных проемов, кроме двери и окна в задней стене; из-за толщины каменной кладки оба отверстия казались почти тоннелями. Стены с внутренней стороны были тщательно побелены ослепительной ивической известью, придающей прозрачность и нежно-молочный оттенок всем зданиям, благодаря чему жалкие деревенские хижинки приобретают веселый вид нарядных домиков. Только на

сводчатом потолке, где имелась прорезь для лестницы, ведшей когда-то на верхнюю площадку, еще виднелись следы копоты от костров, которые здесь жгли в былые времена.

Несколько досок, наспех скрепленных деревянными перекладинами, закрывали дверь, окно и люк. Во всей башне не было ни одного стекла. Стояло лето, и Фебнер, не уверенный в своем будущем, или, вернее, безразличный к нему, откладывал со дня на день окончательную отделку помещения.

Он находил это уединенное место очаровательным, несмотря на его суровость. Всюду чувствовалась заботливая рука Пепа и тонкий вкус Маргалиды. Хайме приглядывался к сверкающим белизной стенам, восхищался чистотой трех стульев и дощатого стола, натертых до блеска дочерью его бывшего арендатора. Вдоль стен было натянута несколько рыболовных сетей, ниспадавших волнистыми складками наподобие ковров. Поодаль висели ружье и патронташ. Кое-где виднелись разбросанные небольшими веерообразными группами морские ракушки с длинными и узкими створками, прозрачные как леденцы и похожие на черепаховый панцирь. Их подарил дядюшка Вентолера, так же как и украшавшие стол две огромные раковины, бугристые снаружи и нежно-розовые, как женское тело, внутри. Подле окна лежал свернутый тюфяк с подушкой и простынями. Эту деревенскую постель каждый вечер стелили Маргалида или ее мать.

Хайме спал здесь спокойнее, чем в своем дворце в Пальме. В дни, когда его не будил на рассвете дядюшка Вентолера, распевая на берегу мессу и бросая с близлежащего холма камнями в дверь, отшельник валялся на своем тюфяке до позднего часа. До него доносился монотонный шум моря, по-матерински убаюкивавший его. Таинственный свет, в котором золото солнечного луча сливалось с лазурью вод, проникал сквозь ставни и ложился трепещущими бликами на белые стены. Снаружи кричали чайки, игриво пролетая мимо окон, на стене башни мелькали их быстрые тени.

В те вечера, когда он рано ложился спать, отшельник долго не смыкал глаз и предавался размышлениям, наблюдая сквозь полуоткрытые рамы за проникающим в комнату неясным мерцанием звезд или сиянием луны. За каких-нибудь полчаса перед ним с необычайной отчетливостью проходило все его прошлое; это было преддверие сна, в котором возникают самые далекие воспоминания. Слышался шум прибоя, пронзительно свистели ночные птицы, чайки испускали жалобные крики, похожие на стон истязуемых детей. Что-то поделывают в этот Час его друзья?.. О чем говорят в кафе на Борне?.. Кто из приятелей сейчас в казино?..

По утрам эти воспоминания вызывали у него лишь улыбку сожаления. Юный свет зари, казалось, украшал жизнь, делая ее более привлекательной. И он мог быть таким же, как другие, восторгаться городской жизнью!.. Нет, настоящая жизнь — здесь.

Он окидывал взглядом круглую комнату, Настоящая гостиная, еще более уютная, чем в доме его предков: здесь все принадлежит ему, и он может не опасаться претензий со стороны кредиторов и ростовщиков на совместное владение его имуществом. Здесь даже есть чудесные старинные предметы, которых никто не может у него оспаривать. Возле дверей стояли прислоненные к стене две амфоры, выловленные сетями рыбаков сосуды из белой глины, затейливо украшенные морем гирляндами окаменевших ракушек. В центре стола, между двух больших раковин, лежал еще один подарок дядюшки Вентолера — женская голова, увенчанная чем-то вроде тиары, из-под которой выбивались заплетенные в косы волосы. Серая глина была, усеяна твердыми белыми шариками — крупинками отлагавшейся веками соли морской воды, Но Хайме<sup>1</sup> всматриваясь в лицо этой женщины, разделявшей его одиночество, старался мысленно проникнуть сквозь суровую маску, угадывая за ней спокойные черты и постигая тайну миндалевидных восточных глаз. Она представлялась ему такой, какой никто не мог ее видеть. Долгие часы молчаливого созерцания привели к тому, что морщинистая маска, которая наслаивалась столетиями, словно исчезла.

— Посмотри, вот моя невеста, — сказал Фебрер однажды утром Маргалиде, убравшей комнату. — Не правда ли, как она красива?.. Она, наверно, была принцессой в Тире или Аскалоне[68], не знаю точно где, но» несомненно, она предназначалась мне, любила меня за четыре тысячи лет до моего рождения и нашла меня спустя много веков. У нее были суда, рабы, пурпурные одежды, дворцы с висячими садами, но она бросила все и скрылась в море, ожидая сотни лет, чтобы волны выбросили ее на берег, где бы ее подобрал дядюшка Вентолера и принес в мой дом... Почему ты на меня так смотришь? Бедняжка, ты не понимаешь этого...

Маргалида смотрела на него с ужасом. Унаследовав уважение своего отца к сеньору, она думала, что дон Хайме может говорить только серьезные вещи. Чего только не повидал он на белом свете! А теперь эти слова о тысячелетней невесте поколебали ее наивную уверенность, заставив слегка улыбнуться; в то же время эта величественная дама былых времен, от которой сохранилась лишь одна голова, внушала ей суеверный страх. К чему дон Хайме все это говорит? Это все так странно!..

Поднявшись в башню, Фебрер сел у входа, любясь сельским пейзажем, открывавшимся перед ним сквозь дверной проем. У подножия холма расстилались свежеспаханые поля. Это были небольшие участки на склоне горы, принадлежавшие Фебреру, которые Пеп превращал в плодородные земли. Дальше начинались плантации миндаля с нежно-зеленой листвой и старые, узловатые оливы, раскинувшие свои черные ветви с пучками серебристо-серых листьев. Дом Кан-Майорки, напоминавший арабское жилище; представлял собой группу построек, квадратных как игральные кости, с плоской крышей и ослепительно белыми стенами. По мере того как увеличивалась семья и возрастали потребности, возводились новые белые строения. Каждый кубик был отдельной пристройкой, а все вместе они составляли дом, который скорее походил на адуар[69], так как снаружи невозможно было отличить жилища людей от помещений для скота.

Дальше за хутором тянулась роща, отгороженная большими стенами из сухого камня и грядами высоких холмов. Сильные ветры препятствовали росту деревьев, и их ветви буйно разрослись в разные стороны, точно возмещая вширь то, что теряли в высоту. Сучья у всех были подперты многочисленными вилами.

Некоторые фиговые деревья имели сотни таких подпорок и раскинулись наподобие огромного зеленого шатра, призванного укрывать спящих великанов. Они походили на естественные беседки, в которых могли поместиться целые селения. Горизонт замыкали горы, покрытые соснами, между которыми виднелись большие прогалины красной глины. Из темной листвы поднимались столбы дыма. Это были костры дровосеков, выжигавших древесный уголь.

Прошло три месяца с тех пор, как Фебрер поселился на острове. Его приезд изумил Пепу Араби, который все еще продолжал рассказывать родным и друзьям о своем удивительном приключении, о неслыханном по смелости недавнем путешествии на Майорку вместе с атлантами, о нескольких часах, проведенных в Пальме, и о своем посещении дворца Фебреров, чудесного здания, где хранилось все, что только есть на свете барского и роскошного.

Резкие и откровенные слова Хайме не слишком удивили крестьянина.

— Пеп, я разорен, по сравнению со мной ты богач. Я приехал, чтобы поселиться в башне... Не знаю, надолго ли. Возможно, что навсегда.

Фебрер перешел к подробностям, касающимся своего будущего устройства, но Пеп недоверчиво улыбался. Разорен!.. Все знатные сеньоры говорят то же самое, но того, что у них остается при разорении, хватило бы, чтобы сделать богачами многих бедняков. Они —

как суда, что терпели крушение у Форментеры до тех пор, пока правительство не поставило маяки. Форментерцы — люди без совести и забытые богом (ведь их остров самый маленький) — зажигали огни, чтобы обмануть мореплавателей; судно садилось на мель, для моряков это была гибель, а для островитян — пожива.

— Один из Фебреров — бедняк!.. — Пеп отказался принять деньги, предложенные ему доном Хайме. Он начнет обрабатывать земли, принадлежащие сеньору, и потом они сочтутся. И, видя, что хозяин намерен жить в башне, крестьянин постарался придать ей жилой вид и приказал своим детям приносить пищу сеньору в те дни, когда тот не захочет спускаться вниз и садиться за общий стол.

Эти три месяца Хайме провел в сельском уединении. Он не писал писем, не разворачивал газет, не брал в руки никаких книг, кроме нескольких томиков, привезенных из Пальмы. Город Ивиса, спокойный и сонный, как глухая деревня на Полуострове, представлялся ему далекой столицей. Майорка, казалось, вообще не существовала, так же как и те большие города, которые он некогда посетил. В первый месяц новой жизни необычайный случай нарушил его мирное существование. Пришло письмо — конверт со штампом одного из кафе на Борне и несколько строк, нацарапанных крупным и скверным почерком. Писал Тони Клапес. Он желал Фебреру счастья в новой жизни. В Пальме все по-прежнему. Пабло Вальс не пишет, так как обижен на него. Уехать без предупреждения!.. Однако он хороший друг и занимается запутанными делами Хайме. По этой части у Пабло чертовские способности. Ведь он чувствует, как ни говори!.. Он, Тони, еще напишет.

С тех пор прошло два месяца, но писем больше не было. Впрочем, какое ему дело до того, что творится в мире, куда он не собирается возвращаться?.. Хайме не знал, что готовит ему судьба: он приехал сюда и решил здесь остаться, развлекаясь лишь охотой и рыбной ловлей и испытывая животную радость от того, что у него нет ни мыслей, ни желаний, — разве только те, что были свойственны первобытному человеку.

Он чуждался ивитян, наблюдая их жизнь со стороны. Среди крестьян он был сеньором, чужеземцем. К нему относились с почтением, но холодно.

Привычное существование этих людей, с чертами грубости и известной жестокости, привлекало его как все необычайное и красочное. Затерянный в море остров, который мог рассчитывать лишь на собственные силы, веками противостоял норманским пиратам, арабским морякам, кастильским галерам, судам итальянских республик, турецким, алжирским и туниским парусникам и в недавние времена — английским корсарам. Древняя римская житница Ферментера, с течением столетий ставшая почти необитаемой, предательски оказывала приют враждебным флотам. Деревенские церкви все еще оставались настоящими крепостями с прочными башнями, где укрывались земледельцы, которых костры оповещали о высадке врагов. В тревогах этой беспокойной жизни, полной бесконечной борьбы, рождалось население, приученное к кровопролитию и защите своих прав с оружием в руках; земледельцы и рыбаки, отрезанные от прочего мира, и поныне сохраняли образ мыслей и нравы своих предков. Сел не существовало, хутора были разбросаны на многие километры друг от друга, и связующим звеном между ними служили церковь и дома священника и алькальда. Единственным крупным поселением была столица острова, по старинным грамотам — Королевская крепость Ивисы, с прилегающим к ней Морским кварталом.

Когда юноша достигал зрелого возраста, отец призывал его на кухню, где собиралась вся семья, жившая на хуторе. — Ты мужчина! — провозглашал он торжественно. И вручал ему нож с добротным клинком. Посвященный в рыцари, атлот утрачивал сыновнюю робость. Отныне он должен был защищать себя сам, не обращаясь за помощью к семье. Потом, собрав немного денег, он пополнял свое рыцарское вооружение, приобретая у местных кузнецов, раздувавших горны в лесах, пистолет с серебряными насечками.

С гордостью ощутив в руках оба этих предмета, подтверждавшие приобретенные им права мужчины и гражданина, оружие, с которым он не расстанется больше в жизни, юноша присоединялся к другим атлотам, экипированным таким же образом. Для него начиналась пора молодости и любви, серенады, сопровождающиеся озорными возгласами, танцы, прогулки в дальние приходы на церковные праздники, где молодежь упражнялась в меткой стрельбе камнями по петуху. В особенности же их занимали фестивали, традиционные смотрины, на которых выбирали невест, — самый почитаемый обычай, вызывавший раздоры и убийства.

На острове не было воров. Хозяева домов, уединенно стоявших среди открытого поля, уходя зачастую оставляли ключ в дверях. Люди не убивали друг друга из корыстных побуждений. Землей пользовались все на равных условиях, а мягкий климат и врожденная воздержанность жителей делали из них людей благородных и не слишком приверженных к материальным благам. Любовь и только любовь побуждала мужчин убивать друг друга. Сельские кавалеры горели страстью к своим избранницам и отличались необычайной ревностью, как герои романов. Из-за черноглазой и смуглой атлоты они подстерегали друг друга в ночной темноте и вызывали на бой презрительным ауканьем, перекликаясь издали, перед тем как схватиться врукопашную. Им казалось недостаточным, что современное оружие стреляет лишь одной пулей, и поверх обычного патрона они сыпали порох и всаживали еще пулю, плотно забивая этот заряд. Если оружие не разрывалось в руках у нападающего, то от врага оставалось лишь одно воспоминание.

Сватовство продолжалось месяцы и годы. К крестьянину, имевшему дочь, являлись молодые люди не только из его округа, но и со всего острова, так как все ивители считали себя вправе просить ее руки. Отец подсчитывал количество претендентов — десять, пятнадцать, двадцать, иногда тридцать. Потом он высчитывал, каким временем он может располагать в течение вечера, пока его не одолеет сон, и, в соответствии с количеством претендентов, делил между ними это время по минутам.

К вечеру по разным дорогам сходились участники смотрин, некоторые приходили даже группами, напевая национальные мелодии, которые сопровождались пронзительными выкриками и трелями, походившими на кудахтанье; другие шли одни, наигрывая на бимбау, этот инструмент состоял из двух железных пластинок, жужжал, как овод, и, казалось, заставлял музыкантов забывать об усталости. Они приходили издали. Иные тратили целых три часа на то, чтобы прийти, и столько же, чтобы вернуться; этот путь они проделывали в дни фестивалей, по четвергам и субботам, с одного конца острова в другой, чтобы поговорить с атлотой какие-нибудь три минуты.

Летом они усаживались на так называемом порчу — внутреннем дворе хутора, а зимой входили в кухню. Девушка поджидала их, неподвижно застыв на каменной скамье. Она снимала соломенную шляпу с длинными лентами, придававшую ей в жаркое время дня вид опереточной пастушки; на ней был праздничный наряд — голубая или зеленая юбка со множеством складок, которая целую неделю висела под потолком, стянутая веревками, чтобы сохранить плиссировку. Под этой юбкой были другие, восемь, десять или двенадцать нижних юбок — весь женский домашний гардероб; все это походило на огромную воронку из сукна и фланели, уничтожало признаки пола и не позволяло представить себе наличие человеческого тела под этой грудой одежды. Ряды филигранных пуговиц блестели на накладных рукавах кофточки. На груди, стянутой жестким, почти железным корсетом, сверкала тройная золотая цепочка с огромными звеньями. Из-под головного платка свисала толстая коса, перевитая лентами. Чтобы не помять пышного турнюра, казавшегося огромным из-за несметного количества юбок, на скамейке вместо коврика лежал абригайс — зимняя женская одежда.

Претенденты договаривались между собой об очереди и один за другим садились возле атлоты, разговаривая с ней положенное число минут. Если кто-либо, увлеченный беседой,



забывал о товарищах, его предупреждали кашлем, свирепыми взглядами и угрозами. Если он не подчинялся, то самый сильный из всей компании хватал его за руку и насильно отводил в сторону, чтобы следующий мог занять освободившееся место. Иногда, когда претендентов было много и времени не хватало, атлота разговаривала с двумя сразу, умело лавируя и ни одному не оказывая предпочтения... Так продолжалось до тех пор, пока она не заявляла о своем окончательном решении, не считаясь при этом с волей родителей. В эту краткую весну своей жизни женщина была королевой. Потом, выйдя замуж, она обрабатывала землю наравне с мужем, мало чем отличаясь от животного.

Если отвергнутые атлоты не слишком интересовались девушкой, они уходили, перенося свои галантные намерения на несколько миль дальше; но если они действительно были влюблены, то продолжали осаждать дом, и избраннику приходилось сражаться со своими бывшими соперниками, чудом пробиваясь к свадьбе сквозь строй ножей и пистолетов.

Пистолет для ивита была был вторым языком. На воскресных танцах не раз звучали выстрелы в доказательство любовного восторга. Уходя из дома невесты, в знак уважения к ней и ее семье атлот стрелял, перед тем как закрыть дверь, и кричал при этом: «Доброй ночи!» Если же он удалялся обиженный и желал оскорбить семейство, то поступал наоборот: сначала прощался, а потом стрелял; но в таком случае ему надо было сразу удирать, так как обитатели дома немедленно отвечали на его вызов пулями, палками и камнями.

Хайме стоял в стороне от этой суровой традиционной жизни, издали наблюдая обычаи адуара, все еще сохранявшиеся на острове. Испания, флаг которой развевался по воскресеньям над жалкими домиками каждого прихода, едва ли вспоминала о затерянном в мире клочке своей земли. Многие заокеанские страны были лучше связаны с мировыми центрами, чем этот остров, разоренный в свое время войнами и грабежами, а теперь влачивший жалкое существование вдали от главных морских путей, окруженный цепью скалистых и низких островков, каналами и проливами, сквозь воды которых просвечивало дно.

Фебрер наслаждался своим новым существованием, как человек, который присутствует на интересном зрелище и занимает, к тому же, удобное место. Эти крестьяне и рыбаки, воинственные потомки корсаров, были для него приятными спутниками. Поначалу он собирался наблюдать за ними издалека, как любопытный свидетель, но мало-помалу невольно перенял их обычаи и привычки. У него не было врагов, и, тем не менее, во время прогулок по острову, когда он не брал с собой ружья, за поясом у него торчал пистолет... на всякий случай.

В первые дни своего переселения в башню, когда заботы об устройстве заставляли его ездить в город, он еще продолжал носить городской костюм, но постепенно отказался от галстука, от воротничка, от сапог. На охоте он чувствовал себя удобнее в крестьянской блузе и плюшевых панталонах. Рыбная ловля приучила его ходить по песку и скалам в альпаргатах на босу ногу. Голову его покрывала такая же шляпа, какую носили все атлоты прихода Сан Хосе.

Дочь Пепа, хорошо знавшая обычаи острова, с чувством тайной признательности любовалась шляпой сеньора. Жители разных кварталов [70] Ивисы, на которые она делилась еще в древние времена, различались между собой по манере носить шляпу и по форме ее полей, что было почти незаметно для чужеземца. Шляпа донна Хайме была такая же, как у всех атлотов из Сан Хосе, и отличалась от тех, что носили жители других селений, называвшихся тоже именами святых. Это было честью для прихода, к которому принадлежала девушка.

О, наивная и прелестная Маргалида! Фебреру доставляло удовольствие разговаривать с ней; он наслаждался изумлением, которое пробуждали в ее простой душе рассказы о путешествиях и шутки, отпущенные им с серьезной миной...

С минуты на минуту она должна принести ему обед. Уже полчаса густой столб дыма поднимался из трубы дома. Он представлял себе дочь Пепа, хлопочущую у очага под взглядом матери, отупевшей крестьянки, несчастной и Вот-вот он увидит ее под навесом порчу перед входом в дом, с обеденной корзинкой на локте, в шляпе с длинными лентами, которая оттеняет ее поразительно белое лицо, приобретающее под лучами солнца матовый цвет античного мрамора.

Кто-то зашевелился под навесом и направился к башне. Это Маргалида!.. Нет, это не она. Это ее брат Пепет... Пепет, который месяц тому назад жил в городе, готовясь к поступлению в семинарию, и был прозван поэтому Капелланчиком.

II

— Добрый день!

Пепет расстелил салфетку на краю стола и поставил на нее два закрытых блюда и бутылку виноградного вина, прозрачного и красного, как рубин. Потом опустился на пол и обхватил руками колени, приняв неподвижную позу. Его смуглое лицо озарялось улыбкой, обнажавшей ослепительно белые зубы. Лукавые глаза уставились на сеньора с выражением, какое бывает у веселой и преданной собаки.

— Разве ты не ездил в Ивису, чтобы стать священником? — спросил Хайме, приступая к еде.

Мальчик кивнул головой: «Да, сеньор, я был там». Отец поручил его, Пепета, одному из учителей семинарии. Знает ли дон Хайме, где находится семинария?..

Маленький крестьянин говорил о ней, как о далеком месте, где его пытали. Ни деревьев, ни свободы, даже воздуха там едва хватало: жить взаперти было просто невозможно.

Фебрер, слушая его, вспоминал о своей поездке в верхний город, тихий и сонный — Королевскую крепость Ивисы, — отделенный от Морского квартала большой стеной времен Филиппа II[71]. Бреши в стене, построенной из песчаника, поросли вьющимися зелеными каперсами. Безголовые римские статуи, стоявшие в трех нишах, украшали ворота, соединявшие город с предместьем. Дальше начинались кривые улицы, тянувшиеся вверх — к собору и замку; посреди вымощенных голубоватым камнем мостовых стекали вниз нечистоты. Сквозь белоснежную штукатурку фасадов неясно проступали контуры дворянских гербов и лепные украшения старинных окон. На берегу моря царил кладбищенская тишина, нарушаемая лишь отдаленным шумом прибоя и жужжанием мух, летавших роем у ручья. Изредка на этих мавританских улицах раздавались шаги, и тогда, как при необычном событии, с жадным любопытством приоткрывались окна: медленно поднимались по крутым склонам, направляясь в замок, несколько солдат или возвращались из церкви каноники в лоснящихся на груди рясах, серых плащах и широкополых шляпах, нищие прислужники заброшенного собора, бедного и не имевшего даже епископа.

На одной из этих улиц Фебрер заметил семинарию — длинное здание с белыми стенами и зарешеченными, как в тюрьме, окнами. Капелланчик, вспоминая об этом доме, становился серьезным, и с его темно-коричневого лица исчезала привычная ослепительная улыбка. Какой страшный месяц провел он там! Учитель заполнял скучнейшие каникулы занятиями с деревенским мальчуганом, желая посвятить его в таинства латинского языка с помощью красноречия и ремня. Он хотел сделать из него к началу года чудо, на удивление другим учителям, и удары так и сыпались. А тут еще решетки, позволявшие видеть только часть противоположной стены; вымерший город, где не было ни одного зеленого листа; надоевшие

прогулки рядом со священником к порту с застоявшейся водой, где пахло гниющими моллюсками, пустому, если не считать нескольких парусников, грузивших соль. Полученные накануне сильные удары ремнем истощили его терпение. Бить его!.. О, не будь это священник!.. Он сбежал и вернулся в Кан-Майорки, но перед этим он из чувства мести изорвал несколько книг, которые особенно ценил учитель, опрокинул на стол чернильницу, написал на стенах непристойности и совершил еще ряд проказ, подобно вырвавшейся на свободу обезьянке.

Ночь в Кан-Майорки прошла бурно. Пеп побил сына палкой и, ослепленный злобой, едва не убил его — спасло заступничество матери и Маргалиды.

На лице атлота вновь заиграла улыбка. Он с гордостью заговорил о палочных ударах, которые перенес, не испустив ни одного вопля. Его ведь бил отец, а отец может бить, потому что любит своих детей. Но пусть кто-либо другой попробует ударить его — он будет обречен на смерть. Сказав это, мальчик выпрямился с воинственным пылом, присущим тем, кто привык видеть льющуюся кровь и вершить суд собственной рукой. Пеп поговаривал о возвращении сына в семинарию, но мальчик не слишком верил этой угрозе. Он не пойдет туда, даже если отец выполнит свое обещание, привязав его, как выюк, к спине осла, — он скорее убежит в горы или на островок Ведра, где будет жить с дикими козами.

Владелец Кан-Майорки распорядился судьбой своих детей с решительностью крестьянина, который, будучи уверен в своей правоте, не останавливается ни перед чем. Маргалида выйдет замуж за крестьянина, к которому перейдут земли и дом. Пепет станет священником — для их семьи это высшая социальная ступень, слава и счастье для всех родных.

Хайме улыбался, слушая, как атлот протестует против своей судьбы. На всем острове не было другого учебного заведения, кроме семинарии, и крестьяне и владельцы шхун, стремившиеся обеспечить своим детям лучшее будущее, отвозили их туда. Ивисские священники!.. Многие из них, будучи семинаристами, участвовали в смотринах, пуская в ход ножи и пистолеты. Внуки солдат и корсаров, они сохраняли задор и суровое мужество предков, даже надевая рясу. Они не» были неверующими, так как простота их мышления не позволяла им подобной роскоши, но и не отличались набожностью или воздержанностью: они любили жизнь со всеми ее наслаждениями и с наследственным энтузиазмом шли навстречу опасностям. Остров породил священников, наделенных храбростью, склонных к приключениям. Оставшиеся в Испании становились полковыми капелланами. Другие, более смелые, едва научившись служить мессу, отплывали в Америку, где некоторые республики, проникнутые духом аристократического католицизма, становились настоящим Эльдорадо[72] для представителей испанского духовенства, не побоявшихся морского путешествия. Оттуда они посылали много денег своим семьям, покупали земли и дома, вознося хвалу богу, который оказывал своим священнослужителям в Новом Свете более щедрую поддержку, нежели в Старом. В Чили и Перу находились добрые дамы, вносившие по сто песо за мессу. Эти сообщения заставляли родителей, собиравшихся в зимние вечера на кухне, разевать рот от изумления. Несмотря на все эти богатства, священники стремились вернуться на дорогой их сердцу остров и спустя несколько лет приезжали домой, чтобы снова прозябать на своих землях. Но в них уже глубоко проник тлетворный дух современности — им надоедало монотонное существование ивитян, замкнутое и ограниченное. Они вспоминали о молодых городах другого материка и в конце концов распродавали свое имущество или дарили его семье и уезжали, чтобы больше никогда не вернуться.

Пеп возмущался упорством своего сына, желавшего остаться крестьянином. Он грозился его убить, если тот вступит на гибельный путь. Хозяин дома вел счет всем сыновьям своих друзей, уехавшим за океан, надев рясу. Сын Трейфока прислал из Америки около шести тысяч дуру; другой ивитянин, живущий среди индейцев в глубине материка, в высоченных горах, называемых Андами, купил себе на Ивисе кусок земли; этот участок обрабатывает теперь его отец. А негодяй Пепет, гораздо более способный к учению, чем остальные,

отказывается следовать таким блестящим примерам!.. Убить его мало!

Накануне ночью, в спокойную минуту, когда уставший Пеп с грустным лицом отца, задавшего сыну сильную трепку, отдыхал на кухне, этот атлот, все еще почесываясь, предложил помириться. Он станет священником и будет во всем повиноваться сенью Пепу; но сначала он хочет быть мужчиной, водить компанию с парнями своего прихода, давать с ними концерты, ходить по воскресеньям на танцы, участвовать в смотринах, иметь невесту, носить на поясе нож... Последнего он желал бы больше всего. Если отец подарит ему дедовский нож, он согласен на все.

— Только бы мне дедушкин нож, отец! — умолял юноша. — Только бы дедушкин нож!

Ради дедушкиного ножа он готов стать священником и, если нужно, жить уединенно, людским подаянием, как отшельники, что ютятся у самого моря, в монастыре Кубельс. При воспоминании о благородном оружии глаза его загорались восхищением, и он вновь и вновь начинал описывать его Фебреру. Чудо! Это был старинный клинок, отточенный и отполированный. Им можно было пробить монету, ну, а в руках дедушки!.. Дедушка вообще был человек необыкновенный. Внуку не довелось его знать, но он говорил о нем всегда с восхищением и представлял его себе человеком, стоящим значительно выше добряка отца, к которому Пепет питал не слишком большое уважение.

Вскоре, подстрекаемый желанием получить нож, юноша дерзнул обратиться за содействием к дону Хайме. Если б тот согласился помочь ему! Достаточно сеньору замолвить словечко, и отец сразу же отдаст ему, Пепету, знаменитое оружие.

Фебрер выслушал просьбу с добродушной усмешкой.

— Будет у тебя нож, мой мальчик. Ну, а если отец не отдаст его, я куплю тебе другой, как только отправлюсь в город.

Уверенность в этом окрылила Капелланчика. Ему непременно нужно иметь оружие, чтобы водиться с мужчинами. Скоро к ним в дом будут приходиться самые отважные атлоты острова. Маргалида ведь уже взрослая девушка и скоро начнется ее фестейж. Атлоты уже обратились к сенью Пепу с просьбой назначить день и час для приема поклонников.

— Маргалида! Вот как! — заметил Фебрер удивленно. — У Маргалиды уже женихи!

То, что ему приходилось не раз видеть во многих домах на острове, казалось почему-то нелепым в Кан-Майорки. Он забыл, что дочь Пепы стала уже взрослой. Неужто в самом деле эта девочка, эта миловидная и изящная куколка, может нравиться мужчинам? Он разделял изумление отца девушки, который в свое время не раз влюблялся, а теперь, став бесчувственным, судил по себе и не мог понять, как это его дочь может нравиться мужчинам.

Неожиданно Маргалида представилась Хайме совсем иной, она как бы изменилась в его глазах и повзрослела. Это превращение как-то больно огорчило его; ему казалось, будто он что-то утратил; но наконец он примирился с действительностью.

— Сколько же их? — спросил он, несколько успокоившись.

Пепет махнул рукой и уставился в потолок башни. В точности он еще сказать не может. По меньшей мере тридцать. Это будет такой фестейж, о котором заговорит весь остров. При этом многие из числа тех, что пожирают Маргалиду глазами, не осмелятся участвовать в сватовстве, заранее признав себя побежденными. На острове мало таких, как его сестра: красивая, живая да еще с хорошим приданым, — сенью Пеп всюду повторяет, что после смерти завещает зятю Кан-Майорки. А сын пусть надевает сутану и отправляется за море, где не видать ему других атлот, кроме индианок. Свинство!

Но негодование его было непродолжительным. Его восхищала мысль, что дважды в неделю к ним в дом будут приходить молодые люди и ухаживать за Маргалидой. Будут приходить даже из Сан Хуана, с другого конца острова, из деревни смельчаков, где обычно рискованно выходить из дому с наступлением темноты, так как всем известно, что за каждым холмом может торчать пистолет, а за каждым деревом — ружье, где любой способен терпеливо выждать минуты расплаты за оскорбление, нанесенное четыре года назад, — короче говоря, с родины страшных «зверей Сан Хуана». С этими молодчиками придут парни и из других кварталов; многим из них придется отмахать не одну милю, чтобы добраться до Кан-Майорки.

Капелланчик радовался при мысли, что ему придется познакомиться с этими дерзкими парнями. Все будут обращаться с ним по-товарищески, — ведь он брат невесты. Но из всех этих предстоящих дружеских связей наиболее лестным для него было знакомство с Пере, прозванным за свое ремесло Кузнецом. Это был мужчина лет тридцати, о котором ходило немало толков в приходе Сан Хосе.

Юноша восхищался этим прекрасным мастером. Когда тот принимался за работу, то делал самые изящные пистолеты, когда-либо известные ивисским поселянам. Пепет перечислял его работы. С Полуострова ему присылали старинные стволы (все старинное внушало атлоту почтение!), и он отделявал их по своему вкусу, покрывая рукоятки причудливой резьбой, выполненной с поистине варварской фантазией, и снабжал их в избытке серебряными украшениями. Сделанное им оружие можно было зарядить до самого дула, не боясь, что оно разорвется.

Но было еще другое, более важное обстоятельство, которое увеличивало восторженное преклонение юноши перед Кузнецом. Он говорил об этом почти шепотом, таинственно и почтительно:

— Кузнец — верро!

Верро!.. Хайме на минуту призадумался, перебирая в памяти все, что ему было известно об обычаях островитян. Выразительный жест Капелланчика помог ему вспомнить, о чем идет речь. Верро — это человек, храбрость которого не нуждается в доказательствах, кто спровадил на тот свет одного, а может быть, даже многих, полагаясь лишь на твердость руки или верность прицела.

Пепет, желая, чтобы его родичи оказались под стать Кузнецу, вновь заговорил о дедушке. Тот был таким же верро, но в старое время люди умели действовать лучше. В Сан Хосе еще до сих пор не забыли, как ловко устраивал дед свои дела: всего лишь один удар знаменитым ножом — и притом так предусмотрительно, что всегда выискивались люди, готовые подтвердить, что видели его на другом конце острова в тот самый час, как его враг прощался с жизнью.

Кузнец не такой удачливый верро. Всего лишь полгода, как он вернулся из тюрьмы на Полуострове, где он провел восемь лет. Его приговорили сначала к четырнадцати годам, но затем последовали некоторые смягчения. Встречали его необычайно торжественно: один из сыновей Сан Хосе возвращается из героического изгнания! Нельзя было отставать от соседних приходов, которые встречали своих верро с большим шумом. Поэтому в день прибытия парохода в гавань Ивисы пришли дальние родственники Кузнеца, составлявшие половину толпы, вторая же половина явилась из чистого патриотизма. Даже алькальд в сопровождении своего секретаря совершил дальний путь, чтобы не утратить симпатий подведомственных ему поселян. Сеньоры из города с негодованием протестовали против диких и безнравственных крестьянских обычаев, но мужчины, женщины и дети буквально осаждали пароход, и каждый стремился первым пожать руку героя.

Пепет припоминал возвращение верро в Сан Хосе. Он тоже участвовал в процессии, образовавшей длинную вереницу повозок, лошадей, ослов и пешеходов, будто переселялась целая деревня. У каждой придорожной таверны шествие останавливалось, и великому человеку подносили кружки вина, сосиски и стаканы фиголы — напитка, настоящего на местных травах. Всех восхищал его новый наряд, походивший на костюм важного сеньора, который он заказал себе по выходе из тюрьмы; люди молча дивились непринужденности его манер и тому виду, с каким он встречал своих друзей, подобно милостивому принцу, с покровительственными жестами и взглядами. Многие завидовали ему. Чему только не научится человек, уехав с родного острова! Стоит лишь постранствовать по свету!.. Бывший кузнец по пути в Сан Хосе приводил всех в смущение и изумление грандиозностью своих воспоминаний. Затем на протяжении нескольких недель в деревенской таверне с наступлением темноты происходили любопытнейшие вечеринки. Слова верро передавались из дома в дом по всем далеко разбросанным дворам квартона, и каждый видел в приключениях земляка нечто почетное для всего прихода.

Кузнец не уставал расхваливать прелести учреждения, в котором он провел восемь лет. Он успел позабыть о перенесенных там неприятностях и огорчениях и видел все лишь в свете того пристрастия к прошлому, которое искажает воспоминания.

Он не жил, подобно многим несчастным, в уголовной тюрьме, затерянной среди равнин Ламанчи, где вода доходит человеку по пояс и где приходится терпеть муки от страшного холода. Он не был в тюрьмах Старой Кастилии, где двор и решетки на окнах белеют от снега. Он вернулся из Валенсии, из уголовной тюрьмы Сан Мигель де лос Рейес — «Ниццы», как ее прозвали за мягкий климат постоянные иждивенцы этих учреждений. Он говорил об этом здании с гордостью, подобно тому как богатый студент вспоминает о годах, проведенных им в английском или немецком университете.

Во дворах росли высокие, дававшие густую тень пальмы, которые покачивали над крышами своими кронами, напоминая перья султанов; за оконными решетками виднелся обширный фруктовый сад с треугольными фронтонами белых домиков, а дальше — огромная голубая лента Средиземного моря, скрывавшего за собой родную Скалу — милый сердцу остров. Быть может, оттуда долетал ветер, напоенный морской солью и запахом растений и проникавший, как некое благословение, в смрадные камеры тюрьмы. Чего еще желать людям? Жизнь там была приятной: ели в определенные часы и всегда горячую пищу; существовал твердый порядок, и человеку оставалось лишь подчиниться и не противиться ему. Завязывались дружеские связи, порой приходилось общаться с видными людьми, которых никогда не узнаешь, оставаясь на острове. Кузнец говорил о своих друзьях с гордостью: некоторые из них были миллионерами и разъезжали в роскошных экипажах по Мадриду, почти что сказочному городу, название которого в ушах островитян звучало, как Багдад для бедного араба-кочевника, слушающего сказки «Тысячи и одной ночи». Другие, до того как несчастье привело их в тюрьму, успели объездить полсвета и теперь, окруженные восхищенными слушателями, повествовали о своих приключениях в землях чернокожих или в странах, где живут желтые и зеленые люди с длинными женскими косами. В этом прежнем монастыре, напомиавшем по величине целую деревню, собирался весь цвет земли. Кое-кто из них в свое время носил шпагу и командовал людьми, иные же имели дело с важными бумагами, скрепленными печатью, и толковали законы. Товарищем Кузнеца по камере был даже один священник.

Почитатели слушали рассказы земляка с широко раскрытыми глазами и ноздрями, трепетавшими от волнения. Какое счастье! Быть верро, добиться известности и почета тем, что ты убил ночью врага, и за это провести восемь лет в «Ницце», восхитительном и почетном месте! Нет, не иметь им такой завидной судьбы!

Капелланчик, наслушавшись этих рассказов, испытывал к верро чувство восторженного почтения. Он описывал присущие Кузнецу особенности с многоречивостью человека,

влюбленного в героя.

Тот не был таким высоким и сильным, как сеньор: он, должно быть, на добрые полголовы ниже дон Хайме. Но зато он ловкий, в пляске нет ему равных, а танцевать он может целыми часами, покоря всех девушек своего прихода. От долгого пребывания в «Ницце» цвет лица его вначале был бледным, а кожа блестела, как у монастырской затворницы; но теперь он снова стал смуглым, как другие, и под влиянием морского воздуха и палящего солнца приобрел бронзовый загар. Он жил на горе, в небольшой хижине, стоявшей у самой сосновой рощи, по соседству с угольщиками, которые доставляли топливо для его кузницы. Она топилась, правда, не каждый день. Кузнец со своими замашками художника работал только в тех случаях, когда требовалось починить ружье, переделать старый кремневый мушкет на пистонный или отделать серебром пистолеты, приводившие Капелланчика в такой восторг.

Юноша хотел, чтобы верро оказался избранником его сестры, чтобы он, такой исключительно способный человек, вошел в их семью. Кто знает, может быть на правах близкого родственника он подарит ему одну из этих драгоценных вещей.

— Что, если Маргалида его полюбит и Кузнец даст мне один из своих пистолетов? Как вы полагаете, дон Хайме?

Он отстаивал интересы верро так, как будто уже находился с ним в родстве. Бедняге жилось так плохо! Один-одинешенек в своей кузнице, если не считать старушки родственницы, одетой всегда во все черное, в знак давнишнего траура. Один глаз у нее слезится, а другой — слепой. Когда племянник ковал раскаленное железо, она раздувала мехи. От постоянного соседства с горном ее тощая и костлявая фигура усыхала с каждым днем. На старческом лице, сморщенном как печеное яблоко, глазные впадины, казалось, постепенно исчезали.

Присутствие Маргалиды украсило бы мрачную и прокопченную лачугу, стоявшую среди сосен. Сейчас ее единственным украшением были цветные камышовые корзиночки, сплетенные наподобие шахматной доски, с шелковыми помпонами, полученные в качестве дружеского подарка от неизвестных художников, коротавших свой досуг в камерах «Ниццы». Когда его сестра будет жить в кузнице, Пепет станет ее навещать и авось со временем получит в подарок от своего шурина такой же славный нож, как дедушкин, если только сеньор Пеп лишит его этого почтенного наследства, по-прежнему упорствуя в своей несправедливости.

Казалось, воспоминание об отце омрачало надежды юноши. Он предчувствовал, что хозяин Кан-Майорки вряд ли согласится иметь своим зятем Пере Кузнеца. Старик, правда, не мог сказать о нем ничего дурного и почитал ходившую о нем лестную молву честью для родной деревни: «звери Сан Хуана» были не единственными храбрецами на острове, Сан Хосе тоже мог гордиться отважными молодцами, выдержавшими не одно трудное испытание. Но Кузнец ведь ремесленник и мало что смыслит в земледелии. При всем том, что ивятияне проявляли одинаковую склонность к различным делам — обрабатывали землю, забрасывали сети в море, перегружали контрабанду или занимались другим мелким промыслом, легко переходя от одной работы к другой, он желал для своей дочери настоящего хлебопашца, привыкшего всю свою жизнь бороздить поле. Это желание было у него непоколебимым. Когда в его грубом и тупом мозгу возникала какая-нибудь мысль, она пускала такие глубокие корни, что никакие ураганы или иные стихийные силы не могли ее оттуда вырвать. Пепет станет священником и будет странствовать по свету. Маргалида же предназначена для земледельца, который приумножит доставшиеся ему в наследство земли Кан-Майорки.

Капелланчик волновался, размышляя над тем, кто же окажется избранником Маргалиды. Наличие такого соперника, как Кузнец, заставляло задуматься любого атлота. Если бы даже сестра оказала предпочтение другому, счастливцу пришлось бы тотчас столкнуться с храбрецом Пере и убрать его с дороги. Будут еще большие дела! О сватовстве Маргалиды

говорят уже во всех домах квартона; молва о нем разнесется по всему острову. И Пепет втайне улыбался с жестокой радостью, как маленький дикарь, предвкушающий убийство.

Он восторгался Маргалидой, признавая за ней большее влияние, чем за отцом, потому что оно было основано не на страхе перед боями. Она вершила всем в доме, и все ей подчинялось. Мать ходила за ней по пятам и не смела ничего сделать, не посоветовавшись с ней. Сеньор Пеп, столь независимый в своих намерениях, задумывался, прежде чем принять решение, и, потирая себе лоб, бормотал: «Тут надо посоветоваться с атлотой...» Да и сам Капелланчик, который унаследовал отцовское упрямство, легко отказывался от своих настойчивых протестов при одном слове сестры, движении ее улыбающихся губ, мягком звуке ее голоса.

— Чего только она не знает, дон Хайме! — говорил юноша в восхищении. — Не знаю, красива ли она. Здесь все это утверждают, но она не в моем вкусе. Мне больше по душе другие, мои одногодки. Жаль, что к ним еще нельзя свататься!

И, снова заговорив о сестре, он перечислял ее таланты, подчеркивая с особым уважением ее умение петь.

Знает ли дон Хайме Певца, атлота со слабой грудью, который, не работает и по целым дням лежит в тени деревьев, стуча по тамбурину и бормоча стихи? Это белый ягненок, настоящая курица, с глазами и кожей, как у женщины, не способный никого, обидеть. И он ухаживает за Маргалидой, но Капелланчик готов поклясться, что скорее разобьет тамбурин о его голову, чем признает его своим зятем. Он, Пепет, может породниться только с героем. Но по части сочинения песен и умения распевать их с жалобными павлиньими выкриками у Певца нет равных. Нужно быть справедливым, и Пепет признает его заслуги. Его слава в квартоне может сравниться разве только со славой храброго Кузнеца. Так вот Маргалида состязалась с этим Певцом на летних вечерниках, во дворе хутора или на воскресных танцах; раскрасневшаяся, подталкиваемая подругами, она садилась иногда в центре круга и, положив на колени тамбурин и завязав глаза платком, отвечала на ранее спетую поэтом песню длинным романсом собственного сочинения. Стоило Певцу в какое-нибудь воскресенье разразиться песней, обличающей женскую лживость или говорящей о том, во что обходится мужчинам их пристрастие к тряпкам, как в следующее воскресенье Маргалида отвечала ему романсом в два раза длиннее, в котором высмеивались самовлюбленность и тщеславие мужчин. Толпа девушек хором подхватывала ее стихи и, восторженно повизгивая, признавала за подругой из Кан-Майорки славу победительницы.

— Пепет! Атлот!

Издали донесся звонкий, как колокольчик, женский голос, нарушая глубокую тишину раннего вечера, наполненного трепетом тепла и света.

Повторяясь, этот зов звучал все громче и громче, как бы приближаясь к башне.

Пепет расстался со своей позой отдыхающего зверька, разжал руки, которыми он, словно кольцом, стягивал свои колени, и одним прыжком вскочил на ноги. Его зовет Маргалида. Он, должно быть, понадобился отцу для какой-нибудь работы, и тот послал за ним, видя, что он задержался.

Сеньор удержал его за руку.

— Пусть она придет сама, — сказал он с улыбкой. — Притворись глухим, пусть покричит еще.

Капелланчик улыбнулся, обнажив свои зубы, казавшиеся ослепительными на темном фоне загорелого лица. Проказник лукаво улыбнулся, радуясь соучастию в этом невинном заговоре;



решив воспользоваться им, он заговорил с доном Хайме тоном смелой доверчивости. Правда, сеньор попросит для него у отца дедушкин нож?.. Ах, кинжал дедушки ни на минуту не выходит у него из головы.

— Да, да. Ты получишь его, — сказал Хайме. — А если отец, тебе его не отдаст, то я куплю тебе самый лучший, какой только найдется на Ивисе,

— Только для того, чтобы ты стал мужчиной наравне с другими, — продолжал Фебрер. — Но не пускать его в ход! Пусть будет только простым украшением!..

Пепет желал осуществить свою заветную мечту как можно скорее, поддакивал, энергично кивая головой. Да, только простым украшением... Но взор его затуманился жестоким сомнением... Украшением!.. Но если кто-нибудь заденет его, когда он будет идти с этим другом? Что тогда должен сделать мужчина?

— Пепет! Атлот!..

Серебристый голосок зазвучал еще и еще раз у самого подножия башни. Фебрер надеялся услышать его рядом, увидеть сквозь входную дверь голову Маргалиды, а затем и всю ее фигуру. Но он выжидал напрасно; голос становился все настойчивее и слегка дрожал от нетерпения.

Фебрер выглянул из двери и увидел девушку, которая стояла внизу, у лестницы, и казалась на расстоянии совсем небольшой; на ней была пышная синяя юбка и соломенная шляпа с ниспадающими цветными лентами. Под широкими полями шляпы, походившими на ореол, выделялось ее лицо цвета бледной розы, на котором трепетали глаза, подобные черным каплям.

— Здравствуй, Цветок миндаля! — сказал Фебрер с улыбкой, но не совсем твердым голосом.

Цветок миндаля!.. Как только девушка услышала это имя из уст сеньора, густой румянец мгновенно залил нежную бледность ее лица.

Дон Хайме уже знает, как ее зовут? Такой важный сеньор и повторяет такие глупости!

Теперь Фебреру были видны лишь верх и поля ее шляпы. Маргалида опустила голову и смущенно играла кончиком передника, застыдившись, как девочка, которая впервые осознала свой пол и услышала первый комплимент.

### III

В следующее воскресенье Фебрер отправился с утра в деревню. Дядюшка Вентолера, считая необходимым присутствовать на обедне и визгливыми возгласами отвечать на слова священника, не мог выйти вместе с ним в море.

От нечего делать Хайме пошел в деревню пешком по тропинкам из красной глины, пачкавшей его белые альпартаты. Был один из дней позднего лета. Блестевшие белизной сельские домики, казалось, отражали, как зеркало, зной африканского солнца. Вокруг жужжали рои насекомых. В зеленоватой тени раскидистых, низких и круглых фиговых деревьев, обнесенных подпорками и напоминавших естественные беседки, падали лопнувшие от жары винные ягоды, устилая землю словно огромными сахарными каплями пурпурного цвета. По обеим сторонам дороги высились шпалерами колючие лопасти индийских смоковниц; между их запыленными корнями сновали взад и вперед маленькие и

пугливые, опьяневшие от солнца гибкие ящерицы с изумрудными спинками и длинными хвостами.

Сквозь темную и искривленную колоннаду оливковых и миндальных деревьев вдали, на других тропинках, видны были группы крестьян, тоже державших путь в деревню. Впереди шли по-праздничному разодетые девушки в красных или белых платках и зеленых юбках, сверкавшие на солнце массивными золотыми цепями. Бок о бок с ними шагали их поклонники, образуя неотвязчивый и хмурый эскорт: иногда одну из девушек окружало сразу несколько мужчин, оспаривавших другу друга благосклонный взгляд или приветливое слово. Шествие замыкали родители девушек, рано состарившиеся от тяжелого труда и суровой, деревенской жизни, бедные вьючные животные, безропотно покорные, с почерневшей кожей и руками, высохшими, как виноградные лозы; в их сонном мозгу сохранилось еще воспоминание о годах фестейжа, как о смутной и далекой весне.

Дойдя до деревни, Фебрер отправился прямо в церковь. Поселок состоял из шести — восьми хижин, дома алькальда, школы и таверны, столпившихся вокруг храма, который возвышался гордо и величественно, как бы связывая воедино все хутора, разбросанные, по горам и долинам на несколько километров вокруг.

Сняв шляпу, Хайме вытер пот со лба и укрылся под сводами небольшого крытого придела, ведущего в церковь. Здесь он испытал блаженное ощущение араба, находящего приют у жилья одинокого отшельника после перехода через раскаленные, как горн, пески. Церковь, побеленная известью, с прохладными сводами и выступами из песчаника, окруженная смоковницами, напоминала африканскую мечеть. Она походила скорее на крепость, чем на храм. Ее крыши прятались за высокими стенами, как за своеобразным редутом, откуда не раз выглядывали прежде ружья и мушкеты. Колокольня была боевой башней, все еще увенчанной зубцами; ее старый колокол раскачивался в свое время, звуча дробью набата.

Эта церковь, где крестьяне квартона вступали в жизнь с крестинами, а уходили из нее с зауспокойной мессой, была в течение веков их убежищем в дни страха, их крепостью в часы сопротивления. Когда береговые стражники сигналами или столбами дыма сообщали о подходе мавританского судна, из всех домиков прихода к храму, бежали целые семьи: мужчины несли ружья, женщины и дети гнали коз и ослов или тащили на спине домашних птиц со связанными ногами. Дом божий превращался в хлев, где хранилось имущество верующих. В углу священник молился с женщинами, и слова молитв прерывались тревожными криками и детским плачем; на крышах же и на башне стрелки наблюдали за горизонтом, пока не приходило известие об уходе морских хищников. Тогда снова начиналась нормальная жизнь, и каждая семья возвращалась под свой одинокий кров, уверенная в необходимости повторить тревожное путешествие через несколько недель.

Фебрер стоял под сводами придела и смотрел, как подбегали группами крестьяне, подгоняемые звоном колокола, звучавшего с башни. Церковь была почти полна. Через полуоткрытую дверь к Хайме доносилась струя тяжелого воздуха, в котором смешивались разгоряченное дыхание, запах пота и грубой одежды. Он испытывал известную симпатию к этим добродушным людям, когда встречался с каждым из них в отдельности, но толпа внушала ему отвращение и заставляла держаться вдалеке от нее.

Каждое воскресенье он спускался в деревню и оставался у дверей церкви, не входя в нее. Обычное одиночество в башне на берегу заставляло его искать общения с людьми. Кроме того, воскресенье для него, человека праздного, превращалось в однообразный, скучный и бесконечный день. Отдых других был для него мучением. Из-за отсутствия лодочника он не мог выйти на шлюпке в море, а опустевшие поля и запертые хижины — все жители были в церкви или на вечерних танцах — производили на него гнетущее впечатление, как прогулка по кладбищу. Утро он проводил в Сан Хосе, и одним из его развлечений было стоять в церковном приделе и смотреть на входящих и выходящих людей, наслаждаясь прохладой в

тени сводов, меж тем как в нескольких шагах от него земля, отражая раскаленные солнечные лучи, буквально горела, деревья медленно покачивали ветвями, словно изнемогая от зноя и пыли, покрывавшей их листья, а густой воздух, казалось, нужно было жевать, для того чтобы он мог пройти в легкие.

Время от времени появлялись опоздавшие семьи; проходя мимо Фебрера, они бросали на него любопытный взгляд и слегка ему кланялись. В квартоне все его знали. Эти добрые люди, увидав его в поле, могли распахнуть перед ним двери своих домов. Но их радушие не шло дальше этого, ибо они, казалось, были не в состоянии подойти к нему сами. Он чужеземец, к тому же — майоркинец. Его положение сеньора внушало сельскому люду скрытое недоверие: крестьяне не могли понять, почему он одиноко живет в башне.

Фебрер остался один. До его слуха долетал звук колокольчика, шум толпы, которая то вставала на колени, то поднималась, и знакомый голос, голос дядюшки Вентолера, выкрикивавшего нараспев своим беззубым ртом ответы священнику по ходу богослужения». Люди не смеялись над этим проявлением старческого слабоумия. Они уже привыкли из года в год слушать латинские возгласы бывшего моряка, вторившего со своей скамьи ответам служки. Все придавали этим несуразным причудам оттенок набожности, подобно тому как жители Востока видят в помешательстве признак святости.

Стоя на паперти, Хайме для развлечения курил. Над сводами портика вилось несколько голубей, нарушая своим воркованием наступавшую временами глубокую тишину. Три сигарных окурка уже валялись у ног Фебрера, когда внутри церкви послышался протяжный рокот, как будто тысячи сдерживаемых дыханий нашли себе выход во вздохе облегчения. Затем донеслись шум шагов, заглушенные приветствия, стук отодвигаемых стульев, скрип скамеек, шарканье ног — и дверь мгновенно оказалась забитой людьми, которые пытались выйти все сразу.

Верующие потянулись вереницей, здороваясь друг с другом, словно встретились впервые здесь, на солнце, а не в сумраке храма.

— Добрый день!.. Добрый день!..

Женщины выходили группами: старухи, одетые в черное, распространяли вокруг себя запах бесчисленных нижних и верхних юбок; молодые, затянутые в узкие корсеты, которые сдавливали им грудь и скрадывали смелые линии бедер, с заметной гордостью выставляли напоказ, на фоне цветных платков, золотые Цепи и огромные распятия. Это были смуглые девушки, порой с оливковым оттенком лица, с большими глазами, полными драматизма, с медным цветом кожи и блестящими, напомаженными волосами, расчесанными на пробор, который от грубого гребня становился с каждым днем все шире и шире.

Мужчины ненадолго останавливались у выхода, чтобы надеть на стриженую голову с длинным вихром спереди платок, который они носили под шляпой, на манер женщин. Он заменял им капюшон старинной местной мантии, надевавшейся лишь в исключительных случаях.

Затем старики вытаскивали из-за пояса самодельные трубки и набивали их табаком из поты — травы, произрастающей на острове и обладавшей пряным ароматом. Юноши держались подальше от старших. Они выходили на паперть, заложив руки за пояс и запрокинув голову, принимали гордые позы перед женщинами, среди которых находились их избранницы-атлоты, притворявшиеся равнодушными и в то же время посматривавшие исподтишка на молодых людей.

Мало-помалу толпа расходилась.

— До свиданья!.. До свиданья!..

Многие из них не встретятся до следующего воскресенья. На всех тропинках виднелись удаляющиеся пестрые группы: одни в темной одежде, без провожатых, шли медленно, словно влачили на своих плечах непосильное бремя старости; другие — шумные, в беспокойно трепещущих на ветру юбках и развевающихся платках, — за ними толпой бежали атлоты, стараясь криками и взрывами смеха напомнить девушкам о своем присутствии.

В церкви все еще оставался народ. Фебрер увидел, как вышли несколько женщин в черном, печальные, закутанные с ног до головы; из-под плаща у них выглядывали только покрасневший от солнца нос и воспаленные глаза, затуманенные слезами. На каждой из них был абригайс — зимняя шаль, традиционная накидка из толстой шерсти; это одеяние производило впечатление чего-то мучительного и удушливого на фоне знойного летнего утра. Позади них шли, тоже закутанные, старые крестьяне, накинув на себя праздничные грубошерстные мантии коричневого цвета с широкими рукавами и узкими капюшонами. Мантии были наброшены на плечи, но капюшоны были плотно застегнуты у подбородка и из-под них глядели обветренные физиономии, напоминавшие лица пиратов.

Это были родственники крестьянина, умершего неделю тому назад. Обширная семья, жившая в отдаленных друг от друга уголках квартона, собралась, по обычаю, на воскресную мессу для поминовения усопшего и, встретившись, предавалась своему горю с африканской страстностью, как будто перед глазами все еще лежало мертвое тело. Обычай требовал, чтобы в этом случае одевались торжественно, по-зимнему, прячась в парадные одежды, как в своеобразную скорлупу, таившую их горе. Все плакали и потели под облежавшими их нарядами, и каждый, узнавая родичей, которых не видал уже несколько дней, испытывал новый взрыв острого отчаяния. Из-под суровых плащей слышались мучительные вздохи. Грубые лица, обрамленные капюшонами, искажались по-детски горестными гримасами, и стоны их походили на плач больного ребенка. Горе лилось непрерывным потоком, и слезы смешивались с потом. У всех под носом (единственной видимой частью лица этих скорбных призраков) висели капли, падавшие на складки толстого сукна.

Среди шума женских голосов, завывавших грубо и мучительно, и мужских стонов, порой пронзительных от горя, один из мужчин заговорил добродушно, но властно, требуя тишины. Это был Пеп из Кан-Майорки, дальний родственник покойного; на этом острове все были в той или иной мере связаны кровными узами. Хотя отдаленное родство и побудило его разделить общее горе, оно не заставило его, однако, надеть парадную мантию. Он был во всем черном, с накинутым поверх легким шерстяным плащом, и в круглой фетровой шляпе, что делало его похожим на священника. Его жена и Маргалида, которые не считали себя в родстве с этой семьей, держались в стороне, словно их разделяла разница между яркими воскресными платьями и мрачными одеждами остальных.

Добродушный Пеп делал вид, что его раздражают крайние приступы отчаяния этих одетых в траур людей, приступы, обострявшиеся с каждой минутой. Довольно, хватит! Пусть всяк идет домой, живет долгие годы, а покойника препоручим господу богу!

Под плащами и капюшонами рыдания усиливались. Прощайте! Прощайте! Люди обменивались рукопожатиями, целовали друг друга в губы, обнимались до боли в плечах, словно расставались навсегда. Прощайте! Прощайте! Затем они стали расходиться группами, каждый в свою сторону — к горам, покрытым сосновым лесом, к хуторам, белеющим вдалеке и наполовину скрытым за фиговыми и миндальными деревьями, к прибрежным красноватым скалам.

Нелепо, несуразно выглядели этим знойным утром среди тучных зеленых полей массивные потные, почти фантастические фигуры безутешных плакальщиков.

Возвращение в Кан-Майорки было печальным и молчаливым. Шествие открывал Пепет, держа в губах свой бимбау и наигрывая на нем мелодию, напоминавшую гудение шмеля.

Порой он останавливался и швырял камнями в птиц или в пузатых черных ящериц, мелькавших между смоковницами. Да разве смерть может на него подействовать?! Маргалида шла рядом с матерью, молча, с рассеянным видом и широко раскрытыми глазами, какие бывают у красивой телки, смотря по сторонам и, вместе с тем, ничего не видя и ни о чем не думая. Она, казалось, не замечала, что за ней шел дон Хайме, сеньор, почтенный обитатель башни.

Пеп, тоже впавший в рассеянность и поглощенный собственными размышлениями, то и дело обращался к дону Хайме, словно ему хотелось с кем-нибудь поделиться своими думами.

Смерть! Какая это скверная штука, дон Хайме! Вот все они тут, на клочке земли, окруженном волнами, не могут ни убежать, ни защититься, а должны только ждать минуты, когда ей вздумается схватить их своей когтистой лапой! Крестьянин чувствовал, что его эгоизм восстает против этой ужасной несправедливости. Пусть хотя бы смерть свирепствует там, на Полуострове, где люди счастливы и живут в свое удовольствие!.. Но здесь? Даже здесь, на краю света?.. Неужто нет ни пределов, ни исключений для этой назойливой гостьи? Думать, что существуют преграды, бесполезно. Пусть бушует море между грядами островков и скал, которые тянутся от Ивисы до Форментеры! Пусть клопочут волны в проливах, пусть утесы покрываются пеной, суровые моряки отступят побежденными, суда укроются в гавани, дорога закроется для всех и острова будут отрезаны от прочего мира, — все это ничего не значит для непобедимой мореплавательницы с лысым черепом, для путницы с костлявыми ногами, которая перемахивает гигантскими шагами через горы и моря!

Никакая буря ее не остановит, ни одна радость не заставит ее забыть. Она — повсюду и помнит обо всех. Пусть светит солнце, пусть красуются поля, пусть обилен урожай! Все это лишь обман, созданный, чтобы поддержать человека в его тяжких трудах и сделать их менее обременительными. Лживые посулы для детей, чтобы те добровольно подчинились мучительной школьной муштре! И нужно поддаться обману! Ложь хороша: не нужно помнить об этом неизбежном зле, об этой последней и неотвратимой опасности, которая омрачает жизнь, лишая хлеб его вкуса, вино-его природной игры, белый сыр — его остроты, спелые фиги — сладости и колбасу — ее соли и пряности, делая дурным и горьким все то хорошее, что господь бог послал на остров в утешение добрым людям... Ах, дон Хайме, какая жалость!

Фебрер остался обедать в Кан-Майорки, чтобы не заставлять детей Пепу подниматься в башню. Обед начался довольно грустно, как будто в ушах еще звучали горестные причитания закутанных в плащи людей под портиками церкви. Но мало-помалу вокруг низкого стола с большой кастрюлей риса стало веселее. Капелланчик, позабыв о своей жизни семинариста, заговорил о предстоящих вечером танцах и осмелел даже до того, что смотрел Пепу прямо в глаза. Маргалида вспоминала о том, какие взгляды бросал на нее Певец и какую надменную осанку принял. Кузнец, когда она проходила в церковь мимо атлетов. Мать вздыхала:

— О господи!.. О господи!

Кроме этих слов, она никогда ничего не говорила и всегда сопровождала этим восклицанием свои смутные радости и печали, обращенные к богу.

Пеп успел уже отхлебнуть несколько глотков из кувшина, наполненного розоватым соком тех самых виноградных лоз, гроздьях которых, образуя шатер, нависли над крыльцом. На его лимонно-желтом лице появилась, как отсвет зари, веселая краска. К черту смерть и все страхи перед ней! Неужто честному человеку так и дрожать всю жизнь, ожидая ее?.. Может являться когда угодно! А пока что — надо жить!.. И он проявил эту волю к жизни, заснув на скамейке с громким храпом, который, однако, ничуть не тревожил мух и ос, кружившихся вокруг его губ.

Фебрер отправился домой, в башню. Маргалида и ее брат едва взглянули на него. Они

вышли из-за стола и заговорили о вечерних танцах уже более оживленно и весело, как дети, которых еще недавно смущало присутствие важного лица.

В башне Хайме растянулся на своем тюфяке и хотел было заснуть. Один! Он отчетливо ощущал свое одиночество в кругу людей, уважавших, быть может даже любивших его, но в то же время чувствовавших непреодолимое влечение к немудрым забавам, которые ему казались пошлыми. Какая это пытка воскресные дни! Куда пойти, чем заняться?

Желая как-нибудь скоротать мучительно тянувшееся время, уйти хоть ненадолго от бесцельной жизни, он в конце концов заснул и проснулся лишь к вечеру, когда солнце начинало медленно садиться за линией островков, залитых потоками бледного золота, которые, казалось, придавали морской синеве более темный и глубокий оттенок.

Спустившись в Кан-Майорки, он обнаружил, что дом заперт. Никого! Его шаги не вызвали даже лая собаки, всегда лежавшей под навесом. Бдительный пес тоже отправился на праздник вместе со всем семейством.

«Все на танцах, — подумал Фебрер. — А что, если и я отправлюсь в деревню?..»

Он долго находился в нерешительности. Что ему там делать?.. Ему претили развлечения, участие в которых его, чужого человека, могло неприятно стеснить крестьян. Эти люди предпочитали встречаться без посторонних. Неужели он, в его возрасте и с присущим ему недовольным видом, способным внушить лишь холодное почтение, сможет танцевать с атлотой? Придется быть все время с Пепом и другими его приятелями, вдыхать запах дешевого табака, говорить о миндале и о том, как бы он не померз, стараясь приспособиться к умственным интересам этих людей.

Наконец он решил отправиться в деревню: его пугало одиночество. Уж лучше слушать медленную, однообразную беседу простых людей, беседу, освежающую, как он говорил, не заставляющую думать и погружающую мысль в состояние сладостного животного покоя, чем оставаться одному до конца вечера.

Подойдя к Сан Хосе, он увидел испанский флаг, развевавшийся над домом алькальда, и до его слуха донеслись удары тамбурина, буколические переливы флейты и звяканье кастаньет.

Танцы происходили перед церковью. Молодежь толпилась возле музыкантов, сидевших на низеньких стульях. Тамбуририст, поддерживая коленом свой круглый инструмент, ударял в такт по натянутой коже, а его сосед посвистывал на длинной деревянной флейте с грубой резьбой, сделанной простым ножом. Капелланчик позвякивал кастаньетами, похожими на огромные раковины, добываемые дядюшкой Вентолера.

Девушки, крепко обнявшись за талию или прислонившись к плечу подружки, хранили добродетельный вид и бросали на парней враждебные взгляды; а те прохаживались, рисуясь, посреди площади, заложив руки за пояс, сдвинув на затылок широкие касторовые шляпы, чтобы видны были кудри на лбу; на шее у них красовались расшитые платочки или тонкие галстуки; ноги были обуты в безукоризненно белые альпаргаты, почти закрытые растробом плисовых панталон, имевших форму слоновой ноги.

С одной стороны площади сидели на пригорке или на стульях из ближайшей таверны замужние и старухи; первые были анемичные и грустные не по летам женщины, измученные частыми родами и тяжелой деревенской жизнью, со впалыми глазами, окруженными синевой, которые, казалось; говорили о душевных тревогах; на груди у них блестели золотые цепи, напоминавшие о юной поре, а на рукавах — золотые пуговицы. Меднолицые морщинистые старухи в темных платьях жалобно вздыхали, глядя на веселящуюся молодежь.

Фебрер, насмотревшись на этих людей, едва удостоивших его рассеянным взглядом, подсел к Пепу и окружавшим его старикам крестьянам. Они молча и почтительно уступили место сеньору из башни, а затем, затаившись и выпустив клубы дыма из трубок, набитых потой, возобновили неторопливую беседу о возможной суровости предстоящей зимы и о судьбе будущего урожая миндаля.

По-прежнему стучал тамбурин, звучала флейта, трещали огромные кастаньеты, но ни одна пара не выбегала на середину площади. Атлоты как будто нерешительно переговаривались друг с другом, словно каждый боялся оказаться первым. К тому же неожиданное появление майоркинского сеньора слегка смущало стыдливых девушек.

Хайме почувствовал, что его осторожно берут за локоть. Это был Капелланчик, который таинственно шептал ему что-то на ухо и одновременно указывал на кого-то пальцем. Вон там стоит Пере Кузнец, прославленный верро. И он кивнул в сторону невысокого парня, державшегося, тем не менее, надменно и задорно. Атлоты обступили героя. Певец обращался к нему с улыбкой, а тот слушал его с покровительственной важностью, время от времени сплевывая сквозь зубы и сам удивляясь тому, как далеко ему удастся плюнуть.

Вдруг Капелланчик выскочил на середину площади, размахивая шляпой. Неужто весь вечер слушать флейту и не танцевать? Он подбежал к группе девушек и, схватив самую высокую, крикнул ей: «Ты!..» Для приглашения этого было достаточно. Чем грубее было рукопожатие, тем оно казалось нежнее и достойнее благодарности.

Задорный юноша стал против своей партнерши, надменной и некрасивой девицы, почти на голову выше его ростом, с грубыми руками, маслянистыми волосами и черным лицом. Обращаясь к музыкантам, Пепет заявил: ему не надо льярги, он хочет танцевать курту. Льярга, с более медленным, и курта, с более быстрым темпом, были единственными танцами на острове. Фебреру так и не удалось их различить: это была лишь простая смена ритма, а музыка и танец, казалось, были все время одинаковы.

Девушка, упершись одной рукой в бок, а другую свободно опустив вдоль широкой юбки, стала кружиться, перебирая ногами, обутыми в белые альпаргаты. Больше ей ничего и не надо было делать: в этом заключался весь танец. Она опускала глаза, поджимала губы, как полагалось, с добродетельно-презрительным видом, словно танцевала против своей воли, и все кружилась и кружилась, описывая большие восьмерки. Танцором, в сущности, был мужчина. В этом традиционном танце, изобретенном, несомненно, первыми обитателями острова, грубыми пиратами героической эпохи, оживала вечная история человечества — погоня и охота за женщиной-самкой. Она, холодная и бесчувственная, кружилась с надменным видом первобытной добродетели, как некое бесполое существо, избегая прыжков и судорожных движений партнера, презрительно поворачиваясь к нему спиной. Его же трудная обязанность состояла в том, чтобы быть постоянно у нее на глазах, загораживать ей дорогу, выбегать навстречу, чтобы она его видела и любовалась им. Танцор все время прыгал, не соблюдая никаких правил и подчиняясь лишь музыкальному ритму, неумолимо и упруго отскакивая от земли. То он широко разводил руки с угрожающим жестом повелителя, то закидывал их за спину, высоко подбрасывая ноги.

Это походило не на танец, а скорее на гимнастическое упражнение, на акробатический бред, на исступленные движения, свойственные воинственным пляскам африканских племен. Женщина не потела и не краснела; она холодно продолжала кружиться, не убыстряя шага, а ее кавалер, увлеченный стремительным вихрем, задыхался и, с побагровевшим лицом, дрожа от усталости, отступал через несколько минут. Любая атлота могла танцевать без малейшего усилия с несколькими мужчинами, доводя их до изнеможения. Это было торжеством женской пассивности, которая смотрит с улыбкой на дерзкое хвастовство сильного пола, зная наперед, что тот в конце концов будет посрамлен.

Выход в круг первой пары, казалось, увлек и остальных. В одну минуту все пространство перед музыкантами заполнилось тяжелыми юбками, под плотными и многочисленными кольцами которых мелькали маленькие ножки в белых альпартгатах или желтых туфельках. Широкие раструбы панталон болтались в разные стороны при быстрых прыжках и усиленном топоте, поднимавшем тучи пыли. Мужские руки галантным рывком выхватывали атлоту из толпы подруг: «Ты!» Вслед за этим односложным выкриком девушку победоносно тащили за собой и подталкивали в знак кратковременного господства над ней, оказывая ей свое предпочтение крайне грубым и первобытным образом, в соответствии с галантностью, унаследованной от далеких предков, живших в ту эпоху, когда палка, камень и рукопашная схватка служили первым объяснением в любви.

Некоторые юноши, видя, что в выборе дам их опередили другие, более смелые, остановились подле круга танцующих и зорко следили за товарищами, чтобы в нужную минуту заменить их. Когда они видели, что танцор багровеет, обливается потом, выбивается из сил и не может продолжать пляску, они подходили к нему, тянули за рукав и отводили в сторону, бросив коротко: «Оставь ее!» Место его тотчас же занималось без разговоров, прыжки и погоня за женщиной возобновлялись со свежими силами, причем партнерша, казалось, не в разгаре танцев Хайме впервые заметил Марталиду, которая до сих пор скрывалась в толпе подруг.

Прекрасный Цветок миндаля! Фебрер находил ее теперь еще красивее по сравнению с ее приятельницами, смуглыми и загорелыми от работ на солнцепеке. Ее белая кожа, бархатистая как цветок, блестящие глаза, подернутые влагой, как у кроткого зверька, стройная фигура и, наконец, нежные руки выделяли ее, словно представительницу иной расы, из группы ее черномазых подруг, пленительных своей молодостью, резвых и веселых, но лишенных изящества.

Смотря на нее, Хайме думал, что эта девушка в другой обстановке могла бы быть очаровательным существом. Он считал себя сведущим в этом вопросе. В Цветке миндаля он угадывал множество прелестных качеств, о которых она сама и не подозревала. Как жаль, что она родилась на этом острове и не расстанется с ним! И красота ее достанется кому-нибудь из этих грубиянов, смотрящих на нее собачьими глазами! Быть может, тому же Кузнецу, проклятому верро, взиравшему на всех с каким-то мрачным покровительством.

Когда эта красавица выйдет замуж, она будет, как и другие, обрабатывать землю; ее нежная белизна увянет, пожелтеет; руки огрубеют и почернеют; в конце концов она станет похожа на свою мать и на всех старых крестьянок, превратится в скелет, искривленный и узловатый, как ствол оливкового дерева. Фебрера огорчали эти мысли, как огорчает ощущение большой несправедливости. Откуда мог появиться этот нежный молодой росток у простака Пэпа, стоявшего тут же рядом? По какому непостижимому сочетанию крови могла родиться Маргалида в Кан-Майорки? И неужто этот таинственный благоуханный цветок, возросший на местной почве, засохнет так же, как грубые побеги, появившиеся рядом с ним?

Нечто необычное отвлекло Фебрера от его размышлений. По-прежнему звучала флейта, стучали тамбурины и кастаньеты, прыгали танцоры, кружились танцорки, но в глазах у всех заблестел понимающий взгляд — готовность к тревоге и совместной обороне. Старики прекратили беседу и смотрели в сторону женщин. «Что такое? Что такое?» Капелланчик бегал между парами и что-то шептал на ухо танцорам. Те выходили из круга, заложив руки за пояс, исчезали на несколько мгновений и затем сразу же возвращались на свое место, между тем как девушки продолжали кружиться. Пеп слегка улыбнулся, догадываясь о Появилась опасность, и юноши прятали в надежное место свои «вещички».

«Вещичками» были пистолеты и ножи, которые молодежь носила в знак своего гражданского достоинства. Несколько минут Фебрер наблюдал за появлением самых изумительных и страшных предметов вооружения, тщательно спрятанных под одеждой этих сухощавых и



стройных юношей.

Старухи требовали оружие себе, протягивая к нему свои костлявые руки, с тем чтобы разделить риск, и в глазах у них сверкал неукротимый воинственный пыл. Проклятые, нечестивые времена настали нынче, когда людям мешают жить и посягают на старинные обычаи!

— Сюда давай! Сюда! — И, схватив смертоносные безделушки, они прятали их под ворохом своих бесчисленных верхних и нижних юбок. Молодые матери усаживались поудобнее и раздвигали толстые ноги, чтобы можно было припрятать больше оружия. Все женщины посматривали друг на друга с воинственной решимостью. Пусть приходят эти негодяи. Они скорее дадут себя растерзать, чем сдвинутся с места!

Фебрер увидел, как что-то заблестело на дороге, ведущей к церкви. Это были ремни и ружья, а над ними белые верхушки треуголок двух солдат гражданской гвардии.

Оба блюстителя порядка, несомненно убежденные в том, что их узнали издали и что поэтому они опоздали, приближались медленно и несколько уныло. Хайме был единственным человеком, который на них смотрел: остальные, опустив голову или отвернувшись, притворялись, что не видят их. Музыканты удвоили свою энергию, но танцующие уже расходились. Девушки покидали своих кавалеров и смешивались с толпой женщин.

— Добрый вечер, сеньоры!

На это приветствие более пожилого солдата ответил только тамбурин: он неожиданно умолк и оставил флейту в одиночестве... Та прогнусавила еще несколько нот, словно иронически отвечая на приветствие. Воцарилось долгое молчание. Кое-кто небрежно ответил на приветствие стражника, но все притворялись, что не замечают солдат, и смотрели в другую сторону, как будто их вовсе здесь и не было.

Тягостное молчание, по-видимому, неприятно подействовало на солдат.

— Продолжайте, пожалуйста, — сказал старший из них. — Не прерывайте из-за нас вашего веселья! — Он дал знак музыкантам, и те, не смея ни в чем ослушаться начальства, заиграли еще живее и задорнее прежнего. Но это было все равно что пытаться разбудить мертвых! Все стояли неподвижно и, нахмурившись, размышляя о том, чем может закончиться это неожиданное появление.

Под стук тамбурина, певучие рулады флейты и сухой, пронзительный треск кастаньет солдаты стали прогуливаться между группами атлетов, пристально разглядывая их.

И тот, к кому относилось это обращение, кротко повинился, без малейшей попытки к сопротивлению, почти гордясь этим отличием. Ему были известны его обязанности. Ивитянин появлялся на свет, чтобы работать, жить... и подвергаться обыску. Почетные неудобства для человека мужественного и желающего внушить известный страх!.. И каждый атлет, видя в обыске доказательство своих заслуг, поднимал руки и выпячивал живот, самодовольно давая солдатам ощупывать себя и горделиво поглядывая в сторону девушек.

Фебрер заметил, что солдаты как бы нарочно не обращали внимания на присутствие Кузнеца. Они словно не узнавали его, поворачивались к нему спиной, проходили несколько раз мимо него, тщательно обыскивая тех, кто стоял с ним рядом, и явно не замечая верро.

Пеп с оттенком восхищения стал шептать на ухо сеньору:

— Эти люди в треуголках поумнее самого дьявола!

Они никогда не обыскивали верро и этим оскорбляли его, делая вид, что он им не страшен; его выделяли из остальных, избавляя от процедуры, которой подвергались все поголовно. Всякий раз, как они встречаются верро с другими парнями, тех обыскивают, а его никогда не трогают. Поэтому атлоты, опасаясь лишиться своего оружия, начинали в конце концов избегать встреч с героем, как с человеком, могущим навлечь опасность.

Тем временем под звуки музыки продолжался обыск. Капелланчик следил за всеми движениям солдат, все время норовя стать перед пожилым гвардейцем, заложив руки за пояс и упорно глядя на него с мольбой и угрозой. Солдат как будто не замечал его, обыскивая других, но затем снова наталкивался на мальчика, который загораживал ему дорогу. Наконец человек в треуголке улыбнулся в жесткие усы и окликнул своего товарища.

— Послушай! — сказал он, показывая на мальчика. — Обыщи-ка этого молодца. С ним, должно быть, надо быть осторожным.

Капелланчик, прощая врагу насмешливый тон, поднял руки как можно выше, чтобы все смогли убедиться в важности его особы. Гвардеец уже давно удалился, слегка пощекотав ему живот, а он все еще стоял в позе человека, внушающего страх. Затем он подбежал к группе девушек, чтобы похвалиться опасностью, которой он только что бросил вызов. Хорошо, что дедушкин нож остался дома, надежно спрятанный отцом в неизвестном ему месте. Начни он носить нож, его бы у него отняли.

Солдаты вскоре устали от этого бесплодного обыска. Старший из них, словно почуявшая дичь собака, лукаво посматривал в сторону женщин. Вот где, должно быть, спрятано оружие! Но разве кто-нибудь сдвинет с места этих высоких черных матрон? Враждебные взгляды этих сеньор были достаточно красноречивы. Пришлось бы применить силу, а они как-никак дамы!

— Счастливо оставаться, сеньоры!

И они вскинули ружья на плечи, отказавшись от любезного угощения нескольких юношей, которые успели сбегать в соседнюю таверну и притащить несколько кружек. Их угощали без всякого чувства злобы или страха: в конце концов, все они люди и живут на тесном острове. Но гвардейцы усиленно отказывались:

— Большое спасибо, но уставом это запрещено.

Они ушли, быть может чтобы укрыться где-нибудь поблизости и повторить обыск с наступлением темноты, когда люди начнут расходиться по домам.

Когда опасность миновала, музыканты умолкли. Фебрер увидел, что Певец овладел тамбурином и уселся на свободной теперь площадке, которую раньше занимали танцоры. Люди столпились вокруг него полукругом. Почтенные матроны подвинули свои плетеные стулья, чтобы лучше слышать. Певец собирался исполнить один из романсов собственного сочинения, так называемый сказ, прерываемый жалобным криком, печальными трелями, которые продолжались до тех пор, пока у поющего хватало воздуха и легких.

Он медленно ударял палочкой по коже тамбурина, стараясь придать скорбную серьезность своему монотонному, сонному и печальному напеву.

— Как вы хотите, друзья, чтобы я пел, если сердце у меня разбито!

И тотчас же вслед за этим — пронзительная трель, словно бесконечная жалоба умирающей птицы, раздающаяся среди глубокой тишины. Все смотрели на поющего и уже не видели в нем ленивого и больного парня, презираемого за непригодность к труду. В их примитивном мозгу таилось нечто смутное, что побуждало их внимать с уважением словам и стонам хилого юноши, словно что-то чудесное проносилось с тяжелым взмахом крыльев над их наивными

душами.

Голос Певца всхлипывал при упоминании о женщине, бесчувственной к его скорбным жалобам, и когда он сравнивал ее белизну с цветком миндаля, взоры всех обратились к Маргалиде; а та, уже привыкнув к подобным грубым проявлениям поэтического преклонения, которые были чем-то вроде вступления к ухаживанию, оставалась совершенно спокойной, даже не покраснела по-девичьи.

Певец продолжал свои причитания, раскрасневшись от усиленного и мучительного кудяхтанья, замыкавшего каждую строку. Его узкая грудь вздымалась в тяжелой одышке, пятна болезненного румянца горели на щеках; худая шея напряглась, и на ней обозначились синие жилки вен. Следуя обычаю, он прикрывал часть лица вышитым платком, который держал в руке, опиравшейся на тамбурин. Фебрер, слушая этот надрывный голос, испытывал тоскливое чувство. Ему казалось, что Певец надорвет себе грудь и голосовые связки; но остальные слушатели, привыкшие к этому дикому пению, столь же утомительному, как и недавний танец, не обращали внимания на усталость поющего, и бесконечный припев его им не надоедал.

Несколько атлотов, отделившись от обступившей поэта толпы, по-видимому обсуждали что-то, а затем направились туда, где с серьезным видом сидели старики. Презрительно отвернувшись от своего приятеля Певца, бедного парня, который годился только на то, чтобы посвящать романсы девушкам, они разыскивали сеньо Пепа из Кан-Майорки, чтобы поговорить с ним по важному делу.

Самый смелый из всей компании обратился к Пепу. Они хотели поговорить о фестивале Маргалиды и напомнить отцу о его обещании разрешить ухаживание за девушкой. Крестьянин медленно оглядел группу юношей, словно считал их.

— Сколько вас?

Говоривший улыбнулся: их гораздо больше, чем здесь с ним. Они представители других атлотов, оставшихся в кругу слушать пение. Все они из разных кварталов; даже из Сан Хуана, с другого конца острова, придут юноши ухаживать за Маргалидой. Пеп, хотя и притворялся несговорчивым отцом, все же покраснел и сжал губы с плохо скрываемым самодовольством, искоса поглядывая на сидевших рядом приятелей. Какая честь для Кан-Майорки! Никогда еще не видывали такого сватовства! Ни разу еще за дочерьми его приятелей так не ухаживали.

— Двадцать будет? — спросил он.

Атлоты медлили с ответом, прикидывая в уме и бормоча имена товарищей. Двадцать?.. Больше, гораздо больше! Можно считать, человек тридцать.

Крестьянин сделал вид, будто он негодует. Тридцать! Уж не думают ли они, что ему не нужно отдохнуть и что он так и будет сидеть до утра и смотреть, как они любезничают?..

Затем он успокоился и погрузился в сложные вычисления, задумчиво и недоуменно повторяя:

— Тридцать!.. Тридцать!..

Решение его было безоговорочным: он не может уделить на вечеринку более полутора часов, а так как атлоты тридцать, то это выходит по три минуты на брата. Три минуты — по часам — каждому на разговор с Маргалидой, и ни секунды больше! Вечеринки будут по четвергам и субботам. Когда он ухаживал за своей женой, женихов было куда меньше, и все же его тесть — человек, который никогда не смеялся, — не давал им больше трех минут на беседу. Что?

Чересчур строго? Никаких споров и ссор! Первого, кто нарушит эти условия, он сумеет выставить за дверь палкой, а если будет нужно взяться за ружье, то и за этим дело не станет.

Добряк Пеп, довольный тем, что может прикинуться невероятным храбрецом — благо женихи дочери держались крайне почтительно, — сыпал угрозы одна хвастливее другой и заявил, что убьет любого за малейшее несоблюдение правил. Атлоты слушали его с покорным видом и потихоньку улыбались. Договор был заключен. В следующий четверг в Кан-Майорки будет первая вечеринка. Фебрер, слышавший весь разговор, взглянул на верро, который держался в стороне, как будто его величие не позволяло ему снисходить до мелких пунктов какого-то договора.

Тем временем юноши отошли и смешались с толпой, втихомолку обсуждая порядок очередности. Певец окончил свое жалобное пение, издав напоследок такую мучительную, напоминавшую кудахтанье трель, что, казалось, он вот-вот окончательно надорвет себе горло. Он вытер пот со лба и прижал руки к груди; лицо его было багрово-синим. Но люди уже повернулись к нему спиной и забыли о нем.

Девушки, отчаянно жестикулируя, окружили Маргалиду. Из чувства солидарности, свойственной их полу, они подталкивали подругу, прося ее спеть что-нибудь в ответ на слова Певца о лживости женщин.

— Не хочу! Не хочу! — отвечала Цветок миндаля, отбиваясь от подруг.

Ее сопротивление было настолько искренним, что наконец вмешались старухи и взяли ее под защиту:

— Оставьте Маргалиду в покое, она пришла сюда забавляться, а не забавлять других! Думаете, легкое дело так вот сразу придумать ответ в стихах?

Тамбуринист уже забрал у Певца инструмент и постукивал палочкой по обтянутому кожей кругу. Флейта переливалась быстрыми гаммами, словно прополаскивала себе горло, прежде чем начать усыпительную мелодию в африканском ритме. Танцы продолжаются!

Солнце начало садиться. Подувший с моря ветерок освежал поля. Люди, казалось задремавшие от тяжелого зноя, теперь оживились и быстро задвигались, словно прохлада их подбодрила.

Молодые парни кричали все разом, неистово и наперебой взывая к музыкантам. Одни требовали льяргу, другие курту; все упорно и властно настаивали на своем. Смертоносное оружие, скрытое женскими юбками, теперь снова вернулось к ним, и наличие этих верных спутников придавало каждому из атлотов свежие силы и новый задор.

Музыканты грянули то, что им заблагорассудилось; любопытные отступили, и снова в центре площади запрыгали белые альпаргаты, закружились жесткие колокола синих и зеленых юбок, заколыхались кончики платков над толстыми Хайме по-прежнему смотрел на Кузнеца с непреодолимым чувством неприязни. Верро казался рассеянным и молча стоял среди толпы окружавших его почитателей. Он словно не обращал на них внимания и пристально, с суровым выражением смотрел на Маргалиду, как будто желая покорить ее своим взглядом, которого побаивались и мужчины.

Когда же Капелланчик с ученической восторженностью подходил к верро, тот благосклонно улыбался ему как будущему родственнику. Те самые атлоты, которые только что говорили с Пепом по поводу сватовства, казалось робели в присутствии Кузнеца. Девушки, увлекаемые парнями, выходили танцевать, а Маргалида по-прежнему оставалась подле матери; все бросали на нее жадные взгляды, но никто не осмеливался подойти и пригласить ее.

Майоркинец почувствовал, как в нем пробуждается чувство задора, свойственное его ранней юности. Он начинал ненавидеть верро; он ощущал почти что личное оскорбление при виде того страха, который Кузнец внушал всем присутствующим. Неужто не найдется никого, кто бы влепил пощечину этому хлыщу, вышедшему из тюрьмы?..

Но вот к Маргалиде подошел юноша и взял ее за руку. Это был Певец, все еще мокрый и дрожащий от недавней усталости. Он приосанился, как будто утомление придало ему новую силу. Белоснежный Цветок миндаля начал кружиться на своих маленьких ножках, а он принялся прыгать и прыгать, стараясь поспеть за каждым ее движением. Бедный мальчик! Хайме испытывал щемящее чувство, догадываясь о том, каких усилий стоило этому бедняге победить физическую усталость. Юноша задыхался; через несколько минут у него уже задрожали ноги, но, несмотря на это, он улыбался, довольный своей победой. Он смотрел на Маргалиду влюбленными глазами и отводил их только для того, чтобы с гордостью взглянуть на своих друзей, молча выражавших ему сочувствие.

На одном из поворотов он едва не упал: во время прыжка у него подогнулись колени. Все ожидали, что он вот-вот растянется на земле, но он продолжал танцевать, и видно было, какое усилие он делает над собой, приняв решение скорее погибнуть, но не признаться в своей слабости.

Глаза его уже закрылись от головокружения, когда он почувствовал, что кто-то тронул его, по обычаю, за плечо, чтобы он уступил свою партнершу.

Это был Кузнец, который пускался в пляс впервые за весь вечер. Прыжки его были встречены одобрителем шепотом. Все им восхищались, испытывая в то же время стадную трусость, свойственную запуганной толпе.

Верро, видя всеобщее одобрение, усилил судорожные телодвижения, преследуя свою даму, становясь у нее на пути, опутывая ее сложной сетью своих движений, а Маргалида все кружилась, опустив глаза и стараясь не встречаться взглядом со своим грозным кавалером.

Время от времени Кузнец, откинувшись назад и заложив руки за спину, чтобы показать свою силу, прыгал так высоко, как будто земля была упругой, а в его ноги вставлены стальные пружины. Эти прыжки, внушая Хайме отвращение, наводили его на мысль о побегах из тюрьмы и о подлых нападениях с ножом из-за угла.

Минуты шли, а этот человек, казалось, не уставал. Некоторые пары уже удалились, в других танцор успел смениться несколько раз, а Кузнец продолжал свою дикую пляску, по-прежнему храня мрачный и презрительный вид и словно вовсе не поддаваясь утомлению.

Сам Хайме с известной завистью признавал силу за страшным кузнецом. Какое животное!

Вдруг он увидел, что тот шарит за поясом и протягивает руку к земле, не прекращая своих поворотов и прыжков. Над землей показалось облачко дыма, и сквозь его белую спираль мелькнули две бледные вспышки, озаренные лучами заходящего солнца. Вслед за этим прогремели два выстрела.

Женщины, взвизгнув от внезапного испуга, стали жаться друг к дружке; мужчины с минуту были в нерешительности, но сразу же успокоились и разразились восторженными возгласами и рукоплесканиями.

Отлично! Кузнец разрядил пистолет у ног своей партнерши — высшая любезность храбреца, самый большой почет, на который могла рассчитывать любая девушка на острове.

Маргалида же — как-никак женщина — продолжала танцевать: на нее, истинную ивितянку, взрыв пороха не произвел особого впечатления. Она взглядом поблагодарила Кузнеца за его

отвагу, позволившую ему бросить вызов гражданской гвардии, скрывавшейся, может быть, поблизости; затем она посмотрела на подруг, дрожавших от зависти при виде того, что ей был оказан такой знак внимания.

Даже сам Пеп, к великому негодованию Хайме, казалось был горд пистолетными выстрелами, прозвучавшими у ног его дочери.

Фебрер был единственным, кого не привел в восторг галантный подвиг верро.

Проклятый арестант! Хайме не признавал отчетливо причины своей ярости, но избавиться от нее не мог. С этим типом он еще столкнется!

#### IV

Пришла зима. Бывали дни, когда море бешено билось о цепь островов и утесов, прорезанную узкими проливами и рукавами. В этих морских коридорах вода, прежде спокойная и такого прозрачного синего цвета, что сквозь нее просвечивало песчаное дно, темнела и, крутясь, билась о берега и скалы, которые то исчезали, то вновь появлялись среди пенных валов. Между островами Очищения и Повешенных, где есть проход для больших судов, кораблям приходилось проскальзывать, борясь со слепой яростью течения и грозными, шумными ударами волн. Суда с Ивисы и Форментеры поднимали паруса и уходили под защиту островков. Извилины этого прибрежного лабиринта позволяли морякам, плававшим в Питиузском архипелаге, идти от одного острова к другому различными путями, учитывая направление ветра. В то время как с одной стороны архипелага море бушевало, с другой оно было неподвижным и вязким, словно густое масло. В проливах, волны громоздились друг на друга, образуя неистовые водовороты, но достаточно было переложить руль, изменить направление, чтобы судно оказалось под защитой островка, покачиваясь на райской поверхности спокойных, прозрачных вод, где виднелось дно, поросшее странными растениями, между которыми сновали рыбы, искрившиеся серебром и отливавшие пурпуром.

Почти каждый день небо было в тучах, а море — свинцовым. Пик Ведро, вздымающий свой конический шпиль, на фоне этой бурной мглы казался еще огромнее, еще внушительнее. Море низвергалось водопадами, врываясь в углубления пещер с грохотом, напоминавшим пушечные выстрелы. На недостижимой высоте с уступа на уступ прыгали лесные козы, и только когда в потемневшей синеве слышались раскаты грома и огненные змеи, извиваясь, стремились вниз на водопой к огромной чаше моря, робкие животные с пугливым блеянием убегали и скрывались в скалистых впадинах, покрытых зарослями можжевельника. Фебрер не раз в ненастные дни отправлялся на рыбную ловлю с дядюшкой Вентолера. Старому моряку море было хорошо знакомо. Иногда по утрам, когда Хайме лежал в постели и смотрел, как сквозь щели пробивается бледный и рассеянный свет пасмурного дня, ему приходилось вскакивать на голос товарища, который «пел мессу», сопровождая латинские цитаты швырянием камней в стену башни, «Вставайте! Хороший день для ловли. Наловим вдоволь!» И если Фебрер с некоторой тревогой поглядывал на грозное море, старик пояснял, что по ту сторону Ведров, под защитой утеса, они застанут спокойные воды.

Иногда же, когда утро бывало восхитительно прекрасным, Фебрер напрасно ждал призывных возгласов старика. Проходили часы. Вслед за розовым отблеском зари в щелях появлялись золотые полосы солнечного света. Но тщетно: время шло, а ни мессы, ни ударов камней не было слышно. Дядюшка Вентолера не показывался. Стоило Хайме отворить окно, и взорам открывалось чистое, светлое небо, озаренное мягким блеском зимнего солнца, и темно-синее беспокойное море, катившее свои волны без пены и рокота под напором свежего ветра.

Зимние дожди окутывали остров серой пеленой, сквозь которую едва выделялись неясные очертания ближних гор. На вершинах сосны плакали всеми своими зелеными иглами; толстый слой перегноя разбухал, как губка, и ноги, погружаясь в него, оставляли за собой жидкий след.

На голых возвышенностях прибрежных скал дождь скапливался в ложбинах, образуя шумные ручьи, низвергавшиеся с утеса на утес. Широко разросшиеся смоковницы трепетали, как огромные разорванные дождевые зонты, пропуская воду, стекавшую на просторную площадку, осененную их кроной. Лишенные листвы миндальные деревья дрожали, как черные скелеты, глубокие овраги наполнялись ревущей водой, бесцельно сбегавшей к морю. Дороги, вымощенные синим булыжником и пролежавшие между высокими холмами из дикого камня, превращались в порожистые реки. Остров, большую часть года запыленный и томившийся жаждой, казалось не мог поглотить даже всеми своими порами этот избыток дождевой влаги, подобно тому как больной не способен проглотить сильнодействующее и трудно усваиваемое лекарство, которое, к тому же, запоздало.

В эти дни сплошных ливней Фебрер сидел, как узник, в башне. Нельзя было ни выйти на лодке в море, ни побродить с ружьем по полям острова. Дома оставались запертыми, их белые квадратные стены были загрязнены дождевыми потоками, и о жизни говорили только струйки голубого дыма, — вырывавшиеся из труб.

Обреченный на безделье, владелец башни Пирата перечитывал немногие книги, купленные им во время поездок в город, или задумчиво курил, припоминая прошлое, от которого ему захотелось убежать. Знать бы, что теперь творится на Майорке! Что говорят его друзья?

Покорившись этой вынужденной неподвижности, в часы, когда нельзя было отвлечься физическими упражнениями, он вызывал в памяти прежнюю жизнь, с каждым днем становившуюся все более далекой и туманной. Она казалась ему чьим-то посторонним существованием, чем-то таким, что он наблюдал вблизи и отлично знал, но что относилось к чужой жизни. Неужто Хайме Фебрер, исколесивший всю Европу и вкусивший часы победы и тщеславия, был тот самый человек, который живет теперь в башне на берегу моря, опростившийся, бородатый и почти одичавший, носит альпаргаты и крестьянскую шляпу и больше привык к шуму волн и крику чаек, чем к людскому обществу?..

Несколько недель тому назад он получил второе письмо от своего приятеля, контрабандиста Тони Клапеса. Оно также было написано в одном из кафе на Борне; в четырех наспех нацарапанных строчках Тони слал ему свой дружеский привет. Этот грубоватый, добродушный приятель не забывал его; он даже как будто не обижался на то, что его предыдущее письмо осталось без ответа. Он писал о капитане Пабло. Тот все сердится на Фебрера, но продолжает умело распутывать его дела. Контрабандист был уверен в Вальсе: он самый хитрый из чуэтов и благороднее, чем кто-либо из них. Он, конечно, спасет остатки состояния Хайме, и тот сможет спокойно и счастливо прожить до конца своих дней на Майорке. От капитана он еще получит известие. Вальс не любит говорить до тех пор, пока все не закончено.

Фебрер, узнав об этих надеждах, пожал плечами. Эх, да что там! Все кончено!.. Но в печальные зимние дни его обычная покорность восставала против этой жизни — существования одинокого моллюска, укрывшегося в каменном мешке. Неужели он будет так жить всегда?.. Разве не страшная глупость забиться в этот угол, когда есть еще молодость и силы, чтобы бороться за жизнь?

Да, это страшно глупо. Остров, давший ему романтическое убежище, был прекрасен первые месяцы, когда светило солнце, зеленели деревья и местные нравы пленяли его душу своеобразной новизной. Но вот наступило ненастье, одиночество стало невыносимым, и деревенская жизнь предстала перед ним во всей своей варварской грубости. Эти крестьяне в

синей суконной одежде, щеголявшие цветными поясами и галстуками, с цветами за ухом, показались ему вначале забавными глиняными фигурками, специально созданными для украшения полей, хористами томной и слащавой пасторальной оперетты. Но теперь он узнал их глубже; это были такие же люди, как и все остальные, при этом дикари, и, коснувшись их, цивилизация оставила по себе лишь легкий след и не затронула ни одной резкой черты их наследственной грубости. Когда на них смотришь издали, то на короткое время они способны очаровать прелестью новизны; но теперь он освоился с их обычаями, почти сравнялся с этими людьми, и его, словно раба, тяготило низменное существование, приходившее чуть ли не на каждом шагу в столкновение с его прежними идеями и предрассудками. Нужно вырваться из этой среды, но куда и как? Он беден. Весь его капитал состоит из нескольких десятков дура, которые он захватил, когда бежал с Майорки. Эту сумму, кстати, он сохранил благодаря Пепу, упорно не желавшему брать с него какую-либо плату. Итак, он вынужден оставаться здесь, пригвожденный к башне, как к кресту, без надежд, без желаний и пытаюсь полностью подавить в себе мысль, чтобы обрести безмятежность растительной жизни, — нечто вроде прозябания можжевельников и тамарисков, растущих на скалистых выступах мыса, или существования ракушек, навеки прирастающих к подводным утесам.

После длительных размышлений он примирился со своей судьбой. Он не будет ни думать, ни желать. Кроме того, никогда не покидающая нас надежда рисовала ему смутную возможность чего-то необычайного, что придет в положенный час и вырвет его из этого окружения. Но пока все это не пришло — как тягостно одиночество!..

Пеп и его домочадцы составляли для Фебрера его единственную семью, но безотчетно, повинуюсь, быть может, смутному инстинкту, эти люди все больше и больше отдалялись от него. Хайме замыкался в своем уединенном убежище, и они с каждым днем все реже вспоминали о сеньоре.

Уже давно Маргалида не появлялась в башне. Она как будто избегала всякого повода к такой прогулке и уклонялась даже от встреч с Фебрером. Она стала другой, словно пробудилась к новой жизни. Невинная и доверчивая улыбка юности сменилась у нее сдержанностью, как у женщины, которая знает об опасностях, ожидающих ее на пути, а потому ступает медленно и осторожно.

С тех пор как за ней стали ухаживать и юноши приходили повидать ее дважды в неделю в соответствии с традиционным фестивалем, она как будто осознала эти большие и неожиданные опасности, о которых раньше не догадывалась, и держалась подле матери, стараясь не оставаться наедине с мужчиной и краснея, если кто-нибудь из молодых людей встречался с ней взглядом.

В этом ухаживании, столь обычном для нравов острова, не было ничего особенного, и, тем не менее, оно глухо раздражало Фебрера, словно он видел в нем покушение на убийство или грабеж. Нашествие в Кан-Майорки влюбленных молодых хвастунов он расценивал почти как личное оскорбление. Он смотрел на хутор Пепы как на свой собственный дом, но раз туда вторгались посторонние и их хорошо принимали, то ему оставалось лишь удалиться.

Кроме того, он испытывал тайную досаду оттого, что не был больше, как в первые дни, единственным предметом внимания со стороны семьи. Пеп с женой продолжали считать его своим сеньором; Маргалида с братом питали к нему глубокое почтение, как к могущественному существу, явившемуся из дальних стран сюда потому, что Ивиса — это лучшее место на земле. Вместе с тем в их глазах, казалось, отражались теперь другие заботы. Посещение дома таким количеством атлетов и вызванные этим перемены в укладе жизни невольно ослабили их предупредительность по отношению к Фебреру. Всех их беспокоило будущее. Кто же в конце концов добьется чести стать мужем Маргалиды?.. В зимние вечера Фебрер, запершись у себя в башне, смотрел на слабый свет, мерцавший внизу, — огонек Кан-Майорки. Это не были вечера фестивалей; семья, вероятно, собиралась



одна у очага, но он упорно придерживался своего затворничества. Нет, он не спустится туда. В своей досаде он сетовал даже на непогоду: ему порой казалось, будто зимние холода повинны в той перемене, которая постепенно наступала в его отношениях с крестьянским семейством. О, прекрасные летние ночи, когда все засиживались до позднего часа и смотрели, как трепещут звезды на темном небе за черным краем навеса над крыльцом!.. Фебрер усаживался под уютным кровом со всей семьей и дядюшкой Вентолера, который приходил в надежде на угощение. Его никогда не отпускали домой, не угостив ломтем арбуза, наполнившего рот старика сладкой кровью своего розового мяса, или стаканом ароматной фиголы, настоящей на душистых горных травах. Маргалида, устремив глаза в таинственный мир звезд, пела ивисские романсы; голосок у нее был детский, но для Фебрера он звучал свежее и радостнее ветерка, вносившего легкий трепет в голубой сумрак ночи. Пеп с видом заправского путешественника рассказывал о своих поразительных приключениях в те годы, когда он был солдатом на королевской службе в далеких и почти фантастических странах — Каталонии и Валенсии.

Собака, свернувшись у ног хозяина, казалось слушала его рассказы, устремив на него свои кроткие, добрые глаза, в глубине которых отражалась звездочка. Иногда она вдруг вскакивала, повинувшись какому-то нервному порыву, и, под громкий хруст ломаемых растений, одним прыжком исчезала в темноте. Пепу была понятна причина такой внезапной и немой тревоги. Ничего особенного: просто пробежал какой-нибудь зверек, заблудившийся впотьмах заяц или кролик, а собака почуяла его своим тонким охотничьим нюхом. Иногда она медленно садилась и начинала рычать зло и настороженно. Кто-то проходил мимо: мелькала чья-то тень, какой-то человек спешил куда-то с торопливостью ивитянина, привыкшего быстро перемахивать с одного конца острова на другой. Если тень здоровалась, ей отвечали. Если же она проходила молча, то притворялись, что ее не видят, точно так же, как неизвестный прохожий как будто не замечал ни дома, ни людей, сидевших у входа под навесом.

На Ивисе был старинный обычай: с наступлением ночи не приветствовать друг друга в чистом поле. Тени встречались на дороге и, не роняя ни слова, старались разойтись, чтобы не столкнуться лицом к лицу, не выдать и не узнать знакомых черт. Каждый шел по своим делам: кто повидать невесту или пригласить врача, а кто убить противника на другом конце острова, чтобы вернуться оттуда бегом и потом иметь возможность заявить, что в этот самый час он был в кругу друзей. У каждого ночного путника были свои причины остаться неузнанным. Тени опасались теней. На пожелание доброй ночи или просьбу дать огня для сигары, случалось, отвечали пистолетным выстрелом.

Иногда мимо дома никто не проходил, и, тем не менее, собака вытягивала шею и выла в черную пустоту. Издалека, казалось, ей отвечали завывания человеческого голоса. Это были протяжные дикие крики, нарушавшие таинственную тишину, подобие воинственного клича: «А-у-у-у!» А еще дальше слышался другой, заглушенный расстоянием, не менее дикий зов: «А-у-у-у!»

Крестьянин приказывал псу замолчать. В этих криках нет ничего странного. Просто атлоты аукаются в темноте и по звуку этих окриков пытаются, быть может, узнать друг друга и соединиться, а то и подраться, тогда крик служит вызовом. Ночные проказы молодежи! Пусть себе! Ничего с ними не поделаешь!

И Пеп продолжал повествовать о своих необычайных странствиях, чувствуя на себе изумленный взгляд жены, слушавшей в тысячный раз об этих вечно новых для нее чудесах.

Дядюшка Вентолера, не желая отставать, принимался за рассказы о пиратах и храбрых ивисских моряках; он ссылался при этом на своего отца, который был юнгой на шебеке капитана Рикера и шел вслед за доблестным командиром на бордаж фрегата «Фелксидад» под флагом грозного корсара Папы. Вдохновляясь этими героическими воспоминаниями, он напевал дребезжащим старческим голосом куплеты, в которых моряки ивитяне славили свою

победу; куплеты были для большей торжественности сложены по-кастильски, и дядюшка Вентолера безбожно коверкал слова:

Где же ты, отважный Папа?

Ты, такой храбрец, — и вдруг, Перетрусив перед смертью, Вздумал спрятаться в рундук!..

И, шамкая беззубым ртом, старый моряк продолжал воспевать подвиги минувших лет, как если бы они совершились вчера и он видел все это собственными глазами, словно над этой воинственной землей, которую окутала теперь ночная мгла, снова должны вспыхнуть сигнальные огни дозорных вышек, возвещая о вражеской высадке.

Иногда же, с горящими от жадности глазами, он рассказывал о несметных сокровищах, зарытых, а потом и замурованных в прибрежных пещерах маврами, римлянами и другими рыжими моряками, которых он называл «морманнами». Его предки знали об этом немало. Жаль, что они умерли, не обмолвясь ни словом! И он передавал правдивую историю форментерского подземелья, где норманны хранили добычу, захваченную во время пиратских набегов на Испанию и Италию: золотые статуи святых, церковные чаши, цепи, драгоценности, благородные камни и целые Груды монет. Страшный дракон, разумеется высколенный рыжими хозяевами, лежал на страже в глубине пещеры, навалившись на сокровища брюхом. Всякий, кто неосторожно спускался туда, попадал к нему в зубы. Рыжие моряки умерли уже много веков тому назад, подох и дракон, но сокровище, должно быть, хранится еще где-то на Форментере. Эх, кто-то на него нападет!.. И сельские слушатели дрожали от возбуждения, ничуть не сомневаясь в существовании сказочных богатств уже из одного почтения к преклонным годам рассказчика.

Для Фебрера эти мирные ночные беседы уже не повторятся! Он избегал спускаться под вечер в Кан-Майорки, опасаясь помешать своим присутствием семейным разговорам о претендентах на руку Маргалиды.

В вечера фестивая затворник испытывал особые приступы досады: не отдавая себе отчета в своих действиях, он подходил к дверям башни и жадно смотрел на дом Пепа. Тот же огонек мерцал, как обычно, но ему слышались в ночной тишине какие-то новые шорохи, дальние отзвуки песен, голос Маргалиды. Наверно, там сейчас и отвратительный кузнец, и бедняга Певец, и все эти дикие, грубые атлоты в своих несуразных нарядах. Боже правый! И как только могли ему раньше нравиться эти мужики?.. После всего того, что ему удалось повидать в жизни!

На следующий день, когда Капелланчик приносил в башню обед, дон Хайме расспрашивал его обо всем случившемся накануне.

Слушая мальчика, Фебрер представлял себе сцену смотрин во всех подробностях. С наступлением темноты семья ужинала на скорую руку, чтобы успеть подготовиться к предстоящей церемонии. Маргалида в своей комнате снимала висевшую под потолком праздничную юбку и надевала ее; затем повязывала на грудь красно-зеленый платок, а на голову другой, поменьше; вплетала в косу длинные ленты и, обвив вокруг шеи золотые цепочки, садилась на абригайс, посланный на одном из стульев, стоявших в кухне. Отец курил свою трубку, набитую потой; мать плела в углу корзинки из камыша; Капелланчик выбегал из дома под широкий навес, где собирались в полном молчании ухаживающие за его сестрой атлоты. Одни, жившие по соседству, ждали здесь уже целый час; другие, запыленные и забрызганные грязью, приходили сюда, проделав пешком две мили. В дождливые вечера они отряхивали под навесом мантии с грубыми капюшонами, унаследованные от предков, или женские плащи, в которые они кутались, отдавая дань современной элегантности.

Припомнив наскоро порядок, которого следует придерживаться в разговоре с девушкой,

соперники толпой входили в кухню, потому что зимой под навесом было холодно. Слышался стук в дверь.

— Кто там? Входи! — кричал Пеп, словно не подозревая о присутствии молодых людей и готовясь увидеть неожиданного посетителя.

Атлоты входили скромно, здороваясь со всей семьей: «Добрый вечер! Добрый вечер!» Затем они, как школьники, усаживались рядом на скамье или оставались на ногах, и все смотрели на Маргалиду. Рядом с ней стоял пустой стул, а когда его не было, то очередной претендент опускался на корточки, по-мавритански, и в течение трех минут шепотом разговаривал с девушкой под враждебными взглядами соперников. Если кто-нибудь пытался затянуть непродолжительную беседу, то это вызывало покашливание, разъяренные взгляды и грозные предостережения вполголоса. Атлот уходил, и его место занимал другой. Капелланчик смеялся над этими сценами и вместе с тем видел в непримиримой настойчивости ухаживающих нечто весьма лестное для Маргалиды и всей семьи.

Обручение его сестры будет не таким, как у других девушек. Добивавшиеся ее руки казались Пепету бешеными собаками, которые нелегко откажутся от добычи. По его мнению, дело пахло порохом, и он утверждал это со счастливой и гордой улыбкой, обнажавшей на его смуглом лице белые зубы волчонка. Никто из претендентов как будто еще не занял первого места. За два месяца, истекшие с начала сватовства, Маргалида только и делала, что слушала, улыбалась и отвечала так, что кружила всем головы. Да, сестре его есть чем гордиться. По воскресеньям, идя к мессе, она выступала впереди родителей, окруженная всеми поклонниками. То была целая армия — дон Хайме встречал их не раз.

Подруги, видя ее приближение во главе этой поистине королевской свиты, бледнели от зависти. Все ее буквально осаждали, борясь за то, чтобы вырвать у нее хотя бы слово, а она отвечала любому из них поразительно скромно, поддерживала между ними полнейшее равенство, стараясь предотвратить смертельные схватки, которые могли внезапно вспыхнуть среди этой воинственной, вооруженной и несдержанной молодежи.

— Ну, а Кузнец? — спрашивал дон Хайме. Проклятый верро! Его имя сеньор произносил с явным усилием, но воспоминание об этом молодце давно уже не покидало его.

Мальчик отрицательно качал головой. Кузнец тоже почти не опередил своих соперников, и Капелланчик, казалось, не слишком горевал об этом.

Его восторженное чувство к верро несколько поостыло. Любовь придает мужчине отвагу, и все атлоты, ухаживающие за Маргалидой, сталкиваясь с ним как с соперником, уже не боялись его и позволяли себе даже не обращать внимания на эту страшную личность. Однажды вечером он пришел с гитарой, собираясь занять музыкой большую часть времени, принадлежавшего другим. Когда очередь дошла до него, он уселся рядом с Маргалидой, настроил инструмент и стал петь ей песни, популярные на материке, которым он научился во время пребывания в «Ницце». Но предварительно он вытащил из-за пояса двуствольный пистолет и, взведя курки, положил его себе на бедро, чтобы сразу же схватить и выстрелить в первого, кто его прервет. Ответом было полное молчание и равнодушные взгляды. Пел он сколько душе было угодно и, наконец, спрятал пистолет с победоносным видом. Но как только все вышли в окутанное мраком поле и атлоты, разбредясь в разные стороны, стали прощаться друг с другом насмешливым ауканьем, два точно брошенных из темноты камня свалили задиру на землю, и несколько дней он не ходил на смотрины, чтобы не показываться с забинтованной головой. Он даже не попытался узнать, кто на него напал. Соперников было много, и, кроме того, приходилось считаться с их отцами, дядюшками и братьями, составлявшими чуть ли не четверть всех жителей острова и готовыми вступить за честь семьи, чтобы беспощадно отомстить ему с оружием в руках.

— Я думаю, — заявил Пепет, — что Кузнец вовсе уж не такой храбрый, как говорят. А вы как полагаете, дон Хайме?

С приближением ночи, когда Маргалида успевала наговориться со своими поклонниками, отец, дремавший в углу, начинал внезапно громко зевать. Казалось, этот сельский житель угадывал время даже во сне. Половина десятого! Спать! Доброй ночи! После этого пожелания молодежь уходила; в темноте постепенно затихали шаги и смех.

Рассказывая об этих сборищах, где приходилось встречаться с отважными людьми, носящими оружие, Пепет снова вспоминал о дедовском ноже. Когда же дон Хайме поговорит с отцом, чтобы тот дал ему эту семейную драгоценность?.. Если сеньор решил отложить этот разговор, то ему следует вспомнить свое обещание и подарить другой нож. Что делать такому малому, как он, Пепет, без верного товарища? Нигде и не покажешься!

— Успокойся, — отвечал Фебрер, — на днях я пойду в город. Можешь рассчитывать на подарок.

И однажды утром Хайме отправился в Ивису, охваченный желанием изменить привычное существование, набраться новых, более разнообразных впечатлений за пределами неприятельской деревенской жизни. Ему, объездившему всю Европу, Ивиса показалась большим городом. Выстроившиеся в ряд дома, тротуары из красного кирпича, балконы с матерчатыми навесами, — все это приводило его в восхищение, как простодушного дикаря, попавшего из глубины материка в прибрежную факторию. Он останавливался перед окнами некоторых магазинов, разглядывая выставленные там предметы с таким же наслаждением, с каким в прежнее время любовался роскошными витринами на парижских бульварах или на Риджент-стрит, Ювелирная лавка какого-то чуэта надолго привлекла его внимание. Он восторгался дутыми золотыми цепочками, сделанными специально для крестьянок, и филигранными пуговицами с камнем посередине, искренне считая эти предметы самыми совершенными и поразительными произведениями человеческого искусства. Что, если ему войти в эту лавку и купить дюжину таких пуговиц? Какой сюрприз для атлоты из Кан-Майорки, если он их подарит ей на отделку для рукавов! Она, конечно, примет это от него, степенного сеньора, на которого взирает с дочерним почтением. Не досадно ли такое почтение! Будь проклята эта степенность, которая сковывает его и давит, словно тяжелое бремя! Однако наследнику Фебреров, потомку богатейших купцов и отважных моряков, пришлось отказаться от своего намерения, когда он подумал о том, сколько денег у него за поясом. На такую покупку их, несомненно, не хватит.

В другой лавке он купил нож для Пепета, самый большой и тяжелый из всех, что там нашлись, — оружие явно нелепое, но способное заставить мальчика забыть о ноже знаменитого предка.

В полдень, утомившись бесцельными прогулками по Приморскому кварталу и крутым переулкам старинной Реаль Фуэрса, Фебрер вошел в небольшую гостиницу, единственную в городе, расположенную рядом с портом. Там он застал несколько обычных посетителей. В передней комнате сидели парни, одетые по-крестьянски, но в военных шапках — солдаты местного гарнизона, исполнявшие обязанности денщиков; дальше, в столовой, — младшие офицеры егерского батальона, молодые лейтенанты, курившие со скучающим видом и глядевшие в окна, словно пленники моря, на безбрежный лазурный простор. За столом они жаловались на свою печальную юность, бесполезно прикованную к этим скалам. Они говорили о Майорке как о восхитительном месте; вспоминали и о провинциях Полуострова, откуда многие из них были родом, как о райских садах, куда они жаждали вернуться. Женщины!.. От страстного желания и тоски у них дрожали голоса и в глазах загорались безумные огоньки. Как несносная тюремная цепь, их тяготила строгая чистота ивисских нравов, отчужденность островитян, относившихся с подозрением ко всем пришельцам. Здесь с любовью не шутят и времени не теряют: или неприязненное равнодушие, или честное

сватовство, чтобы сыграть свадьбу как можно скорее. Слова и улыбки ведут прямо к женитьбе; с девушками можно общаться только для того, чтобы говорить о семье. И эта молодежь, шумная, веселая, с избытком жизненных сил, испытывала танталовы муки при упоминании о самых красивых девушках города, которыми можно было только любоваться издали, хотя жизнь на таком ограниченном пространстве постоянно приводила к встречам. Все их помыслы сводились к тому, чтобы получить отпуск и пожить несколько дней на Майорке или на Полуострове, подальше от этого добродетельного и угрюмого острова, где чужеземца допускали только на роль мужа, — отправиться на поиски других земель, где было легко дать волю своим желаниям, необузданным, как у школьника или арестанта.

Женщины! Эта молодежь только о них и говорила, и Фебрер, сидевший за большим столом гостиницы, сочувствовал в душе их словам и сетованиям. Женщины! Неодолимое влечение, приковывающее нас к ним, — вот единственное, что остается незыблемым среди душевных потрясений, изменяющих течение жизни, что способно устоять среди других поверженных в прах иллюзий, развеянных бурей. Фебрер испытывал ту же тоску, что и эти военные, то же ощущение человека, заключенного в тюрьму со строгой изоляцией, где вместо рвов было море. И теперь столица острова с ее сеньоритами, замкнувшимися в своем суровом, монашеском уединении, показалась ему нестерпимо скучным городком. Он стал думать о деревне как о крае свободы, где девушки, подобно первобытным женщинам, простодушны и естественны в своих чувствах, сдерживаемых лишь инстинктом самосохранения.

В тот же вечер он выехал из города. От его оптимизма, который он испытывал еще несколько часов назад, ничего не осталось. Улицы Морского квартала были тошнотворны; из домов несся зловонный запах; над ручьем жужжали рои насекомых, поднимавшиеся из луж при звуке шагов прохожих. Воспоминание о холмах, напоенных ароматом лесных растений и запахом соленой морской влаги, которые обступали его башню, возникало в его уме с идиллической нежностью, подобно радужной улыбке.

Крестьянская телега довезла Хайме до Сан Хосе, и, распрощавшись с хозяином, он пошел в гору, мимо сосен, согнутых сильными бурями. Небо затянули облака, воздух был душным и тяжелым. Время от времени падали крупные капли, но, прежде чем тучи успевали разразиться дождем, сильный порыв ветра сметал их на край горизонта.

Возле хижины одного из угольщиков Фебрер увидел двух женщин, терпеливо шагавших среди сосен. Это были Маргалида и ее мать. Они шли из Кубельса — уединенной обители, расположенной на высоком морском берегу, вблизи родника, оживлявшего собой крутые скалистые склоны, под защитой которых росли апельсины и пальмы.

Хайме присоединился к женщинам и вскоре увидел между кустами Пепета, который свернул с тропинки и с камнем в руке преследовал какую-то большую птицу, привлекающую его внимание своим каркающим криком. Они пошли все вместе по пути в Кан-Майорки, и, незаметно для себя, Фебрер оказался впереди, рядом с Маргалидой, а жена Пепета, ослабевшая от болезни, медленным шагом следовала за ними, опираясь на руку сына.

Мать хворала; она страдала какой-то непонятной болезнью: изредка навещавший ее врач молча пожимал плечами, а местные знахарки терялись в догадках. Обе женщины только что дали обет святой деве из Кубельса и возложили на ее алтарь два гофрированных покрывала, принесенных из города.

Маргалида печально рассказывала о немощах старухи, но эгоизм цветущей молодости брал свое, и щеки ее покраснели от быстрой ходьбы, а в глазах светилось нетерпение. Сегодня — день фестейжа. Надо поскорее вернуться в Кан-Майорки и приготовить семье ужин до прихода поклонников.

Фебрер не сводил с нее внимательных глаз и, казалось, любовался ею. Он поражался своей

прежней глупости, из-за которой в течение долгих месяцев видел в Маргалиде только девочку, бесполое создание, и не замечал ее прелести. Какая женщина!.. Он с насмешкой вспоминал о городских сеньоритах, по которым вздыхали в гостинице затворники офицеры. И тут он снова задумался о сватовстве Маргалиды с досадным чувством, похожим на ревность. Неужто эта девушка достанется одному из черномазых дикарей, который привяжет ее к земле, как покорную скотину?

— Маргалида! — прошептал он, как бы желая сказать что-то важное. — Маргалида!

Но больше, он не произнес ни слова. Прежний повеса почувствовал, как, в нем пробуждаются порочные инстинкты под влиянием аромата, исходившего от этой молодой женщины, неопишуемого аромата свежего и девственного тела, который он вдыхал, как тонкий знаток, но скорее в мыслях, чем наяву. И в то же время — странное дело! — он испытывал известную робость, мешавшую ему говорить, робость, подобную застенчивости первых юношеских лет, когда, забыв о легких победах в своем майоркинском поместье, он осмелился подойти к дамам, известным на континенте. Не будет ли с его стороны недостойно заговорить о любви с этой девушкой, запомнившейся ему еще ребенком и почитающей его как отца?

— Маргалида! Маргалида!

Лишь после этих настойчивых обращений, которые, возбудив любопытство атлоты, заставили ее поднять глаза и вопросительно посмотреть на Фебрера, тот наконец решился заговорить и стал спрашивать ее о том, как идет сватовство. Избрала ли она уже кого-нибудь? Кто этот счастливец? Кузнец? Певец?

Она снова потупилась, теребя в смущении кончик передника, невольно поднятый ею к груди... Она не знает. В порыве стыдливого замешательства она по-детски шепелявила. Ей нисколько не хочется выходить замуж. Ни за Певца, ни за Кузнеца, ни за кого другого. Она согласилась на то, чтобы за ней ухаживали, потому что так поступали все девушки, достигшие ее возраста. Да потом (тут она густо покраснела) ей доставляло известное удовольствие унижить своих подруг; те просто бесились, видя, как много у нее поклонников. Она благодарна тем, кто издалека приходит к ней в Кан-Майорки. Однако полюбить их?.. Выйти замуж?..

Разговаривая, она пошла медленнее. Жена и сын Пепа незаметно обогнали их. Оставшись на тропинке вдвоем, они наконец остановились, сами не зная почему.

— Маргалида!.. Цветок миндаля!..

К черту застенчивость! Фебрер почувствовал себя таким же уверенным и дерзким, как и в лучшую пору своей жизни. Кого ему бояться? Крестьянки! Девчонки!

Он заговорил твердо, умышленно стараясь обворожить ее своим пристальным, страстным взглядом, приблизив к ней губы, как бы лаская ее шепотом своих слов. А он? Что думает о нем Маргалида? А что, если он как-нибудь придет к Пепу и скажет, что хочет жениться на его дочери?

— Вы! — воскликнула девушка. — Вы, дон Хайме!

Она без малейшего страха подняла на него глаза, смеясь над его словами. Сеньор обманывал ее невероятными шутками. Недаром говорит отец, что Фебреры — господа серьезные, как судьи, но всегда в веселом настроении. Он хочет опять подшутить над ней, как в тот раз, когда рассказывал ей о глиняной невесте, запертой в башне и поджидающей его вот уже тысячу лет.

Но, встретившись взглядом с Фебрером и увидев его бледное и искаженное волнением лицо,

она тоже побледнела. Перед ней был другой человек; таким дон Хайме она никогда не знала. Испугавшись, она инстинктивно отступила от него. Как бы приготовившись к защите, она прислонилась к стволу росшего возле тропинки тонкого деревца с мелкими блеклыми листьями, почти развеянными осенью.

Все же ей удалось сохранить спокойствие, и она улыбнулась, правда несколько принужденно, делая вид, что считает слова сеньора шуткой.

— Нет, — энергично возразил Фебрер. — Я говорю серьезно. Скажи, Маргалида... Цветок миндаля... Что, если бы я был одним из твоих женихов? Если б я появился на смотринах? Что бы ты сказала?

Она прижалась к хрупкому стволу и вся съежилась, словно хотела убежать от этих горящих глаз. От ее невольного движения назад гибкое деревцо затрепетало, и дождь желтых листьев, подобно янтарным стружкам, осыпал ее всю, вплетаясь в косу, приликая к лицу, скользя по платью. Бледная, с плотно сжатыми и посиневшими губами, она шептала отрывистые слова, едва внятные, как слабый вздох. Глаза ее, расширенные и влажные, глядели с тревожным выражением, свойственным робким натурам, которые думают о многом, но не знают, как это высказать. Он! Старший в роде Фебреров! Знатный сеньор, и вдруг — жениться на крестьянке! В себе ли он?

— Нет, я не знатный сеньор. Я нищий. Ты богаче меня, живущего лишь вашим подаванием. Твой отец хочет для тебя мужа, который бы обрабатывал землю. Согласна ли ты, чтобы этим мужем был я? Любишь ли ты меня, Цветок миндаля?

Опустив голову, стараясь избегать обжигавшего ее взгляда, она продолжала говорить, сама не помня что. Это безумие! Быть не может! Владелец майората, и вдруг — такие слова! Он бредит!

Но вдруг она почувствовала, как что-то легко и нежно коснулось ее пальцев. Это была рука Фебрера, завладевшая ее рукой. Она снова взглянула на него, и он показался ей совершенно другим человеком. Она увидела перед собой не знакомое ей прежде лицо и содрогнулась; ее пронзило ощущение внезапного испуга, возвещающего о большой опасности. Колени ее задрожали и подкосились; от страха она едва не лишилась чувств.

— Так ты считаешь, что я стар для тебя? — долетел до ее ушей умоляющий шепот. — Ты никогда не сможешь полюбить меня?

Голос был нежным и ласковым, но эти глаза, которые словно пожирали ее! Это лицо, бледное, как у человека, готового на убийство! Она хотела что-то сказать, возразить на его последние слова. Взгляд ее, казалось, опровергал их. Дон Хайме был всегда для Маргалиды человеком без возраста: он высшее существо, как святые, которые с годами становятся все прекраснее... Но страх лишил ее дара речи. Она высвободила свои пальцы из его ласкающей руки, почувствовав, что ею овладевает какой-то поразительный трепет, словно ее жизнь в опасности, и ускользнула от Фебрера, как от разбойника.

— Иисусе! Иисусе!..

С этой мольбой она отпрянула в сторону, а затем бросилась бежать на своих проворных крестьянских ногах, исчезнув вскоре за поворотом тропинки.

Фебрер не последовал за ней. Оставшись один в безмолвии сосновой рощи, он замер на месте посреди тропинки, безучастный ко всему окружающему, как зачарованный герой старинной легенды. Затем он провел рукой по лицу, словно пытаясь очнуться и навести порядок в мыслях. Его болезненно угнетали, как угрызение совести, собственные дерзкие слова, испуг Маргалиды и ее паническое бегство, которым закончилось свидание. Как это

глупо с его стороны!.. И все потому, что он отправился в город; возвращение к цивилизованной жизни нарушило его отшельнический покой и пробудило былые страсти; а тут еще эти разговоры с молодыми офицерами, которые жили лишь мыслями о женщинах... Нет, он не раскаивается в том, что сделал. Важно то, что Маргалида теперь знает, о чем он так часто мечтал в уединенной башне, не умея придать своим желаниям нужной отчетливости.

Он побрел домой медленно, чтобы не догнать семейства из Кан-Майорки. Маргалида уже успела присоединиться к матери и брату. Он увидел их сверху, когда они шли вдоль долины по направлению к хутору.

Не желая приближаться к Кан-Майорки, Фебрер сделал крюк. Он направился к башне Пирата, но, достигнув ее, продолжал идти все прямо и остановился лишь у самого моря.

Скалистый берег, круто уходивший в воду, подвергался постепенному разрушению, веками сдерживая напор валов. Волны, как разъяренные синие быки, бились об утес с бешеной пеной, оставляя после себя большие впадины, глубокие пещеры, которые поднимались вверх в виде отвесных трещин. Эта вековая работа размывала берег, отрывая его от каменной брони пласт за пластом. От него откалывались огромные глыбы, подобные стенам. Сначала они слегка отходили, образуя незаметную щель, расширяющуюся со временем. Природная стена год за годом наклонялась над волнами, без усталости бившими в ее основание, и наконец, потеряв равновесие, она обрушивалась в одну из бурных ночей, как вал осажденного города, разбивалась на куски и наполняла море новыми подводными камнями. Камни эти быстро покрывались липкими водорослями, в изгибах которых белела пена и сверкала чешуя рыб.

Фебрер уселся на краю большого выступа, обломка скалы, отделившегося от берега и дерзко нависшего над рифами. Пусть долгожданная катастрофа наступит в эту минуту, и тело его, увлеченное грандиозным, обвалом, исчезнет в пучине моря и будет погребено под этим мысом, как в огромном саркофаге, напоминающем пирамиду фараона!.. Чего еще ему ждать от жизни?!..

Заходящее солнце, прежде чем скрыться, выглянуло в просвет ненастного неба, между разорванных туч. Оно походило на кровавый шар, огромную ярко-красную жертвенную облатку причастия, залившую трепещущим заревом беспредельную морскую даль. Густые черные туманы, застилавшие горизонт, окаймились пурпуром. На темно-зеленую поверхность воды лег дрожащий пламенный треугольник. Пена волн покраснела, и берег в течение нескольких минут казался кипящей огненной лавой.

При ярком блеске этих лучей, возвещавших бурную погоду, Фебрер следил за тем, как у него под ногами набегали и откатывались валы, врываясь ревущими потоками в глубь утеса, завывая и крутясь гневными брызгами пены в узких извилистых проходах между рифами.

В глубине этой зеленоватой массы, освещенной заходящим солнцем, придававшим ей дымчатость опала, виднелись прижавшиеся к камням странные растения, целые миниатюрные рощи, на листьях которых копошились диковинные животные, ползающие и юркие или неловкие и малоподвижные, с серыми и красноватыми жесткими панцирями, покрытые иглами, вооруженные клещами, копытами и рогами; они охотились друг за другом и преследовали более слабых, пронесившихся подобно белым искрам и сверкавших в своем стремительном движении, как пылинки прозрачного хрусталя.

Фебрер почувствовал, что одиночество делает его каким-то крошечным существом. Утратив веру в свое человеческое значение, он приравнивал себя к одному из этих маленьких чудовищ, сновавших среди подводных растений. Он, может быть, даже меньше их. У этих животных есть оружие для борьбы за существование, они могут рассчитывать на собственные силы, не зная приступов уныния, самоунижения и тоски, так часто мучивших его.



Море!.. Его величие, безучастное к человеческим судьбам, жестокое и неумолимое в своем гневе, подавляло Фебрера, пробуждая а его памяти бесконечное множество мыслей, которые, возможно, были и новы, но казались ему лишь отголосками прежней жизни, чем-то таким, о чем он уже думал, но неизвестно где и когда.

Трепет глубокого преклонения, невольного благоговения пробежал по его телу, заставив забыть обо всем, что случилось с ним недавно, и наполнив его набожным восторгом. Море!.. Он машинально задумался о самых отдаленных предках человечества, о первобытных людях, несчастных, только что вышедших из начального животного состояния, терзаемых и гонимых буйно расцветшей и враждебной природой, подобно тому как молодое и сильное тело уничтожает или удаляет паразитов, стремящихся жить за счет его организма. На берегу моря, перед лицом таинственного божества, зеленого и необъятного, человек, должно быть, проводил свои лучшие минуты. Из лона вод вышли первые боги: созерцая нескончаемое движение волн, убаюкиваемый их рокотом, человек, видимо, почувствовал, что в нем рождается нечто новое и могущественное — душа... Море!.. Населяющие его таинственные существа живут так же, как и земные, подчиняясь деспотической среде, неподвижные в своем первобытном состоянии, повторяясь в течение столетий, но оставаясь как бы неизменными. И там мертвые повелевают. Сильные преследуют слабых, и, в свою очередь, их пожирают более могущественные: та же история далеких предков в еще не остывших водах формирующейся земли. Все то же самое повторяется на протяжении сотен миллионов лет. Чудовище доисторической эпохи, появившись в нынешних водах, встретило бы со всех сторон, в темных пучинах и на прибрежных отмелях, ту же жизнь и ту же борьбу, как и в дни своей молодости. Воинственный зверь в красном панцире, вооруженный кривыми когтями и грозными клешнями, неумолимый боец подводных пещер, никогда не сочетался с изящной рыбкой, легкой и хрупкой, плещущей хвостом своей серебристо-розовой туники в спокойных и прозрачных водах. Его назначением было пожирать, оставаясь сильным, а если он бывал обезоружен и когти его поломаны, он должен был безропотно покоряться несчастью и погибать. Лучше смерть, чем отказ от своего рода, наследственного рока благородного рождения! Для сильных на суше и на море нет полнокровной жизни вне их среды. Они рабы собственного величия: каста, наряду — с почестями, приносит им несчастья. Л так будет всегда! Мертвые одни властвуют в этом мире. Первые существа, нашедшие путь к жизни, своими же усилиями создали клетку, в которой, подобно узникам, должны совершать свой круг все последующие поколения. Невозмутимые моллюски, видневшиеся в глубине воды и приросшие к камням наподобие темных пуговиц, казались ему божественными созданиями, хранившими в своем бессмысленном покое тайну мироздания. Они представлялись ему большими и могущественными, как чудовища, которым поклоняются дикие народы за то, что те неподвижны, и в спокойствии которых они угадывают величие богов. Фебрер припоминал свои прежние шутки во время ночных кутежей за блюдами свежих устриц в модных парижских ресторанах. Его эlegantные спутницы считали его помешанным, слушая нелепые слова, приходившие ему на ум под влиянием вина, вида раковин и воспоминаний о том, что урывками и наспех было прочитано им в юности.

«Давайте есть наших предков, как веселые людоеды!» Устрица была одним из первых проявлений жизни на нашей планете, одной из начальных форм органической материи, еще расплывчатой, неясной и неподатливой в своем развитии среди бесконечных водных просторов. Симпатичная и оклеветанная обезьяна сыграла лишь незавидную роль двоюродного брата, так и не сумевшего пробить себе дорогу, бедного и смешного родственника, которого выставляют за дверь, будто бы не зная, как его зовут, и которому даже не кланяются. Моллюск был почтенным предком, главою дома, родоначальником династии, предшественником, насчитывавшим за собой миллионы веков дворянства. Эти мысли воскресали теперь в уме Фебрера с ясностью неоспоримых истин при виде неподвижных и неразвитых существ, скованных панцирем и прилипших к обломкам скал у него под ногами, в зеленой хрустальной глубине вод, трепещущих между рифами.

Человечество гордится своим происхождением. Никто не отрицает заветов благородных предков, уснувших в необъятной морской могиле. Люди считают себя свободными, потому что могут передвигаться по своей планете с одного конца на другой; потому что их тело укреплено на двух подвижных членистых колонках, позволяющих им бегать по земле, механически переставляя их шаг за шагом... Но это — заблуждение! Одна из многих обманчивых иллюзий, скрашивающих нашу жизнь и позволяющих нам переносить ее нищету и убожество. Фебрер был убежден, что все рождались между стенками раковин, в оковах двух предрассудков — щепетильности и гордости, и, как бы ни силились люди, им никогда не удастся оторваться от той скалы, вцепившись в которую прозябали их предки. Деятельность, внешние события, независимость характера — все это иллюзии, тщеславие моллюска, дремлющего на своем камне и думающего, будто он плавает по всем морям земного шара, меж тем как его раковина по-прежнему прикреплена к известняку!

Все существа таковы, какими были их предшествующие и какими будут их грядущие поколения. Меняются лишь формы, но душа остается непоколебимой и неизменной, как у первобытных созданий — вечных свидетелей первых проявлений жизни на нашей планете, спящих как будто самым глубоким сном. Тщетны все упорные усилия вырваться из рокового кольца, из наследственной среды, из круга, где мы принудительно вращаемся; когда же наступит смерть, то другие, подобные нам животные будут совершать оборот по тому же кругу, считая себя свободными только потому, что перед ними постоянно будет новое пространство, которое нужно пробежать.

«Мертвые повелевают!» — мысленно заключил еще раз Хайме. Казалось невозможным, чтобы люди не осознавали этой великой истины; чтобы они блуждали в вечном мраке, будучи уверены в том, что создают нечто новое при свете ежедневно рождающихся иллюзий, подобно тому как рождается великое и обманчивое сияние солнца, ведущее нас в бесконечность, полную беспросветного мрака, но кажущуюся нам голубой и лучезарной.

Пока Фебрер предавался этим размышлениям, солнце уже скрылось. Море было почти черным, небо — свинцово-серым, а в туманной дали, на горизонте, змеились молнии, напоминая огненных ужей, спускавшихся на водопой к волнам. Хайме почувствовал на лице и на руках влажные поцелуи первых дождевых капель. Вот-вот должна была разразиться буря, быть может на всю ночь. Молнии сверкали все ближе и ближе; слышался отдаленный гром, словно две враждующие эскадры, постепенно сближаясь, обстреливали друг друга из пушек за туманной пеленой горизонта. Полосы тихой воды между рифами и берегом, отполированные как грани хрусталя, встрепенулись и стали расходиться кругами от упавших в них капель.

Несмотря на это, отшельник не двинулся с места. Он продолжал сидеть на скале, чувствуя глухое раздражение против роковой неизбежности, восставая со всей присущей ему резкостью против тирании прошлого. А по какому праву, в сущности, мертвые повелевают? По какому праву они омрачают мир, окружающий нас, населяя его мельчайшими частицами своей души, которые, словно песчинки костной пыли, оседают в мозгу живущих, навязывая им устаревшие мысли?..

Внезапно Фебрер почувствовал какое-то просветление, будто его озарил необычайный, никогда не виданный яркий луч. Мозг его словно разросся, расширился, как масса воды, готовая разорвать сковывающий ее каменный сосуд. В эту минуту молния осветила море фиолетовой вспышкой, и над его головой раздался удар грома, потрясший зловецким раскатистым эхом необъятные морские просторы, прибрежные впадины и выступы.

Нет, мертвые не повелевают, они не властвуют! Хайме, словно став другим человеком, рассмеялся над своими недавними мыслями. Простейшие животные, за которыми он наблюдал между утесами, а с ними и все живые твари на море и на суше, испытывают на себе рабство среды. Мертвые повелевают ими потому, что те подражают своим предкам, а

им будут подражать их потомки. Но человек — не раб среды: он сотрудничает с нею, а подчас над нею и властвует. Человек — существо разумное и передовое и может изменять окружающее по своему усмотрению. Когда-то, в отдаленные времена, он был рабом природы, но, победив ее и начав пользоваться ее плодами, он разорвал своего рода роковую оболочку, державшую в плену все остальные организмы. Что для него среда, в которой он родился! При желании он создаст себе другую...

Он не смог продолжать свои размышления. Буря разразилась у него над головой. Ливень ручьями стекал с полей его шляпы и бежал по спине. Внезапно наступила ночь. При свете молний виднелась матовая поверхность моря, содрогавшаяся под хлеставшим ее дождем.

Фебрер зашагал к башне со всей поспешностью, на которую только был способен. При всем том он был весел, ему хотелось бежать; он испытывал бьющую через край радость человека, обретающего волю после длительного заключения и не находящего достаточного простора для накопившейся энергии. Он бежал и смеялся, и вспышки молнии несколько раз озаряли его фигуру с поднятым вверх пальцем правой руки, вытянутой перед собой, тогда как левой рукой он протестующе тыкал себе в локоть довольно вульгарным и малоприличным жестом.

— Буду делать, что хочу! — кричал он, наслаждаясь собственным голосом, терявшимся в грохоте бури. — Ни мертвые, ни живые не повелевают мною... Вот тебе!.. К черту благородных предков! Вот тебе!.. К черту прежние мысли!.. К черту всех Фебреров!

Он несколько раз повторил неприличный жест с веселостью озорного мальчишки. Внезапно он попал в полосу красного света, и над его головой раздался пушечный выстрел, словно берег раскололся под натиском гигантского обвала.

— Ударило где-то близко, — сказал Фебрер, с трудом переводя дух.

Мысли его, занятые воспоминаниями о Фебрерах, обратились к его предку, командору Приамо. Удар грома напомнил ему битвы этого демонического героя, набожного рыцаря креста, который подшучивал над богом и над чертом, поступая всегда так, как ему диктовала собственная воля, и то сражался на стороне своих, то жил среди врагов святой веры, зная только свои прихоти и увлечения.

Нет, от него Фебрер не отрекался. Он боготворил доблестного командора: это его настоящий предок, самый лучший из всех, мятежник — дьявол, а не родственник!

Войдя в башню, он зажег свет, закутался в грубый шерстяной плащ, служивший ему для ночных прогулок, и, взяв книгу, решил немного отвлечься, пока Пепет не принесет ему ужин.

Гроза, казалось, прочно нависла над островом. Дождь заливал поля, превращая их в болота, струился потоками по склонам дорог, наполняя их через края, как глубокие овраги, сквозь пористую зелень сосен и кустарников пропитывал горы, словно огромные губки. Быстрые вспышки молний позволяли на мгновение различить пейзаж, напоминавший сновидение: почерневшее море, покрытое клокочущей пеной, затопленные нивы, где, казалось, резвились стаи огненных рыб, и деревья, блестящие сквозь водяную завесу.

Собравшиеся в кухне хутора Кан-Майорки поклонники Маргалиды представляли собой кучу грязных альпаргат и массу человеческих тел, дымящихся от испарений влажной одежды. В этот вечер смотрины затянулись. Пеп по-отечески разрешил атлотам задержаться после обычного часа. Ему было жаль этих парней, которым пришлось бы шлепать под дождем. Он сам когда-то был женихом. Пусть подождут: буря, может быть, скоро уляжется. А если не уляжется, пусть остаются и ночуют кто где сумеет: на кухне или под навесом... Ночь — это все же ночь!

Молодежь, довольная этим обстоятельством, удлинявшим вечеринку, смотрела на

Маргалиду, одетую в праздничное платье и восседавшую посреди комнаты, рядом с пустым стулом. За вечер все побывали на нем; кое-кто смотрел на стул с завистью, не решаясь, однако, занять, его вторично.

Кузнец, стараясь превзойти всех соперников, брэнчал на гитаре, и раскаты грома вторили ему. Певец, забившись в угол, обдумывал новые вирши. Некоторые из юношей шутивными возгласами приветствовали каждую новую вспышку молнии, мелькавшую сквозь дверные щели. Капелланчик улыбался, сидя на полу и подперев подбородок обеими руками.

Пеп, измученный усталостью, дремал на низеньком стуле, а жена его глухо вскрикивала от ужаса всякий раз, как сильный удар грома сотрясал дом, и пересыпала свои скорбные возгласы отрывками из молитв, которые она бормотала для большей силы по-кастильски: «О Варвара пресвятая! Ты, с небес на нас взирая...» Маргалида, безучастная ко взглядам своих поклонников, готова была вот-вот заснуть на стуле.

Вдруг дверь задрожала под двумя ударами чьей-то сильной руки. Собака, которая перед этим вскочила, словно почуяв присутствие кого-то под навесом, вытянула шею, но не залаяла, а мирно завиляла хвостом.

Маргалида и ее мать боязливо взглянули на дверь, Кто бы это мог быть? В такой час, в такую ночь, в здешней глуши!.. Уж не случилось ли чего-нибудь с сеньором?

Пеп, проснувшийся от стука, выпрямился на стуле. «Кто там? Войди!» Он приглашал переступить порог с подлинным величием отца семейства, в духе древних римлян, как неограниченный властелин в доме. Дверь была лишь прикрыта.

Она распахнулась, и в нее ворвался ветер с дождем, задувая пламя лампы и внося в душный воздух кухни внезапную свежесть. Черный прямоугольник двери забелел в клубах пара, и сквозь него на фоне свинцового неба все увидели закутанную фигуру с капюшоном на голове, наподобие кающегося; с плаща стекала ручьями вода, лицо было почти закрыто.

Человек вошел твердым шагом, никому не кланяясь; за ним бежала собака, с ласковым ворчанием лизавшая ему ноги. — Он направился прямо к пустому стулу рядом с Маргалидой — месту, отведенному для поклонников.

Усевшись, он откинул назад капюшон и устремил взгляд на девушку.

— Ах! — простонала она, вся бледная, с широко раскрытыми от изумления глазами.

Она была так взволнована, ее охватило такое сильное желание скрыться от него, что она едва не упала.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Два дня спустя, когда дон Хайме, вернувшись с рыбной ловли, ждал обеда у себя в башне, появился Пеп и с известной торжественностью поставил на стол корзинку.

Крестьянин начал было извиняться за свой неожиданный приход. Дело в том, что жена и Маргалида опять ушли в Кубельскую обитель, а мальчик их провожает.

Фебрер стал есть с большим аппетитом, так как провел в море все утро с — Пеп, ты хочешь мне что-то сказать и не решаешься, — промолвил Хайме на ивисском диалекте.

— Да, сеньор, это верно.

И Пеп, подобно всем застенчивым людям, которые сомневаются и колеблются, прежде чем заговорить, но, преодолев робость, бросаются вперед очертя голову, подстегиваемые собственной боязнью, стал прямолинейно высказывать свои мысли.

Да, ему надо сказать кое-что, причем очень важное. Два дня он все обдумывал, но теперь больше молчать не может. Если он решился принести сеньору обед, то лишь для того, чтобы поговорить с ним. Что угодно дону Хайме? Зачем он смеется над теми, кто его так любит?

— Я! Смеюсь?.. — воскликнул Фебрер.

Да, он смеется над ними. Пеп с прискорбием это утверждал. Что такое случилось в ту ненастную ночь? По какой такой прихоти сеньор явился на смотрины и уселся рядом с Маргалидой, словно ее поклонник? Ах, дон Хайме!

Фестейжи — дело нешуточное: из-за них люди дерутся насмерть. Ему, конечно, хорошо известно, что сеньоры над этим смеются и смотрят на здешних крестьян как на дикарей; но беднякам надо простить их обычаи, позабыть о них и не омрачать их редких радостей.

Настала очередь опечалиться и Фебреру.

— Но если я вовсе не смеюсь над вами, дорогой Пеп! Если все это правда! Узнай же раз навсегда: я так же добиваюсь руки Маргалиды, как Певец, как этот мерзкий верро, как все влюбленные молодые люди, которые приходят к тебе по вечерам на кухню. В ту ночь я пришел потому, что не мог больше выдержать, потому что внезапно понял причину гнетущей меня тоски, — потому что я люблю Маргалиду и женюсь на ней, если она даст согласие.

Тон его слов, искренний и страстный, не оставлял Пепу повода для сомнений.

— Так, значит, это правда! — воскликнул он. — Кое-что мне об этом сказала дочка, со слезами на глазах, когда я спросил ее, почему пожаловал сеньор... Поначалу я ей не поверил. Девицы нынче такие самоуверенные! Воображают, что все мужчины, словно спятив, готовы бежать за ними. Так это правда!..

И эта уверенность вызвала у него улыбку, как нечто неожиданное и забавное.

Ну и дон Хайме! Ему, Пепу, и его семье — большой почет от такого внимания к жителям Кан-Майорки. Плохо только для девушки: она возгордится, вообразит, что она достойна принца, и не захочет пойти за крестьянина.

— Не может быть, сеньор. Разве вы сами не понимаете, что этого не может быть? Я ведь тоже был молодым и знаю, что это такое. Первый порыв — и мы готовы идти за любой атлотой, если, конечно, она не дурнушка. Но как только задумаешься да пораскинешь, что хорошо и что плохо, что тебе больше подходит, так в конце концов и не будешь больше делать глупостей! Вы ведь еще подумаете, не правда ли, сеньор?.. В тот вечер это была просто шутка, прихоть...

Фебрер энергично потрянул головой. Нет, это не шутка и не прихоть. Он любит Маргалиду, нежный Цветок миндаля, уверен в своей любви и пойдет за ней куда угодно. Он хочет впредь действовать так, как ему диктует собственная воля, без мелочных сомнений и предрассудков.

Довольно ему быть их рабом. Нет, никаких размышлений, ни малейшего раскаяния! Он любит Маргалиду и просит ее руки с таким же правом, как и любой молодой мужчина на острове. Вот и все.

Пеп, покоробленный этими словами, уязвленный в своих самых давних и сокровенных взглядах, протестующе воздел руки, и вся его простая душа отразилась в глазах, полных испуга и изумления.

— Сеньор!.. Сеньор!..

Он готов был призвать в свидетели господ бога, чтобы выразить свое смущение и удивление. Такой, как Фебрер, хочет жениться на крестьянке из Кан-Майорки!.. Нет, мир уже не тот: должно быть, перевернулись все законы, словно море собирается затопить остров и миндаля отныне будет цвести на волнах. Да представляет ли себе дон Хайме, что значит его желание?

Все почтение, накопившееся в душе крестьянина за долгие годы холопства у знатной семьи, набожное преклонение перед ней, внушенное ему родителями, когда еще в детстве он наблюдал приезды майоркинских господ, — все эти чувства теперь воскресли и протестовали против такой нелепости, как против чего-то несовместимого с человеческими обычаями и божественной волей. Отец дон Хайме был человеком могущественным, из тех, кто сочиняет законы в Мадриде; он даже жил в королевском дворце. Пеп все еще его видел мысленно таким, каким тот представлялся ему в наивных детских фантазиях — повелевающим людьми по своей прихоти: одних может послать на виселицу, а других помиловать, как ему вздумается; сидит за одним столом с королями и играет с ними в карты, обращаясь на «ты», точно так же как он, Пеп, с каким-нибудь приятелем в таверне Сан Хосе; если же сеньор не при дворе, то он полновластный командир на стальных кораблях, изрыгающих дым и пламя... А дед, дон Орасио? Пеп видел его мало и, тем не менее, все еще почтительно трепетал, вспоминая его гордую осанку, серьезное лицо, не знавшее улыбки, и величественный жест, которым он сопровождал свои милости. Это был король на старинный лад, один из тех добрых и справедливых королей, которые бывают — И вы хотите, чтобы я, бедный Пеп из Кан-Майорки, породнился с вашим отцом и дедом, со всеми вашими сеньорами, которые были хозяевами Майорки и владыками мира?.. Да что вы, дон Хайме! Мне все ж таки кажется, что это шутка. Вашей серьезностью вы меня не обманете! Дон Орасио тоже говорил порой самые забавные вещи, а как был судьей, так судьей и оставался.

Хайме обвел взглядом внутреннее убранство башни и не мог не усмехнуться при виде его убожества.

— Да ведь я нищий, Пеп! Ты же богач в сравнении со мной! К чему вспоминать про мою родню, когда я живу твоим подаванием?.. Если ты меня бросишь, я даже не знаю, куда мне податься.

На лице Пепа снова отразилось недоверие, с которым он привык встречать подобные смиренные слова.

Нищий! Да разве эта башня не его собственность? Фебрер на это рассмеялся. О чем говорить! Четыре старых камня, и те разваливаются, оттого что им надоело держаться вместе; невозделанная гора, которая сможет приобрести какую-нибудь цену, лишь когда ее обработают трудолюбивые крестьянские руки... Но тот упорно держался своего. У сеньора остается имущество на Майорке; оно хоть и опутано долгами, но все же большое и даже очень!

И, широко разведя руками, словно желая показать, что состояние Фебрера необъятно и что никому не удастся его отнять, он убежденно добавил:

— Фебреры никогда не бывают бедны, и вы никогда не сможете обеднеть. На смену нынешним временам придут и другие!

Хайме перестал доказывать ему свою бедность. Если Пеп считает его богатым, тем лучше. В таком случае атлоты, которые кроме своего острова ничего не видели, не посмеют сказать, что он хочет породниться с семьей Пепа только с отчаяния, надеясь вернуть себе землю Кан-Майорки.

Что удивительного в том, что он добивается союза с Маргалидой? В сущности, это всего лишь повторение вечной истории о том, как переодетый странствующий король влюбляется в пастушку и предлагает ей руку. А он не король и не переодетый, а самым настоящим образом скован нуждой.

— И я знаю эту сказку, — ответил Пеп. — Мне в детстве ее не раз рассказывали, да и сам я рассказывал ее своим детям. Не спорю: может, и это случилось, но только в другие, давнишние времена... когда звери разговаривали.

Для Пепа далекая древность и счастливая жизнь людей всегда была тем блаженным временем, «когда звери разговаривали».

Ну, а нынче!.. Нынче он, хотя и не умел читать, узнавал о том, что делается на свете, когда ходил по воскресеньям в Сан Хосе и беседовал с сельским писарем и другими грамотными людьми, читавшими газеты. Короли женятся на королевах, а пастухи на пастушках. Каждому свое. Добрые времена миновали.

— Но ты, должно быть, знаешь, любит меня Маргалида или нет?.. Или ты уверен, что для нее все это сплошной вздор, так же как для тебя?..

Пеп довольно долго молчал и, засунув руку под шляпу и шелковый платок, надетый по-женски, почесывал курчавые седые волосы. Он лукаво и пренебрежительно усмехался, словно видел что-то забавное в подневольной доле деревенской женщины.

— Женщины! Подите же узнайте, дон Хайме, что у них на уме!.. Маргалида — как и все: воображает о себе и любит все особенное. В ее годы многие мечтают о том, что за ними приедет граф или маркиз и увезет их в золотой карете, а подруги лопнут от зависти. Я сам, когда был молод, частенько думал, что за меня выйдет самая богатая невеста в Ивисе; я понятия не имел, кто она такая, но знал, конечно, что она красива, как пресвятая дева, да и луговой земли у нее на Полуострове хватит... Это все потому, что лет мне еще было мало...

Он перестал улыбаться и добавил:

— Она, может, и любит вас, да не понимает толком, что это такое. Редко, когда молодежь разбирается в любви. Плачет, если ей говорят о том самом вечере; твердит, что все было как в чаду, но против вас — ни слова... Эх, кабы ей в сердце заглянуть!..

Фебрер радостно улыбнулся при этих словах, но крестьянин быстро нарушил его веселое настроение, решительно заявив:

— Нет, куда там! Не бывать этому!.. Пусть думает что хочет, да я не согласен: я ее отец и желаю ей добра. Эх, дон Хайме! Каждому свое. Помнится мне, был один монах, отшельник в Кубельсе, человек ученый, да, как все они,

— полоумный: задумал он птенцов получить от петуха и чайки, да таких, что с гуся ростом.

И с той серьезностью, с какой крестьяне смотрят на жизнь и скрещивание животных, Пеп принялся описывать, как беспокоились крестьяне, когда шли в Кубельс, и с каким любопытством они толпились вокруг большой клетки, где под надзором монаха сидели петух

и чайка.

— Долгие годы бился над этим добрый сеньор, да так ни одного птенца и не дождался. Чего нельзя, того нельзя! Разная была кровь, разная порода. Жили они вместе, тихо и мирно, да вот друг другу под пару не были и не могли быть. Каждому свое.

И, говоря это, Пеп стал собирать со стола тарелки и укладывать их в корзинку, готовясь уходить.

— Расстанемся на том, дон Хайме, — сказал он с упрямством простолюдина,

— что все это шутка и вы не будете больше смущать девочку своими причудами.

— Нет, Пеп! Расстанемся на том, что я люблю Маргалиду и буду ходить на смотрины с тем же правом, что и любой парень на острове. Нужно уважать старинный обычай.

И он улыбнулся при виде недовольной мины крестьянина. Пеп покачал головой в знак несогласия. Нет! Он заявляет еще раз, что это невозможно. Девушки квартона будут смеяться над Маргалидой: забавно ведь, когда поклонник — чужой человек и нарушает принятый обычай; злые языки, чего доброго, распустят сплетни про Кан-Майорки, у которого в прошлом все честно, как у самой доброй семьи на острове. Даже приятели, когда он пойдет к мессе в Сан Хосе и все сойдутся к церковной ограде, будут говорить, что он зазнался и хочет сделать из дочки сеньориту... Да этого еще мало. Не надо забывать, что соперники разозлились и что их одолела ревность, когда вдруг увидели, что он входит в самый разгар грозы и садится рядом с Маргалидой. Сейчас, наверно, они уже оправились от изумления и говорят о нем, обсуждая, как бы всем имеее дать отпор непрошеному гостю. Островитяне остались прежними. Они могут убивать друг друга, но не трогать чужеземца, считая его в своей среде посторонним, равнодушным к их страстям. Но если этот пришелец, да к тому же еще майоркинец, станет вмешиваться в их дела, что хорошего из этого выйдет? Видано ли это, чтобы выходцы из других мест оспаривали у ивитян невесту?.. Дон Хайме, ради вашего отца, ради вашего достойного деда! Вас просит Пеп, он знает вас с детства. Дом этот — ваш, и все, кто в нем живет, готовы вам служить... Но не настаивайте на вашем капризе! Он принесет вам несчастье!..

Фебрер, начавший было снисходительно слушать, внезапно возмутился этими страхами Пепа. В нем пробудилась его неукротимость; опасения, высказанные крестьянином, наносили ему тяжкое оскорбление. Бояться — это ему-то! Он готов был биться с любым атлотом на острове. Нет на Ивисе такого, перед которым бы он отступил. К воинственной страстности влюбленного присоединилась наследственная гордость, давнишняя ненависть, разделявшая жителей обоих островов. Он будет ходить на смотрины: у него есть надежные спутники, которые его защитят в случае необходимости. И он взглянул на ружье, висевшее на стене, а затем перевел глаза на пояс, где у него был спрятан пистолет.

Пеп уныло понурил голову. Таким и он был в молодые годы. Из-за женщины еще и не так с ума сходят. Не стоит убеждать сеньора: он упрям и горд, как вся его родня.

— Делайте что вам будет угодно, дон Хайме, но помните, что я вам сказал. Нас ждет беда, большая беда.

Крестьянин вышел из башни, и Хайме увидел издали, как тот спускается с горы к дому, а морской ветерок треплет концы его платка и женский плащ, накинутый на плечи.

Пеп исчез за оградой Кан-Майорки. Фебрер собирался уже отойти от двери, как вдруг заметил на откосе, среди тамарисков, юношу, который, оглянувшись по сторонам и убедившись, что за ним не следят, бросился к нему. Это был Капелланчик. В несколько прыжков он поднялся по лестнице в башню и, очутившись перед Фебрером, разразился смехом, обнажая мраморную



белизну зубов, обрамленных коралловыми губами.

С того вечера, как сеньор появился у них дома, Капелланчик стал относиться к нему с большей доверчивостью, словно считая его уже членом семьи. Ему казалось вполне естественным, что Маргалида нравится сеньору, а тот хочет жениться на ней.

— Позволь, разве ты не был в Кубельсе? — спросил Фебрер.

Мальчик снова рассмеялся. Он оставил мать и сестру на полдороге и, спрятавшись в тамарисках, ждал, чтобы отец ушел из башни. Старик, наверно, хотел поговорить с доном Хайме о важных делах; потому-то он и отправил всех из дому и взялся сам отнести обед. Вот уже два дня, как в доме только и говорят о том, что нужно навестить сеньора. Робость и почтение к «хозяину» заставило поначалу отца колебаться, но наконец он решился. Смотрины Маргалиды раздражали его. Что, старик много ворчал?

Фебрер, уклонившись от ответа, стал расспрашивать его сам, с заметной тревогой. А Цветок миндаля? Что она говорит, когда Капелланчик упоминает о нем?

Юноша самодовольно приосанился, радуясь тому, что может оказать сеньору услугу. Сестра ничего не говорит: иногда она улыбается, когда услышит в разговоре имя; дон Хайме, иногда ей на глаза навертываются слезы; но почти всегда она прерывает беседу, советуя Капелланчику не вмешиваться в этот вопрос, а порадовать отца и поступить в семинарию.

— Все уладится, сеньор, — продолжал Пепет, чувствуя, что его персона приобретает особый вес. — Уладится, говорю я вам. Я уверен, что сестра вас очень любит... Только немного боится вас; слишком уж она вас уважает. Кто мог подумать, что вы обратите на нее внимание! Дома все словно с ума посходили: отец сердито хмурится и разговаривает сам с собой, мать охает и призывает святую деву; Маргалида плачет. А люди между тем думают, что нам очень весело. Но все уладится, дон Хайме, ручаюсь вам.

Кроме решения Маргалиды, его волновали и другие вещи. Он говорил с Фебрером, а мысли его все время были обращены к бывшим приятелям — атлетам, ухаживавшим за Цветком миндаля. Берегитесь, сеньор! Смотрите в оба! Пока он не может сказать ничего определенного; разве только, что кое-кто из молодежи перестал доверять ему и многие остерегаются затевать при нем разговор. Но они явно что-то замышляют. Неделю тому назад они будто ненавидели друг друга и держались порознь; а теперь все объединились и проклинают чужеземца. Они молчат, но это безмолвие мало кого может успокоить. Единственный парень, который кричит и мечется, как взбесившийся ягненок, — это Певец: он выгибается всем своим тощим, чахоточным телом и, превозмогая жестокие приступы кашля, грозит убить майоркинца.

— Они потеряли к вам уважение, дон Хайме, — продолжал юноша. — Когда они увидели, что вы вошли и сели рядом с моей сестрой, все словно обалдели. Я тоже не сразу понял, в чем дело, хотя сердце давно чуяло, что вы равнодушны к Маргалиде. Вы уж очень много расспрашивали о ней... Теперь у них первый страх позади, и они что-то задумали. Посмотрим, как это выйдет! Они-то, в общем, правы: видано ли, чтобы чужие пришли и отняли невесту у самых храбрых молодцов на острове?

Поддавшись вспышке местного патриотизма, Капелланчик готов был на минуту разделить взгляды земляков, но в нем тотчас же воскресло чувство благодарности и привязанности к Фебреру.

— Неважно: вы ее любите, и все тут. Зачем моей сестре трудиться на поле и надрываться, когда она понравилась такому сеньору, как вы? К тому же, — и тут проказник лукаво улыбнулся, — мне этот брак на руку. Вы же не будете работать в поле и увезете Маргалиду? А старик, не зная, кому оставить Кан-Майорки, позволит мне стать земледельцем, жениться,

и — прощай капелланство!.. Повторяю, дон Хайме, вы ее возьмете. Я, Капелланчик, с вами заодно и готов драться за вас с половиной острова.

Он огляделся по сторонам, словно боясь встретиться с усами и строгими взглядами солдат гражданской гвардии; затем, после некоторых колебаний, свойственных великому и вместе с тем скромному человеку, который опасается, как бы не обнаружить своего величия, он поднял руку и вытащил из-за пояса нож; блеск и чистота лезвия, казалось, гипнотизировали его.

— Ну как? — проговорил он, с восторгом любуясь сверкающей поверхностью девственной стали и поглядывая на Фебрера.

Это был нож, подаренный ему накануне доном Хайме. Тот был в хорошем настроении и велел Капелланчику стать на колени. Затем с шутливой важностью он ударил его оружием по плечу и провозгласил непобедимым рыцарем квартона Сан Хосе, всего острова, а также всех проливов и прилегающих скал. Хитрец, глубоко взволнованный полученным подарком, отнесся к церемонии со всей серьезностью, считая ее чем-то совершенно обязательным среди сеньоров.

— Ну как? — переспросил он, глядя на дона Хайме так, словно тот своим безграничным мужеством прикрывал его от удара. Мальчик слегка провел по лезвию пальцем и нажал кончиком его на острие, с восторгом ощущая укол. Какая прелесть!

Фебрер кивнул головой: да, ему знакомо это оружие, он сам принес его из Ивисы.

— А с ним, — продолжал мальчик, — нет такого храбреца, который стал бы у нас на пути. Кузнец?.. Ерунда! Певец и все прочие?.. Тоже ерунда!.. И мне ничего не стоит пустить его в дело! Кто хоть что-нибудь задумал против вас, тот может считать себя мертвым!

И затем с грустью, подобающей великому человеку, когда тот видит, что теряет время и не может проявить свою храбрость, он добавил, потупившись:

— Говорят, дедушка в мои годы был уже верро и наводил страх на весь остров.

Часть вечера Капелланчик провел в башне. Он говорил о предполагаемых врагах дона Хайме, которых уже считал своими, то прятал, то снова доставал нож, словно ему обязательно нужно было видеть свое искаженное отражение на полированном клинке; он размышлял о жестоких боях, которые непременно кончались бегством или смертью противников и где он рыцарски спасал растерявшегося сеньора. Тот смеялся над мальчишеским задором и подшучивал над этой страстью к борьбе и разрушению.

Когда стемнело, Пепет спустился к отцовскому дому, чтобы принести ужин. Под навесом ему уже попались на глаза несколько поклонников, пришедших издалека и сидевших на каменных скамьях в ожидании начала смотрин.

— До скорого свиданья, дон Хайме!..

С наступлением ночи Фебрер собрался идти в Кан-Майорки. Движения его были резки, взгляд суров, в руках ощущалась едва уловимая нервная дрожь, как у человека, готового на убийство, как у первобытного воина, когда тот спускался с гребня горы, собираясь совершить набег на долину. Перед тем как накинуть на плечи плащ, он достал из-за пояса револьвер и тщательно проверил состояние патронов и взвод курка. Все в порядке! Первому, кто вздумает напасть на него, он всадит шесть пуль в голову. Он чувствовал в себе грубость неумолимого варвара, подобно тем Фебрерам, которые налетали на вражеские берега и убивали, чтобы самим не быть убитыми.

Он спустился по склону горы сквозь заросли тамарисков, шелестевших волнистыми рядами во мраке ночи, и все время держал руку на поясе, поглаживая рукоятку револьвера. Никого! У входа в дом Песта он застал группу молодежи; одни ожидали стоя, другие — сидя на скамьях, пока семья ужинала в кухне. Фебрер в темноте почувствовал их присутствие по резкому запаху новых пеньковых альпартат и грубой шерсти плащей и мантий. Красные огоньки сигар — Добрый вечер! — сказал Фебрер, подойдя к молодым людям.

В ответ ему проворчали что-то невнятное. Разговоры, которые велись вполголоса, прекратились, и над всей этой мужской толпой нависло враждебное и тягостное молчание.

Надменно вскинув голову, Хайме прислонился к столбу навеса. Фигура его вырисовывалась на фоне неба. Он, казалось, угадывал взгляды, устремленные на него в темноте.

Его охватило непонятное волнение, но не от страха: он почти забыл об окружавших его противниках и думал с беспокойством только о Маргалиде. Он ощущал лихорадочный трепет влюбленного, когда тот угадывает близость любимой женщины и сомневается в удаче, опасаясь и в то же время желая появления дорогого существа.

Отдаленные воспоминания прошлого нахлынули на него и вызвали улыбку. Что бы сказала мисс Мери, если бы она увидела его в толпе этих крестьян, трепещущего и робкого при мысли о близости деревенской девушки?.. Как бы посмеялись его прежние мадридские и парижские подруги, встретив его в этом крестьянском наряде, готового убить всякого ради того, чтобы завоевать женщину, почти равную их слугам!..

Полупритворенная дверь в дом распахнулась, и в ее красноватом прямоугольном просвете появилась фигура Пепа.

— Входите, люди! — промолвил он тоном патриарха, который понимает юношеские порывы и добродушно посмеивается над ними.

Один за другим мужчины вошли в дом, приветствуя сенью Пепа и его домочадцев, и стали рассаживаться на кухонных скамьях и стульях, словно дети, пришедшие в школу.

Хозяин Кан-Майорки, узнав сеньора, выразил недоумение. Он здесь, ждет с остальными, как простой поклонник, и не решается войти в дом, в его же собственный дом!.. Фебрер в ответ лишь пожал плечами. Он не хочет отставать от других и находит, что это самый простой способ осуществить желаемое. Пусть ничто не напоминает о его прежнем положении уважаемого друга и сеньора: он претендент на руку Маргалиды, и только.

Пеп усадил его с собой рядом, желая занять разговором, но Фебрер не отводил глаз от Цветка миндаля. Как и полагалось по церемонии, девушка сидела на стуле посреди комнаты, принимая с видом застенчивой королевы дань восхищения своих поклонников.

Все по очереди садились рядом с Маргалидой, и та тихо отвечала на их слова. Она делала вид, что не замечает дана Хайме, и почти совсем отвернулась от него. Выжидавшие своей очереди поклонники были молчаливы; среди них не слышалось веселых шуток, как в прежние вечера... Казалось, что-то мрачное подавляло их всех и заставляло сидеть молча, опустив глаза и сжав губы, будто в соседней комнате лежал покойник. Причиной тому было присутствие чужого, непрошеного гостя, человека другого круга и иных привычек. Проклятый майоркинец!..

Когда все молодые люди успели побывать на стуле рядом с Маргалидой, поднялся сеньор. Он пришел на смотрины последним, и за ним был теперь законный черед. Пеп, болтавший без умолку, чтобы его занять, разинув рот остановился на полуслове, видя, что собеседник отходит, не слушая его.

Хайме сел рядом с Маргалидой, которая, казалось, не видела его: она опустила голову и пристально уставилась себе в колени. Все атлоты сидели молча, чтобы в тишине лучше расслышать малейшее слово чужеземца; однако Пеп, разгадавший их намерения, стал громко разговаривать с женой и сыном по поводу работ, намеченных на следующий день.

— Маргалида! Цветок миндаля!

Голос Фебрера, понизившись до нежного шепота, коснулся слуха девушки. Он хочет убедить ее, что это — любовь, настоящая любовь, а не прихоть, как она считает. Феблер и сам толком не знал, как это случилось. Он томился одиночеством, смутно желая чего-то лучшего, что находилось, может быть, совсем близко от него, но чего он, по слепоте своей, не замечал... И вдруг он увидел, что счастье... счастье — это она, Маргалида, Цветок миндаля! Он уже не молод, он беден, но он так ее любит!.. Он ждет от нее одного лишь слова, чтобы рассеять неизвестность, в которой он живет.

Она же, чувствуя близость губ Фебрера, ощущая его горячее дыхание, только тихо покачала головой. «Нет, нет! Уходите!.. Мне страшно!» Она на минуту подняла глаза и окинула быстрым взглядом всех смуглых юношей, сидевших с трагическим выражением на лицах и словно пожиривших ее и Фебрера огненными глазами.

Страшно!.. Этого слова было достаточно, чтобы Феблер покончил со своими застенчивыми мольбами и надменно взглянул на сидевших перед ним соперников. Страшно — за кого? Он был готов сразиться со всеми этими увальнями и их бесчисленной родней. Нет, Маргалида, не страшно! Ей не следует бояться ни за себя, ни за него. Хайме ее умоляет только о том, чтобы она ответила на его вопрос. Может ли он надеяться? Что она хочет ему сказать?..

Но Маргалида продолжала сидеть молча, с бескровными губами и мертвенно-бледными щеками, часто мигая, чтобы скрыть под тенью ресниц влажные от слез глаза. Она была готова расплакаться. Видно было, что она усиленно сдерживалась и тяжело дышала. Ее внезапные слезы в этой враждебной обстановке способны были послужить сигналом к схватке, могли мгновенно вызвать взрыв негодования, нараставшего вокруг нее. Нет... Нет!.. И это усилие воли лишь увеличивало ее тревогу, заставляя смиренно прятать лицо, подобно тому как кроткие и добрые животные думают спастись от опасности, пряча голову. Мать, которая сидела в углу и плела корзины, инстинктивно, чисто по-женски волновалась. Ее простая душа отчетливо поняла состояние Маргалиды. Заметив беспокойство в ее глазах, печальных и покорных, как у затравленного зверька, отец вовремя вмешался в дело:

— Половина десятого! — В группе атлетов послышались возгласы удивления и протеста. Ведь еще рано. До положенного часа пройдет еще немало минут, а уговор — закон. Но Пеп со своим крестьянским упрямством притворялся глухим и твердил все то же. Он встал, подошел к двери и открыл ее настежь: — Половина десятого! — Каждый хозяин у себя в доме, и он поступает так, как находит нужным. Завтра ему рано вставать. — Доброй ночи!..

И он стал прощаться со всеми поклонниками, выходящими из дома. Когда мимо него проходил дон Хайме, мрачный и раздраженный, Пеп попытался удержать его за руку. Надо подождать: он проводит сеньора до башни. Он с тревогой поглядывал на Кузнеца, стоявшего позади и умышленно медлившего уходить.

Но сеньор ничего не ответил и резким движением высвободил руку. Проводить его!.. Он был взбешен молчанием Маргалиды и считал его дурным признаком; его раздражало враждебное отношение к нему парней и странное замешательство, которым окончился вечер.

Атлоты разбрелись в темноте без криков, возгласов и песен, будто возвращались с похорон. Казалось, во мраке этой ночи витало нечто трагическое.

Феблер, не оборачиваясь, шел своей дорогой, желая убедиться, не идет ли кто-нибудь за ним

по пятам, и принимая легкий хруст ветвей тамарисков, гнущихся под ночным ветром, за тайную погоню преследователей.

Подойдя к подножию холма, где заросли кустарника были особенно густыми, он обернулся и остановился. Его силуэт резко выделялся на белой тропинке при тусклом свете звезд, В правой руке он держал пистолет, нервно сжимая рукоятку, и лихорадочно нащупывал пальцем курок, страстно желая выстрелить. Неужели никто не гонится за ним? Неужто не покажется верро или кто-нибудь еще из его противников?..

Прошло много времени, но никто не показывался. Окружавшая его лесная растительность, казавшаяся огромной в таинственном сумраке ночи, без умолку шелестела, как будто иронически посмеивалась над его гневом. Наконец свежесть и величие дремлющей природы, должно быть, подействовали на него. Он презрительно пожал плечами и, держа револьвер наготове, снова тронулся в путь; дойдя до башни, он заперся у себя.

Весь следующий день он провел в море с дядюшкой Вентолера. Вернувшись домой, он нашел на столе уже остывший ужин, который принес ему Капелланчик. Несколько крестов и имя Фебрера, нацарапанные стальным острием на стене, поведали ему о посещении юноши. Семинарист не мог вести себя спокойно, имея нож под рукой.

На другое утро мальчик явился в башню с таинственным видом. Он должен сообщить дону Хайме важные вещи. Накануне вечером, гоняясь за какой-то птицей в сосновом лесу, по соседству с кузницей, он видел издали, как под навесом своего жилища Кузнец разговаривал с Певцом.

— Ну, и что же дальше? — спросил Фебрер, удивляясь тому, что юноша замолчал.

Ничего. Да разве этого мало? Певец не любит ходить по горам: взбираясь на них, он начинает кашлять. Он всегда выбирает долины и усаживается под миндальными и фиговыми деревьями, чтобы сочинять свои куплеты. Если он поднялся к кузнице, то, наверно, Кузнец позвал его к себе. Оба говорили очень оживленно. Верро, по-видимому, давал советы, а бедняга слушал его и утвердительно кивал головой.

— И что же? — переспросил Фебрер.

Капелланчик с сожалением взглянул на недогадливого сеньора. Нынче суббота, день фестейжа. Они наверняка задумали что-то против сеньора, на случай если тот явится в Кан-Майорки.

Фебрер воспринял эти слова с презрительной усмешкой. Он спустится к хутору, несмотря ни на что. Подумаешь, как они ему страшны!.. Жаль только, что они все медлят и не нападают! Остаток дня он был настроен возбужденно и воинственно, желая, чтобы поскорее наступил вечер. Прогуливаясь, он избегал подходить к Кан-Майорки, а смотрел на дом лишь издали, надеясь увидеть в дверях, хотя бы на несколько минут, изящную фигурку Маргалиды, казавшуюся на расстоянии совсем маленькой. И, тем не менее, он не осмеливался приблизиться, словно какая-то неодолимая робость преграждала ему путь к усадьбе, пока светило солнце. С тех пор как он начал ухаживать, он не мог явиться в дом на правах друга. Его приход способен был смутить членов семьи; к тому же, он боялся, что девушка при виде его спрячется.

Как только день угас и на ясном зимнем небе заблестели звезды, Фебрер вышел из башни.

На коротком пути к дому Пепа в его уме снова ожили воспоминания с такой же убийственной отчетливостью, как и в прошлый раз, когда он шел на смотрины.

«Если бы меня увидела мисс Мери, — подумал он, — она, вероятно, сравнила бы меня с

сельским Зигфридом, который отправляется убивать дракона, охраняющего ивисское сокровище... Если бы меня увидели некоторые знакомые дамы, каким смешным все бы им показалось!»

Но его любовь мгновенно вытеснила эти воспоминания. Ну и что же, если б его увидели?.. Маргалида выше всех заурядных женщин, которых он когда-то знал: она первая, единственная. Все его прошлое существование казалось ему ложным, искусственным, как жизнь на театральных подмостках, разрисованная и разукрашенная обманчивой мишурой.

Подойдя к навесу, он застал там уже всех поклонников в полном сборе; они как будто что-то обсуждали, понизив голос. При виде его все мгновенно замолчали.

— Добрый вечер!

Никто не ответил; никто даже ничего не промывчал в ответ на его слова, как в прошлый раз.

Когда Пеп, открыв дверь, пропустил их на кухню, Фебрер увидел, что у Певца через левое плечо висит тамбурин, а в правой руке он держит барабанную палочку.

На вечере ожидалась музыка. Одни атлоты, рассаживаясь по местам, лукаво улыбались, словно заранее предвкушали нечто необычайное. Другие, более серьезные, хранили с достоинством брезгливую мину, как люди, опасющиеся присутствовать при неизбежном скандале. Кузнец с безучастным видом сидел в одном из дальних углов, стараясь съежиться и затеряться среди товарищей.

Кое-кто из молодежи уже побеседовал с Маргалидой, как вдруг Певец, увидя, что стул не занят, подошел и сел на него; затем он укрепил тамбурин между коленом и локтем, опершись головой на левую руку. Палочка медленно застучала по натянутой коже инструмента, и послышалось продолжительное шиканье, требующее водворения тишины. То был новый романс: каждую субботу Певец преподносил новые стихи дочери хозяина дома. Обаяние дикой и заунывной музыки, которой привыкли восторгаться с детских лет, заставило всех Бедный чахоточный запел, сопровождая каждый куплет заключительным клохтаньем, от которого содрогалась его грудь и багровели щеки. Но все же в этот вечер Певец, казалось, чувствовал себя более сильным, чем когда-либо; глаза его блестели каким-то особым блеском.

При первых же словах его романса в кухне раздался всеобщий хохот, атлоты отдавали должное ироническому дарованию сельского поэта.

Фебрер почти не разбирал слов, слушая эту монотонную и визгливую музыку, напоминавшую, пожалуй, первые песни моряков-семитов, рассеянных по Средиземному морю; он погрузился в собственные размышления, чтобы сократить время ожидания и меньше страдать от непомерно долгого романса.

Взрыв хохота привлек его внимание: он смутно угадал в этом смехе нечто враждебное, направленное против него. Что там поет этот взбесившийся ягненок?.. Голос поющего, его крестьянский выговор и непрерывное клохтанье в конце куплетов делали почти неуловимым для Хайме смысл слов; однако мало-помалу он разобрал, что романс направлен против девиц, мечтающих бросить деревню, выйти замуж за дворян и блистать нарядами, какие носят городские сеньоры. Дамские моды описывались самым нелепым образом, что вызывало смех у сельских слушателей.

Простак Пеп тоже смеялся этим шуткам, которые льстили его самолюбию крестьянина и гордости мужчины, склонного видеть в женщине лишь товарища по тяжелому труду. Правильно! Правильно! И он покатывался с хохоту вместе с молодыми парнями. Ну и шутник же Певец!

Но, пропев несколько куплетов, импровизатор заговорил уже не вообще, а об одной из них, гордой и бессердечной. Фебрер инстинктивно взглянул на Маргалиду — та сидела неподвижно, потупив глаза, бледная, словно оробев не от того, что слышала, а от того, что неминуемо должно было произойти.

Хайме заерзал на своем месте. Этот грубиян смеет так оскорблять ее в его присутствии!.. Новый взрыв смеха среди парней, еще более громкий и наглый, опять заставил его прислушаться к стихам. Певец высмеивал девицу, которая, желая стать сеньорой, собирается выйти замуж за разорившегося бедняка, бездомного и безродного чужеземца, у которого даже нет пахотной земли...

Эффект этих куплетов был мгновенным. У Пепа, при всем его тугодумии, мелькнула, словно искра, яркая догадка, — он вскочил, повелительно вытянув вперед обе руки:

— Хватит! Хватит!

Но урезонивать было уже поздно. Что-то темное выросло внезапно между ним и огнем лампы — Фебрер рванулся вперед одним прыжком.

Он ловко схватил с колен Певца тамбурин и тут же ударил им по его голове с такой силой, что кожа порвалась и ободок повис над окровавленным лбом, как сбитая набекрень шапка.

Парни вскочили со своих мест, еще не понимая, что им надо делать, но все мгновенно схватились рукой за пояс. Маргалида с плачем кинулась к матери, а Капелланчик решил, что настал момент пустить в ход нож. Отец, пользуясь авторитетом старшего, властно крикнул:

— Вон! Вон!

Атлоты повиновались и вышли из дому в поле. Несмотря на протесты Пепа, Фебрер вышел вместе со всеми.

Атлоты, видимо, разошлись в мнениях и жарко спорили. Одни возмущались: побить несчастного Певца, жалкого больного, который не может даже защищаться!.. Другие качали головой, — они этого ждали: нельзя безнаказанно оскорблять человека и думать, что так все и обойдется. Они заранее были против этой песни, придерживаясь того мнения, что когда мужчинам надо объяснить, то это полагается делать с глазу на глаз.

Из-за несходства во мнениях и соперничества на любовной почве они чуть было не подрались. Внимание их отвлек Певец. Он уже освободился от тамбурина, нахлобученного ему на голову, и вытер кровь со лба; теперь, все еще разъяренный, он только громко плакал, как всякий слабый человек, готовый на самую страшную месть и вместе с тем скованный собственным бессилием.

— Меня! Меня! — стонал он, ошеломленный неожиданным ударом.

Внезапно он нагнулся, нащупал в темноте несколько камней и стал швырять ими в Фебрера, отбегая каждый раз на два-три шага, как бы для защиты в случае нового нападения. Булыжники, брошенные его слабой рукой, пропадали во тьме или стукались о навес.

Вскоре свист камней прекратился. Приятели Певца увели его с собой в ночную мглу. Издали слышались еще его крики: он разражался угрозами, клялся отомстить... Он убьет чужеземца! Он сам расправится с майоркинцем!.. Фебрер, заложив руку за пояс, неподвижно стоял перед толпой врагов. Ему было стыдно за свою вспышку. Побить беднягу чахоточного!.. Чтобы заглушить угрызения совести, он бормотал вполголоса дерзкие, угрожающие слова. Как бы ему хотелось, чтобы песня была спета другим! И он отыскивал глазами Кузнеца, словно желая бросить ему вызов; но грозный верро исчез.

Через полчаса, когда суматоха улеглась и Фебрер направился домой, в башню, он несколько раз останавливался на дороге и сжимал в руках револьвер, словно кого-то поджидая.

Никого!

II

На следующий день, едва взошло солнце, Капелланчик побежал к дому Хайме. Когда он вошел в башню, по виду его было заметно, что он принес важные вести.

Эту ночь в Кан-Майорки все провели плохо. Маргалида плакала, мать причитала, подавленная тем, что произошло. Господи! Что подумают о них жители квартона, узнав, что в их доме мужчины дерутся, как в таверне! Что скажут девушки о ее дочери! Но Маргалиду мало беспокоило мнение подруг. Она была озабочена чем-то другим, чего она не высказывала, но что заставляло ее все время проливать слезы. Сеньо Пеп, заперев входную дверь, целый час прогуливался по кухне, бормоча сквозь зубы и сжимая кулаки. Уж этот дон Хайме!.. Так упорно старается добиться невозможного!.. Упрямя, как все его родичи.

Капелланчик тоже почти не спал, в его мозгу маленького дикаря, хитрого и скрытного, зрело подозрение, которое мало-помалу превратилось в глубокую уверенность.

Войдя в башню, он тотчас же поделился своими догадками с доном Хайме. Как ему кажется, кто сочинил оскорбительную песню? Певец?.. Нет, сеньор: это Кузнец. Стихи-то придумал другой, но замысел принадлежал злодею верро. Он внушил бедняге мысль оскорбить дону Хайме при всем народе, на смотринах, рассчитывая, что тот, конечно, не простит обиды. Теперь ему, Пепету, ясно, для чего оба поклонника встретились на горе, когда он их случайно увидел.

Это известие, которому Капелланчик придавал большое значение, Фебрер воспринял равнодушно. Ну и что же? Нахальство Певца уже наказано, а что Пепет недоверчиво покачал головой. Эх, дон Хайме! Вы не знаете повадок местных храбрецов, хитростей, на которые они пускаются, чтобы мстить заведомо безнаказанно. Нужно быть настороже — теперь больше, чем когда-либо. Кузнец знает, что такое тюрьма, и не хочет снова туда попасть. Он действует сейчас так, как до него поступали другие верро.

Таинственный вид и сбивчивая речь мальчика вывели Хайме из терпения.

— К чему утайки?.. Говори!

Капелланчик выложил наконец свои подозрения. Ведь Кузнец, выслеживая дону Хайме, способен на что угодно: он может подстеречь его в засаде, засев в тамарисках у подножия башни, и убить одним выстрелом. Подозрения обратятся на Певца: все, конечно, припомнят ссору на хуторе и угрозу мести. К тому же, верро подготовит себе оправдание: перебежит напрямик как можно скорее куда-нибудь подальше, чтобы его смогли увидеть, и ему будет легко совершить свою месть безнаказанно.

— Ого! — воскликнул Фебрер, внезапно помрачнев, словно теперь только понял все значение этих слов.

Втайне радуясь своему превосходству, мальчик продолжал давать советы. Дон Хайме не должен быть таким беспечным: надо запирать дверь в башню и с наступлением сумерек не обращать внимания на крики снаружи. Верро, конечно, захочет выманить его в темноту дерзким ауканьем.



— Пусть они аукают хоть целую ночь, не волнуйтесь, дон Хайме. Мне это известно, — продолжал Капелланчик с важностью завязтого верро. — Он будет кричать, притаившись в зарослях, держа наготове оружие, и если только вы выйдете, то не успеете вы даже его увидеть, как он убьет вас из пистолета. Сидите, сеньор, спокойно в башне.

Это — советы на ночь. Днем сеньор может выходить, ничего не боясь. Он, Капелланчик, готов сопровождать его куда угодно. И он воинственно выпрямился с чисто мальчишеским тщеславием, засунув руку за пояс, чтобы убедиться, что нож все еще при нем; однако, заметив, что Фебрер благодарит его насмешливым кивком, Пепет мгновенно приуныл.

— Смейтесь, дон Хайме, потешайтесь надо мной, но я все же могу оказать вам кое-какие услуги. Видите, я предупреждаю вас об опасности. Надо быть начеку. Кузнец недаром затеял всю эту историю с песней.

Он огляделся по сторонам, как военный вождь, готовящийся к длительной осаде. Взгляд его остановился на ружье, висевшем на стене в окружении раковин. Очень хорошо, надо зарядить пулями оба ствола, а сверху еще насыпать мелкой или крупной дроби. Это никогда не мешает. Так всегда поступал его храбрый дед. Затем мальчик наморщил нос, увидя, что револьвер валяется на столе. Очень плохо. Оружие ближнего боя надо постоянно носить при себе. Сам он спит всегда с ножом на животе. Что, если войдут неожиданно, не успеешь и за оружие взяться!..

Башня, выдавшая в прежние века козни и битвы пиратов и походившая на огромную каменную скорлупу, неуютная пустота которой скрашивалась чистой побелкой стен, завладела теперь вниманием мальчика.

Он подошел к двери с некоторой опаской, как будто враг поджидал его на нижней ступеньке лестницы; спрятавшись затем за выступом стены, он высунул в проем часть лица и посмотрел вниз одним глазом. После этого он недовольно покачал головой. Если высунуться ночью, даже соблюдая такие предосторожности, то враг, укрывшись внизу, сможет увидеть его и взять преспокойно на прицел, облокотившись на ветку или на камень, чтобы стрелять без промаха. Еще опаснее податься вперед или решить спуститься. Как бы ни темна была ночь, противник может выбрать точку прицела: отблеск на листве, звезду на горизонте, что-либо проступающее во мраке, резко заметное вблизи лестницы. И как только черная фигура того, кто спускается, закроет намеченный предмет, — стреляй и бей наверняка. Это то, чему учили его степенные люди, которые проводили, бывало, целые месяцы, сидя за холмом или деревом, припав щекой к прикладу и не сводя глаз смушки, и так от зари до зари, лишь бы не упустить какого-нибудь прежнего приятеля.

Нет, Капелланчику не нравилась эта дверь и наружная лестница. Надо искать другой выход. Он взглянул на окно, открыл его и высунулся наружу.

Радуюсь своему открытию, он с обезьяньей ловкостью вскочил на подоконник и исчез, нащупывая руками и ногами неровности стены, глубокие впадины, оставшиеся, словно ступеньки, от камней, которые расселись и выпали. Фебрер тотчас же выглянул в окно и увидел мальчика уже у подножия башни; тот поднял слетевшую с головы шляпу и размахивал ею с победоносным видом. Затем он быстро обежал вокруг башни, и вскоре его шумные и быстрые шаги застучали по деревянным ступенькам, приближаясь к двери.

— Нет ничего проще! — воскликнул он, входя в комнату, покрасневшийся и взволнованный своим открытием. — Это настоящая господская лестница!..

И, сознавая всю важность добытых им сведений, он напустил на себя значительный и таинственный вид. Это останется между ними: ни слова никому. Выход этот — драгоценная находка, и ее надо держать в секрете.

Капелланчик завидовал дону Хайме: у него, Пепета, не было врага, который бы приходил по ночам к башне и вызывал его!.. Пока Кузнец, спрятавшись в засаде и глядя на лестницу, вызывал бы его своим ауканьем, он спустился бы через окно с другой стороны башни и, тихо обойдя ее, стал бы охотиться за охотником. Вот это ловко! Он злорадно рассмеялся, и на его темно-красных губах, казалось, внезапно запылала жестокость славных предков, считавших самым благородным занятием охоту на человека.

Фебрер как будто заразился весельем мальчика. А что, если ему тоже попробовать выйти через окно? Он свесил ноги с подоконника и медленно, так как ему мешала тяжесть его сильного тела, стал нащупывать пальцами ног неровности стены, пока не нашел выбоин, служивших ступеньками. Сбросив несколько отскочивших камней, он потихоньку спустился и наконец со вздохом облегчения почувствовал под ногами землю. Прекрасно! Спуск, оказывается легкий. Немного поупражнявшись, он будет спускаться с такой же ловкостью, как Капелланчик. Пепет, проворно следовавший за ним и соскочивший со стены почти у него над головой, улыбнулся, как учитель, довольный уроком, и тут же принялся повторять свои советы. Пусть дон Хайме их не забудет! Как только его станут вызывать, он должен выскочить в окно и напасть на противника с тыла.

В полдень, когда Фебрер остался один, его охватил воинственный пыл; у него возникло желание немедленно перейти в наступление, и он долго смотрел на то место стены, где висело ружье.

У подножия мыса, где была вытащена на берег лодка дядюшки Вентолера, раздался голос этого старика, певшего мессу. Фебрер стал на пороге и приложил руки ко рту, чтобы окликнуть его.

Моряк с помощью какого-то мальчика спускал лодку на воду. Свернутый парус трепетал наверху мачты. Хайме отказался от приглашения: большое спасибо, дядюшка Вентолера! Тот продолжал настаивать, и голосок его звучал в воздухе, как отдаленный детский плач. День сегодня хорош; ветер переменился, возле Ведры у них будет обильный улов. Фебрер лишь пожал плечами. Нет, нет, большое спасибо, но у него дела.

Едва окончился разговор с моряком, как Капелланчик вторично появился в башне, неся обед. Мальчик казался сердитым и расстроенным. Отец, раздраженный вчерашней сценой, избрал его жертвой и выместил на нем свой гнев. Это же несправедливо, дон Хайме! Он кричал, расхаживая по кухне, а женщины, смущенные и заплаканные, старались не попадаться ему на глаза. Все случившееся отец приписывает слабости своего характера, излишней доброте. Но, заявил он, дело немедленно будет исправлено: сватовство прерывается — ни смотрин, ни простых посещений он больше не допустит. Ну, а что касается Капелланчика, этого скверного мальчишки, непокорного и строптивого, то во всем виноват он!

Пеп и сам хорошенько не знал, как присутствие сына могло повлиять на вчерашний скандал. Но он припомнил его упорное нежелание стать священником, бегство из семинарии, и воспоминание об этих неприятностях вызвало в нем гневное возмущение, которое он обрушивал на мальчика. Уговоры и потачки кончились. В следующий понедельник он отвезет его в семинарию. А если тот вздумает противиться и попытается удрать еще раз, то для него будет лучше наняться юнгой на какой-нибудь парусник, потому что, вернись он домой, отец перебьет ему ноги дверным засовом. И только чтобы отвести душу, размять руки и показать, как сильно он разгневан в дальнейшем, он влепил сыну несколько пощечин, сопровождая их пинками, и этим способом выместил на нем свою досаду за то, что сын его в свое время удрал из Ивисы.

Капелланчик, обычно робкий и терпеливый, забился в угол под защиту многочисленных юбок, которыми плачущая мать оградила его от ярости Пепа. Теперь же, придя в башню и вспомнив обиду, он скрежетал зубами, дико вращал глазами и, бледный как полотно, сжимал кулаки.

Какая несправедливость! Разве так можно — драться без всякого повода, только чтобы сорвать на ком-нибудь свое дурное настроение. Бить его, когда он носит за поясом нож и не боится никого на острове! И все только потому, что он его отец! В такие минуты отцовская власть и сыновнее почтение казались Капелланчику выдумками трусов, созданными только для того, чтобы досадить храбрецам и унижить их. Но еще унижительнее побоев для его мужского самолюбия было неизбежное заключение в семинарию, черная сутана, похожая на женскую юбку, короткая стрижка взамен кудрей, лихо выбивающихся из-под шляпы, да тонзура, способная лишь рассмешить девиц или внушить им холодное уважение. Прощайте, танцы и смотрины! Прощай, верный нож!

Скоро они перестанут видеться с доном Хайме. Меньше чем через неделю намечена поездка в Ивису. Обед в башню будут приносить другие... В глазах Фебрера мелькнула надежда: может быть, Маргалида, как в прежние времена? Но Капелланчик, несмотря на грустное настроение, лукаво улыбнулся: нет, нет, кто угодно, но только не Маргалида! Сам сеньор Пеп вызвался это делать! Когда бедная мать, защищая своего мальчика, робко встала, что на то и паренек в доме, чтобы помочь сеньору, Пеп снова разбушевался. Он сам будет носить в башню обед дону Хайме, а не он — так жена; да, наконец, можно подыскать какую-нибудь девушку для прислуживания сеньору, если тот во что бы то ни стало желает жить подле них.

Капелланчик больше ничего не добавил, но Фебрер догадался, какими словами поносил его этот добряк, позабывший в приступе гнева о своем прежнем уважении и разъяренный тем, что присутствие сеньора вносит в семью только смуту.

Мальчик взял корзину и пошел домой, бормоча про себя угрозы и проклятия и давая обеты не идти в семинарию, хотя и не знал, как этого добиться. Его противодействие принимало в его собственных глазах характер бескорыстного покровительства. Покинуть дону Хайме, когда ему со всех сторон угрожает опасность!.. Быть запертым в этом огромном и унылом доме среди господ в черных юбках, говорящих на диковинном языке, в то время как здесь, в чистом поле, среди бела дня или глухой ночью люди собираются резать друг друга. Предстоят такие события, а он их не увидит!..

Оставшись один, Фебрер снял со стены ружье и долго стоял у двери, рассеянно смотря на него. Мысли его витали далеко, так далеко, что он, видимо, позабыл, что в руках у него двустволка, дула которой направлены на гору... Ну и Кузнец! Несносный задира! С первого же дня, как он его увидел, что-то всколыхнулось в его душе, вызвав непреодолимую антипатию. Никто на острове не раздражал его так, как этот мрачный франт.

Холодное ощущение стали в руках вернуло его к действительности. Он решил выйти на охоту в горы. Но на какую охоту?.. Хайме вынул патроны из обоих стволов — патроны, начиненные мелкой дробью для птиц, пролетавших стаями над островом на пути из Африки. Он достал из ягдташа другие патроны и два из них вложил в стволы, а остальные оставил в сумке. Патроны были с пулями. Крупная охота!

Он перекинул ружье через плечо и, посвистывая, бодрыми шагами спустился по лестнице, ведущей из башни, словно принятое решение развеселило его.

Когда он проходил мимо Кан-Майорки, собака бросилась ему навстречу с радостным лаем. Никто не вышел на порог, как бывало раньше. Его, конечно, заметили из кухни, но не двинулись с места. Собака бежала за ним довольно долго, но, убедившись, что он держит путь в горы, повернула обратно.

Фебрер быстро шел между стенами из дикого камня с отвесными склонами, вдоль тропинок, вымощенных синеватым булыжником и превращенных зимними дождями в узкие и глубокие овраги. Вскоре исчезли из виду обработанные поля, вспаханные плугом: земля была сплошь покрыта дикой и колючей растительностью. Вместо фруктовых деревьев, высокого миндаля и

смоковниц с пышною кроной теперь встречались ели и сосны, согнутые прибрежными ветрами. Остановившись на минуту и посмотрев назад, Фебрер увидел у своих ног Кан-Майорки, похожий на белые игральные кости, выброшенные из стаканчика, который напоминала прибрежная скала. На ее острой вершине высилась, словно фигура постового, башня Пирата. Подъем он совершил почти бегом, как, будто боялся опоздать в назначенное место, которого в точности не знал. Оглядевшись, он снова пустился в путь. Из зарослей вылетели два лесных голубя, шелест крыльев которых напоминал шум раскрывающегося веера, но охотник, казалось, не замечал их. Несколько черных человеческих фигур, притаившихся в кустарнике, заставили Хайме взяться правой рукой за ружье, чтобы снять его с плеча. Это были угольщики, складывавшие дрова. Когда Фебрер проходил мимо них, они пристально взглянули на него, и в их глазах ему почудилась странная смесь удивления и любопытства,

— Добрый день!

Черные люди едва ответили ему, но зато долго провожали его глазами, блестящими на их закопченных лицах, словно прозрачная вода. Несомненно, горные отшельники уже знали обо всем случившемся накануне в Кан-Майорки и удивлялись тому, что сеньор, живущий в башне, идет один, как бы бросая вызов врагам и считая себя неуязвимым.

Больше он никого по дороге не встретил. Вскоре сквозь шум сухих ветвей, колеблемых ветром, он услышал отдаленный стук молота по железу. Пробиваясь сквозь листву, вился легкий столбик дыма. Кузница!

Хайме, слегка свесив с плеча ружье, как будто оно само соскользнуло, вышел на просеку, простиравшуюся в виде широкой поляны перед кузницей. Это был закопченный одноэтажный домишко из необожженного кирпича, с горбатой крышей, выпиравшей местами так, что, казалось, она вот-вот развалится. Под навесом, подобно огненному глазу, сверкал раздутый горн, а рядом, перед наковальней, стоял Кузнец и бил молотом по полосе раскаленного железа, походившей на ствол карабина.

Нельзя сказать, что Фебрер остался недоволен своим театральным выходом на поляну. Верро, услышав звук шагов в промежутке между двумя ударами, взглянул в сторону просеки и застыл с поднятым молотом при виде сеньора из башни. Но его холодные глаза были не способны отразить какое бы то ни было впечатление.

Хайме подошел к кузнице, устремил пристальный и вызывающий взгляд на ее хозяина, но тот, казалось, его не понял. Ни слова, ни поклона. Сеньор прошел дальше, но на краю поляны остановился и, постояв возле одного из деревьев, уселся наконец на его выступающих корнях, зажав ружье коленями.

Прилив задорного мужского тщеславия наполнил душу Хайме. Он был доволен своей дерзостью. Теперь этот хвастун видит, что он явился к нему на пустынную гору и подошел к самому его дому; он может воочию убедиться, что Фебрер его не боится.

И, желая показать свое спокойствие, Хайме достал из-за пояса кисет и стал сворачивать сигаретку.

Молот снова зазвенел по металлу. Фебреру с его места было видно, что Кузнец с беспечной самонадеянностью повернулся к нему спиной, словно не замечал больше его присутствия, и, казалось, весь углубился в свою работу. Эта Невозмутимость несколько обескуражила Хайме. Боже мой, неужели он не разгадал его намерений?.. Хладнокровие Кузнеца его раздражало, но вместе с тем он был крайне признателен своему противнику за то, что тот спокойно повернулся к нему спиной; он, видимо, был уверен, что сеньор не способен воспользоваться этим обстоятельством и послать ему предательский выстрел.

Молот перестал стучать. Когда Фебрер вторично взглянул в сторону навеса, Кузнеца уже не было видно. Это исчезновение заставило его взяться за ружье и нащупать курки. Тот, наверно, выйдет с оружием: ему, должно быть, надоело терпеть эту безмолвную выходку у дверей собственного дома. А может быть, он собирается выстрелить в него через одно из крохотных окошек, освещающих темную избушку? Нужно быть настороже, чтобы не попасться на удочку бывшему арестанту. Фебрер встал и постарался незаметно спрятаться за древесным стволом, выглядывая оттуда лишь одним глазом.

За дверью хижины зашевелились; что-то черное и неопределенное появилось на пороге. Враг сейчас выйдет, внимание! Хайме взял на прицел, решив стрелять, как только покажется дуло неприятельского ружья. Но внезапно он застыл в смущении, увидев черную изношенную юбку, под ней — голые ноги в старых альпартгах, а выше — тщедушное и сгорбившееся костлявое тело, смуглое и морщинистое лицо с единственным глазом и жидкие седые волосы, между космами которых блестел лысый череп.

Фебрер узнал старуху. Это была тетка Кузнеца, та самая одноглазая, о которой ему говорил Капелланчик, единственная спутница верро в его угрюмом одиночестве. Женщина стала под навесом, подбоченилась, выпятила тощий живот, казавшийся огромным из-за многочисленных юбок, и устремила свой единственный глаз, горящий ненавистью, на непрошеного гостя, нагло явившегося сюда для того, чтобы оторвать порядочного человека от работы. Она смотрела на Хайме с гневной заносчивостью женщины, которая, будучи уверена в уважении к своему полу, держится смелее и настойчивее мужчины. Она бормотала угрозы и оскорбления, которых сеньор не мог расслышать, взбешенная тем, что кто-то осмелился пойти против ее племянника, любимого ее детища, к которому она, бесплодная женщина, привязалась со всем пылом неудовлетворенного материнства.

Хайме внезапно понял неблагоприятность своего поступка. Такой человек, как он, явился, чтобы бросить вызов противнику в его же собственном доме! Старуха имеет право оскорблять его. Задира не Кузнец, а он, сеньор, владелец башни, потомок доблестных мужей, кичащийся своим происхождением. Он оробел, смутился, почувствовал себя неловко. Он не знал, как ему уйти, куда бежать. Наконец он вскинул ружье, на плечо и, устремив взгляд вверх, словно преследуя птицу, перелетавшую с ветки на ветку, тронулся в путь сквозь деревья и кусты, чтобы не проходить лишний раз мимо кузницы.

Он спустился по склону горы в долину, поспешно удаляясь от того места, куда его завлекла жажда кровавой расплаты: теперь ему стало стыдно за свои недавние побуждения. По пути он снова встретил черных людей, выжигавших уголь:

— Добрый вечер!

Они ответили на приветствие, но в их глазах, странно выделявшихся своей белизной на закопченных лицах, Фебреру почудилась враждебная усмешка, неприязненная отчужденность, словно он — человек другой касты, совершивший неслыханный поступок, который навсегда исключал для него возможность общения с жителями острова.

Сосны и ели остались позади, на склоне горы. Хайме шел теперь вдоль полос вспаханной земли. В поле виднелись работающие крестьяне. На пригорке ему пришлось пройти мимо нескольких девушек, которые, пригнувшись к земле, пололи траву. По дороге он столкнулся с тремя стариками, медленно шагавшими рядом со своими осликами.

Фебрер со смущением человека, кающегося в дурном поступке, ласково здоровался со всеми:

— Добрый вечер!

Крестьяне, работавшие в поле, ответили ему глухим ворчанием; девушки с досадой

отвернулись, чтобы не смотреть на него; старики ответили на приветствие с грустным видом, вглядываясь в него своими пытливыми глазками, словно в нем было что-то необыкновенное.

Под смоковницей, как под черным зонтом из сплетенных веток, несколько крестьян слушали кого-то, стоявшего и середине группы. Когда Фебрер приблизился, в толпе произошло движение. Какой-то человек в порыве ярости выскочил было из круга, но другие не пустили его и, схватив за руки, удержали на месте. Хайме узнал его по белому платку, повязанному под шляпой: это был Певец. Сильные крестьяне без труда, одной рукой заставили подчиниться болезненного юношу; тот же, лишенный возможности двигаться, в бешенстве грозил кулаком в сторону дороги и, захлебываясь, выкрикивал угрозы и ругательства. Должно быть, он рассказывал своим друзьям о событиях минувшей ночи. В пронзительных криках угадывалось то, чем грозил Певец, то, о чем он кричал накануне в Кан-Майорки. Он клялся убить обидчика, грозился прийти ночью в башню Пирата, поджечь ее и растерзать хозяина.

Вздор! Хайме презрительно пожал плечами и пошел дальше; однако ему стало грустно: его приводила в отчаяние атмосфера недоброжелательства и даже враждебности, которую он ощущал с каждым часом все больше. Что он наделал! До чего дошел! Побил коренного жителя острова! Он, чужеземец... да еще майоркинец!

В приступе охватившей его тоски ему показалось, что весь остров со всем своим миром безгласных вещей присоединяется к этому убийственному сопротивлению людей. Дома, казалось, становились безлюдными, стоило ему лишь поравняться с ними; обитатели их прятались, чтобы не здороваться с ним; собаки выбегали на дорогу с яростным лаем, как будто никогда его раньше не видели.

Обнаженные скалистые вершины гор казались более суровыми и хмурыми; леса — более мрачными, более черными; деревья в долине выглядели облетевшими, жидкими. Камни на дороге скатывались под его ногами, словно убегали, как только он к ним прикасался: небо будто отталкивало его от себя; даже воздух на острове, казалось, вот-вот ускользнет от его дыхания. Фебрер чувствовал себя безнадежно одиноким. Все против него; остается лишь Пеп с семьей, да и те кончат тем, что отойдут от него, — ведь им нужно жить в ладу с соседями.

Чужеземец не пытался восставать против своей участи. Он чувствовал раскаяние и стыд, за то что вспылил накануне вечером и за то что предпринял сегодняшнюю вылазку на гору. Для него на острове нет места. Он чужой, посторонний, пришелец, смутивший своим присутствием патриархальную жизнь этих людей. Пеп принял его с почительностью бывшего слуги, а он отплатил ему за гостеприимство тем, что взбудоражил весь дом и нарушил мир в семье. Люди встретили его с несколько холодной, но спокойной и неизменной вежливостью, как знатного сеньора, приехавшего издалека, а он в ответ на эту почительность побил самого тщедушного из них — того, к кому за его болезненность все жители округа относились с отеческим покровительством. Прекрасно, владелец майората Фебреров! Вот уже сколько времени он ходит как помешанный и говорит одни глупости! И ради чего все это?.. Ради нелепой любви к девушке, которая годится ему в дочери; ради почти старческого каприза, так как он, несмотря на свою относительную молодость, чувствовал себя пожилым человеком, несчастным и жалким по сравнению с Маргалидой и деревенскими парнями, увивавшимися вокруг красавицы. О, это окружение! Проклятое окружение.

Если бы в счастливые времена, когда он жил в своем дворце в Пальме, Маргалида была горничной его матери, он, наверно, почувствовал бы к ней влечение, внушенное ее юной свежестью, но уж никак не любовь. Другие женщины покоряли его в то время изяществом и утонченностью. Но здесь, в глуши, под влиянием самого могущественного из инстинктов, пробужденного воздержанием, увидев Маргалиду, кажущуюся на фоне ее смуглых и грубоватых подруг прекрасной белой богиней, внушающей религиозное преклонение темнокожим народам, он испытывал безумное желание, и все его поступки были совершенно лишены здравого смысла, словно он окончательно потерял разум.

Ему надо бежать: на острове для него нет места. Быть может, пессимизм обманывал его в оценке того чувства, которое влекло его к Маргалиде. Быть может, это не желание, а любовь, первая настоящая любовь в его жизни: он почти уверен в этом. Но как бы то ни было, надо забыть и бежать, бежать как можно скорее.

Зачем ему здесь оставаться? Какая надежда удерживает его?.. Маргалида избегала его, словно неожиданное открытие, что он ее любит, оказалось ей не по силам, — молча пряталась и все только плакала, а слезы — это не ответ. Ее отец, в силу некоторой доли прежнего уважения, втайне мирился с этой причудой знатного сеньора, но с минуты на минуту мог обрушиться на человека, смутившего его обычный «покой». Остров, радушно принявший его вначале, теперь, казалось, восставал против чужеземца, приехавшего издалека и потревожившего его патриархальное уединение, его замкнутую жизнь, самобытную гордость его населения, — восставал так же яростно, как некогда против норманнов, арабов или берберов, которые высаживались на его берегах.

Сопротивление невозможно — он сбежит. Его взор с любовью задержался на огромной ленте моря, протянутой между двух холмов, подобно голубому занавесу, скрывающему земную впадину. Этот кусочек моря — спасительный путь, надежда — то неведомое, что простирает к нам свои таинственные объятия в самые трудные минуты жизни. Быть может, он вернется на Майорку и будет влачить существование всеми уважаемого нищего, найдя приют у друзей, которые еще помнят о нем; может быть, он отправится на Полуостров и поищет себе работу в Мадриде; может быть, он уедет в Америку. Все лучше, чем оставаться здесь. Нет, он не боится: ему не страшна враждебность местных жителей, но его мучат угрызения совести, стыд за вызванную им смуту.

Машинально он свернул в сторону моря, к которому влекли его теперь любовь и надежда. Он обошел Кан-Майорки и, очутившись у воды, пошел вдоль берега; волны терялись здесь в последнем трепетном всплеске, разбиваясь тончайшими хрустальными брызгами о мелкие камешки, смешанные с черепками обожженной глины.

Оказавшись у подножия мыса, на котором стояла башня, он стал карабкаться по скалам, чтобы забраться на утес, подточенный волнами и почти отколотый от берега. Там в бурную ночную пору он однажды предавался раздумью — в тот самый вечер, когда он впервые явился в дом Маргалиды в качестве поклонника.

Вечер был тихий и ясный, море отливало густой синевой и было необычайно прозрачно. Песчаное дно отражалось молочными пятнами; подводные рифы с их темной растительностью словно передавали скрытое волнение таинственной жизни. Плывшие по небу белые облака, проходя мимо солнца, отбрасывали на воду большие тени. Часть синего пространства оставалась темной и матовой, а дальше, за движущейся пеленой, освещенные волны вспыхивали золотыми брызгами. Порою солнце, скрытое летучей драпировкой, выпускало из-под ее каймы яркую струю света, похожую на рукав, огромный треугольник, белеющий и искрящийся, как на голландском пейзаже.

Вид моря ничем не напоминал теперь Февреру о той бурной ночи, и, тем не менее, в силу ассоциации, воскрешающей в нашей памяти забытые мысли при возвращении на прежние места, Хайме вернулся к давнишним размышлениям; но только теперь ход их не был поступательным: они как бы бежали назад, смутно и беспорядочно.

Он горько смеялся над своим тогдашним оптимизмом, над уверенностью, с которой он презрительно отверг все свои взгляды на прошлое. Мертвые повелевают: их власть и могущество неоспоримы. Как только он мог в приливе любовного восторга не признать этой великой и безотрадной истины?.. Теперь тираны, омрачающие нашу жизнь, ясно дали ему почувствовать всю гнетущую тяжесть своей власти. Что он сделал для того, чтобы в этом уголке, его последнем убежище на земле, на него смотрели как на чужого, пришельца?..

Бесчисленные поколения людей, прах и души Которых смешались с землей родного острова, завещали ныне живущим ненависть к иностранцу, страх перед чужеземцем, отвращение к тому, с кем они всегда воевали. Того, кто являлся из других мест, встречали с враждебной отчужденностью, продиктованной теми, кого не было в живых.

Когда, пренебрегая старинными предрассудками, он пытался приблизиться к женщине, эта женщина становилась замкнутой и отступала, испуганная его приближением, а ее отец в силу своей рабской психологии противился неслыханному делу. Он, Хайме, затеял нечто безрассудное: союз петуха с чайкой, о котором мечтал сумасбродный монах, вызывавший такой смех у крестьян. Люди в давние времена, образуя общество, решили разделить его на классы — так и должно быть. Бесплезно восставать против установленных порядков. Человеческая жизнь коротка. Ее не хватит на борьбу с сотнями тысяч жизней, существовавших раньше и незримо подстерегающих ее ныне; на борьбу с теми, кто готов подавить обилием материальных фактов, напоминающих о прошлом на земле; кто готов навязать свои мысли, рассеянные повсюду и пригодные для всех бессильных от рождения, неспособных на что-то новое.

Мертвые повелевают, и живым бесполезно отказываться от повиновения. Все мятежные попытки сбросить это рабство, разорвать вековые цепи — обманчивы. Фебреру вспомнилось священное колесо индусов, буддийский символ, который он видел в Париже, присутствуя на восточной религиозной церемонии в одном из музеев. Колесо-это символическое изображение нашей жизни. Мы полагаем, что идем вперед, ибо мы движемся; мы думаем, что прогрессируем, ибо мы идем все дальше и дальше; но стоит колесу совершить полный оборот, как мы оказываемся на прежнем месте. Жизнь человечества, его история — это нескончаемый «круговорот вещей». Народы рождаются, растут, развиваются; хижина превращается в замок, а затем — в фабрику. Возникают огромные города с миллионным населением, потом наступают катастрофы, войны за хлеб, которого многим не хватает, слышатся протесты обездоленных, совершаются чудовищные убийства; города пустеют и превращаются в развалины. Надменные памятники порастают травой, целые государства мало-помалу уходят в землю и столетиями спят под холмами. Буйно разросшийся лес покрывает собою то, что когда-то было столицей. Дикий охотник бродит там, где некогда встречали победоносных вождей с пышностью, достойной полубогов; пасутся овцы, и слышится пастушья свирель над руинами, откуда в свое время провозглашались ныне мертвые законы, Люди снова объединяются, и опять возникает хижина, деревня, замок, фабрика, большой город — и повторяется одно и то же, всегда одно и то же, с разницей на несколько веков, точно так же, как от одних людей к другим переходят все те же жесты, мысли и предубеждения, — и так на протяжении долгих и многих лет. Колесо! Вечное возобновление вещей! И все представители человеческого стада меняют со временем свой хлев, но никогда не меняют пастырей; а пастыри все те же — мертвецы, первые, кто стал мыслить и чья мысль теперь, словно снежная лавина, стремительно катится по склонам, растет и неумолимо захватывает все, что ни встретится на пути.

Люди, гордясь своим материальным прогрессом, механическими игрушками, изобретенными ради их благосостояния, считают себя свободными, стоящими выше предрассудков прошлого, избавившимися от первобытного рабства... И вместе с тем то, что они говорят, сказано уже столетия назад, только другими словами. Страсти были такими же, мысли, считающиеся самобытными, лишь отголоски, отражения других, более далеких мыслей. И все поступки расцениваются как хорошие или дурные только потому, что так их определили мертвые — неумолимые мертвецы, которых человеку следует снова убить, если он хочет быть по-настоящему свободным!.. Кому удастся совершить этот великий подвиг освобождения? Где тот паладин, достаточно могучий для того, чтобы убить чудовище, угнетающее людей, огромное и мрачное, как сказочные драконы, бесцельно лежащие на соковищах?

Много часов Фебрер неподвижно сидел на скале, упершись локтями в колени и положив



подбородок на руки; он погрузился в размышления, не сводя зачарованного взгляда с тихо плещущих волн, которые то вздымались, то опускались.

Наступал уже вечер, когда он отвлекся от этих мыслей. Он пойдет по пути, предначертанному судьбой! Он может жить только в высших сферах общества, хотя бы будучи смиренным нищим. Все пути, ведущие вниз, для него закрыты. Прощай, блаженство, которое он пытался найти, вернувшись к естественной и первобытной жизни. Раз мертвые не хотят, чтобы он был человеком, он будет тунеядцем.

Взгляд его, блуждая по морю, остановился на белых тучках, собиравшихся над горизонтом. Когда он был ребенком и мадо Антония водила его гулять по берегу Сольера, они часто беседовали друг с другом, и их воображение придавало произвольные очертания и придумывало названия облакам, соединявшимся и расходившимся в непрерывной смене форм, и они видели в них то огромное чудовище с огненной пастью, то деву, озаренную небесным сиянием. Группа облаков, плотных и белоснежных, как овечья шерсть, привлекла его внимание. Эта блестящая белая гряда напоминала собой полированный овал черепа. Отдельные клубы темного пара витали на фоне этого туманного пятна. Воображение Фебрера увидело в них два черных и страшных отверстия, жуткий треугольник, похожий на провалившийся нос на лице мертвеца, а ниже — зловещую щель, наподобие немой улыбки рта, лишенного губ и зубов.

Смерть, знатная госпожа, повелительница мира, явилась перед ним среди бела дня в своем величественном, матово-бледном облике, бросая вызов солнечному блеску, лазурному небу, сверкающему зеленому морю. Лучи заходящего солнца коварно пробудили искру жизни на этом бледном костлявом лице, в мрачных черных впадинах и ужасающей улыбке... Да, это она!.. Облака, низко распластавшиеся над водой, — это сборки и складки одеяния, окутывающего ее исполинский скелет. А те тучки, что плавают в вышине, — это широкий рукав, из-под которого в виде тонких и расплывчатых струй пара выбиваются очертания костлявой руки с кривым и высохшим пальцем, напоминающим коготь хищника и указывающим в беспредельную даль, на таинственную судьбу.

По мере движения облаков призрак растаял, его страшные контуры стерлись и приняли новые прихотливые формы. Но хоть видение и скрылось, Фебрер не сразу смог очнуться.

Он решил безропотно подчиниться велению рока и уехать. Мертвые повелевают, а он их беззащитный раб. Вечерний свет сообщал предметам какую-то странную рельефность. В извилинах берега ложились огромные трепещущие тени, придававшие камням вид животных и словно вселявшие в них душу. Один из мысов вдаль походил на льва, свернувшегося у самых волн и взиравшего на Хайме с выражением немой вражды. Скалистые утесы то выставляли из воды, то прятали в нее свои черные головы, увенчанные зеленой гривой, подобно гигантским амфибиям, порожденным чудовищной Природой. Со стороны Форментеры отшельник увидел огромного дракона с длинным хвостом из туч, медленно продвигавшегося вдоль горизонта, чтобы предательски поглотить умирающее солнце.

Когда красочный шар, непомерно большой, в судорогах ужаса спасаясь от опасности, погрузился в воду, серые и печальные, сумерки пробудили Фебрера от его галлюцинации.

Он встал, подобрал брошенное неподалеку ружье и направился к башне. Он мысленно составлял теперь план своего отъезда. Никто не узнает от него ни слова. Нужно подождать, пока в ивисский порт не придет пароход с Майорки, и только тогда сообщить Пепу о своем решении.

Уверенность в том, что он скоро покинет это уединенное место, побудила его с особым вниманием осмотреть внутренность башни при свете зажженного им ночника. Его гигантская тень, колеблющаяся от мерцания пламени, легла из конца в конец на белые стены, покрыв

собой украшавшие их предметы и придав новый оттенок перламутровым раковинам и металлической отделке ружья.

Чье-то хриплое покашливание привлекло внимание Фебрера, и он глянул вниз с верхней площадки лестницы. На первых ступеньках ее стоял человек, закутанный в плащ. Это был Пеп.

— Ужин! — сказал он коротко, протягивая корзину.

Хайме взял ее. Видно было, что крестьянин не хочет разговаривать, да и Фебрер не хотел, чтобы тот изменил своему лаконизму.

— Спокойной ночи!

После этого прощального приветствия Пеп отправился в обратный путь, как почтительный слуга, который в знак досады обменивается с хозяином лишь необходимыми словами.

Вернувшись в башню, Хайме запер дверь и поставил корзину на стол. Есть ему не хотелось. Он поужинает потом. Он взял деревянную трубку, сделанную одним крестьянином из вишневой ветки, набил ее и начал курить, следя рассеянным взглядом за кольцами дыма, голубыми и тонкими, становившимися на фоне свечи радужно-прозрачными.

Затем он взял книгу и попробовал было читать, но все усилия сосредоточиться на ее сюжете оказались напрасными.

За каменной оградой его убежища царила ночь, мрачная в своей глубокой таинственности. Казалось, сквозь стены проникала ее таинственная тишина, сошедшая с небес, и самый легкий шум возрастал до страшных размеров, словно звуки сами себя подслушивали.

В этом полном безмолвии Фебреру чудилось, будто он слышит, как стучит кровь в его жилах. Время от времени доносился крик чайки или мимолетный шелест тамарисков под внезапным дуновением ветра, напоминавший ропот воображаемой толпы за театральными кулисами. С потолка комнаты слышалось порой однообразное поскрипыванье червя, неустанно подтачивающего балки; днем это как-то не замечалось. Море нарушало ночной покой тихим, несколько глухим гулом, с которым волны бились о выступы и извилины берега.

Он впервые отчетливо ощутил свое одиночество. Можно ли продолжать ему отшельническую жизнь? А что, если он неожиданно заболит? А когда придет старость?.. В эти часы в городе начиналась новая жизнь в ярком блеске электрического света: улицы запружены пешеходами и экипажами, сверкают витрины, открываются театры, по тротуарам стучат каблучки хорошеньких женщин. А он, как первобытный человек, сидит в башне, построенной варварами, где единственным признаком цивилизации является тусклый свет ночника, который лишь слегка оттеняет окружающий мрак, полный трагического молчания, как будто мир заснул навсегда. По ту сторону каменной стены угадывалась непроницаемая тьма, таинственная и грозившая опасностями. Она уже не укрывала, конечно, как в доисторическую эпоху, диких зверей, но в ней мог притаиться человек.

Вдруг Фебрер, сидевший неподвижно и тихо слушавший как будто самого себя, подобно пугливым детям, которые боятся повернуться в постели, чтобы не усилить окружающей их таинственности, подскочил на стуле. Какой-то необычный звук рассек ночной воздух, покрывая своей резкостью прочие неясные шорохи. Это был крик, ауканье — звук, похожий на ржанье, один из тех недружелюбных и насмешливых возгласов, которыми мстительные атлоты вызывали друг друга.

Хайме инстинктивно поднялся и бросился было к двери, но тотчас остановился. Традиционное ауканье слышалось довольно далеко. Должно быть, здешние парни избрали

местность, прилегающую к башне Пирата, чтобы встретиться с оружием в руках. К нему это не относится. Завтра утром он узнает в чем дело.

Он опять раскрыл книгу, намереваясь отвлечься чтением, но не успел пробежать и нескольких строк, как вновь вскочил, швырнув на стол томик и трубку.

— А-у-у-у-у!

Резкий крик, в котором звучали вызов и насмешка, раздавался почти у подножия лестницы, ведущей в башню, становясь все более протяжным: сильные легкие, видимо, дышали, как мехи. Почти в то же время во тьме послышался шум, как будто резко раскрылось несколько вееров: это морские птицы, потревоженные во сне, беспорядочно слетели со скал в поисках другого пристанища.

Это зовут его! Бросают вызов у дверей его дома!.. Он пристально взглянул на ружье, засунул правую руку за пояс, ощупал металл револьвера, нагретый от соприкосновения с телом, сделал два шага к двери, но остановился и пожал плечами со снисходительной улыбкой: он не коренной житель острова, ему непонятен этот язык криков и он, разумеется, огражден от подобных вызовов.

Он вернулся к стулу и взял книгу, заставив себя улыбнуться.

«Кричи, парень, кричи, аукай! Мне жаль тебя: ты можешь простудиться на холоду, а я спокойно сижу дома».

Но это насмешливое спокойствие было чисто внешним. Ауканье раздалось снова, но уже не у подножия башни, а несколько дальше, возможно среди окружавших ее тамарисков. Задира, видимо, скрылся в засаде, ожидая, что Фебрер выйдет.

Кто бы это был?.. Может быть, мерзавец верро, которого он разыскивал сегодня после обеда; а то, может быть, и Певец: ведь он при всех клялся немедленно его убить. Ночной мрак и хитрость, уравновешивающие обычно силы противников, вероятно придали мужества этому тщедушному больному, и он отважился выступить. Возможно также, что его подстерегают двое.

Опять послышалось ауканье, но Хайме лишь пожал плечами. Пусть незнакомец кричит сколько угодно... Но читать, увы, было невозможно. Бесполезно разыгрывать спокойствие!..

Повторявшиеся оклики звучали теперь яростно, как крик взбесившегося петуха. Хайме казалось даже, что он видит шею самого крикуна, вздувавшуюся, покрасневшую, с дрожащими от злости жилами. Гортанный звук постепенно принимал характер осмысленной речи: он становился насмешливым, издевательским, оскорбительным, словно глумился над осторожностью чужеземца, называя его трусом.

Тщетно Фебрер старался его не слушать. Глаза застилал туман; ночник словно уже не светил.

В промежутках между криками ему казалось, что кровь гудит у него в ушах. Он подумал, что Кан-Майорки очень близко и, вероятно, Маргалида, с дрожью прижавшись к окну, слушает эти оклики перед башней, где сидит тоже слышащий их трус, но не выходит, притворяясь глухим.

Нет, хватит! На этот раз он окончательно отбросил книгу и затем машинально, сам не зная зачем, погасил свечу. Очутившись в темноте, он вытянул руки и сделал несколько шагов вперед, начисто позабыв о планах атаки, быстро продуманных еще несколько минут назад. От сильного гнева в голове у него помутилось. В этом состоянии полного умственного ослепления, как последний проблеск света, промелькнула единственная мысль. Дрожащими

руками он потянулся было к ружью, но не снял его: ему нужно не такое громоздкое оружие: может быть, придется спустаться и идти сквозь кусты.

Он сунул руку за пояс, и револьвер плавно выскользнул из своей норы, как теплый зверек. Хайме ощупью дошел до двери и медленно приоткрыл ее лишь настолько, чтобы просунуть голову; грубые петли тихонько скрипнули.

Сразу перейдя от мрака комнаты к рассеянному свету ясной ночи, Фебрер увидел тянувшиеся вокруг башни кусты, дальше — смутно белеющий хутор, а прямо перед собой — черную гряду гор, выделяющуюся на фоне неба, усеянного мерцающими звездами. Видение его было мгновенным: больше ничего рассмотреть не удалось. Две молнии, как огненные змейки, вспыхнули одна за другой во тьме кустарника, и вслед за этим раздались два выстрела, почти слившиеся в один.

Хайме почувствовал едкий запах жженого пороха; впрочем, это, может быть, только ему показалось. В то же время он ощутил беззвучный, но сильный удар по макушке, нечто необычное, что и задело и не задело ее, словно скользящий по ней камень. Что-то брызнуло ему в лицо, будто легкий, почти незаметный дождь... Кровь?.. Земля?..

Изумление его длилось лишь секунду. В него стреляли из кустов у самой лестницы. Противник засел там... там! Во мраке он видел, откуда блеснули огоньки, и, выставив правую руку из-за двери, выстрелил один, два, пять раз, выпустив все патроны из барабана.

Он стрелял почти вслепую: ему мешали темнота и его возбужденное состояние. Легкий шум срезанных веток, еле заметное колыханье кустов наполнили его безумной радостью. Он, разумеется, сразил врага, и, довольный этим, Хайме поднес руку к голове, чтобы убедиться, что его не ранили.

Проведя ладонью по лицу, он ощутил на щеках и бровях что-то мелкое и зернистое. Это была не кровь, а земля, известковая пыль. Пальцы его, скользя по волосатой коже, в которой еще не улеглась дрожь от смертоносного прикосновения, неожиданно наткнулись на два отверстия в стене, похожие на небольшие воронки, еще не успевшие остыть. Пули, слегка царапнув его, врезались в стену на незначительном расстоянии от его головы.

Фебрер порадовался, что ему так повезло. Он цел и невредим, а его враг?.. Где он сейчас? Не спуститься ли, не поискать ли его среди тамарисков, чтобы убедиться, что он умирает?.. Вдруг снова раздался крик, тихий отклик, где-то очень далеко, должно быть возле хутора. Ауканье было ликующим, насмешливым; Хайме истолковал его как предупреждение о близкой встрече.

Собака в Кан-Майорки, встревоженная выстрелами, жалобно выла и лаяла. Вдали ей вторили другие собаки. Ауканье удалялось, повторяясь вновь и вновь, но все глуше и слабее, и замерло наконец в таинственной синеве ночи.

### III

Как только забрезжило утро, Капелланчик явился в башню.

Он все слышал. Отец, спавший обычно крепко, видимо и сейчас еще не знает о случившемся. Пес может лаять сколько угодно, выстрелы могут греметь рядом с домом, как в настоящем бою, уставший Пеп, ложась на покой после дневных трудов, засыпает мертвым сном. Остальные члены семьи провели тревожную ночь. Мать несколько раз пыталась разбудить

хозяйина, но, получив в ответ лишь бессвязные слова и новое похрапывание, стала на колени и промолилась до утра за упокой души сеньора, считая его мертвым. Маргалида, спавшая поблизости от брата, окликнула его тихо и тревожно, как только до нее донеслись первые выстрелы: «Слышишь, Пепет?»

Бедная девушка присела на постели и зажгла светильник. При его свете мальчик увидел ее бледное лицо и безумные глаза. Она, обычно стыдливая и робкая, была так взволнована, что не скрывала даже сокровеннейших тайн своей наготы, забывая обо всем, ломая руки, сжимая ладонями голову. «Убили дона Хайме, чуёт мое сердце!» Она вся задрожала, когда вдали послышались новые щелкающие звуки. В ответ на первые два выстрела последовала целая очередь — «словно четки посыпались», по выражению Ка-пелланчика.

— Это были ваши выстрелы, верно, дон Хайме? — продолжал Пепет. — Я их сразу узнал и сказал Маргалиде. Помню, как вы стреляли из пистолета однажды вечером на берегу моря. У меня на этот счет слух хороший.

Потом он рассказал об отчаянии сестры: та, по его словам, стала молча собирать одежду, желая что-нибудь накинуть на себя и бежать в башню. Пепет должен был ее проводить. Но внезапно она оробела и не пошла; начала опять плакать и не позволила даже брату, как он намеревался, удрать через забор.

Они слышали ауканье возле дома значительно позже выстрелов. Говоря об этих криках, мальчик лукаво улыбался. Успокоенная словами брата, Маргалида через некоторое время замолчала и осталась в постели. Однако всю ночь Капелланчик слышал тревожные вздохи и тихий шепот, как будто из-под одеяла чей-то голос неустанно лепетал все одни и те же слова. Девушка, видимо, тоже молилась.

С первыми лучами зари все поднялись, кроме отца, все еще спавшего мирным сном. Когда женщины, охваченные мрачными предчувствиями, вышли под навес, они ожидали увидеть страшную картину: разрушенную башню, а под ее развалинами — повешенный труп сеньора. Но Капелланчик рассмеялся, увидев, что дверь закрыта, а возле нее, как всегда по утрам, стоит дон Хайме, голый по пояс, и плещется над тазом, в котором сам принес с берега морской воды.

Он не ошибся, подшучивая над страхом женщин. Нет еще такого удальца, который мог бы убить дона Хайме. И это заявляет он, Пепет, а он-то знает людей. Затем, после краткого рассказа сеньора о том, что случилось ночью, мальчик, прищутив глаза, с понимающим видом стал рассматривать отверстия, пробитые пулями в стене.

— И ваша голова была вот тут, где теперь моя?.. Черт подери!..

Взгляд его выражал восхищение, набожное преклонение перед поразительным человеком, чудом спасшимся от смерти.

Фебрер спросил мальчика, кого он подозревает в злодеянии, полагаясь при этом на его знание местных жителей. Капелланчик многозначительно улыбнулся: он слышал оклики. Это та же манера, что у Певца, и многие вообразили бы, что это он. Так он аукал обычно на серенадах, на танцах и по вечерам, когда расходились после смотра.

— Но это все же не он, дон Хайме, я в этом уверен.

Если спросят Певца, то он, пожалуй, для важности подтвердит. Однако это был другой, Кузнец; я узнал его голос, да и Маргалида как будто тоже.

Затем с важным видом, словно он собирался подвергнуть сеньора допросу, усомнившись в его доблести, Капелланчик заговорил о глупом страхе женщин, которые настаивали на

необходимости предупредить гражданскую гвардию Сан Хосе.

— Вы же этого не сделаете? Правда, дон Хайме, ведь это вздор! Полиция нужна только трусам.

Фебрер в ответ презрительно улыбнулся и пожал плечами, и это вернуло мальчику его веселое настроение.

— Я так и думал: у нас на острове это не принято. Но раз вы из чужих краев... Вы хорошо поступаете: каждый мужчина должен защищаться сам, на то он и мужчина. Ну, а в трудном положении надо подумать о друзьях.

Говоря это, он напыжился, стараясь показать всем своим видом ту могучую помощь, на которую мог рассчитывать Фебрер в минуту опасности.

Мальчик решил воспользоваться удобным случаем и посоветовать сеньору взять его к себе в башню. Если он попросит Пепу, тот не сможет отказать ему в таком одолжении. Дону Хайме следует держать его подле себя: на случай обороны их будет все же двое. И, чтобы подчеркнуть важность своей просьбы, юноша напомнил о раздраженном состоянии сеньора Пепу и его твердом решении отвезти его в начале будущей недели в Ивису и запереть там в семинарии. Что будет делать сеньор, когда лишится лучшего из своих друзей?..

Желая доказать пользу своего присутствия, Пепет стал строго осуждать промахи Фебрера минувшей ночью. Кому могло прийти на ум высовывать голову за дверь, когда его поджидают, окликая, с оружием наготове? Только чудом его не убили. А чему он, Пепет, его учил? Разве сеньор не помнит, что он советовал ему спуститься через окно с задней стороны башни и напасть на противника врасплох.

— Это верно, — сказал Хайме, в самом деле устыдившись своей забывчивости.

Вдруг Капелланчик, уже с гордостью наслаждавшийся результатами своих советов, вскочил и заглянул в дверную щель:

— Отец!..

Пеп медленно шел вверх по склону, задумавшись и заложив руки за спину. При виде его мальчик забеспокоился. Должно быть, он в дурном настроении из-за последних известий, и нам встречаться не стоит. Повторив Фебреру еще раз, что хорошо бы остаться его помощником, Пепет свесил ноги в окно, перевернулся на живот, держась за подоконник, и исчез внизу.

Крестьянин, войдя в башню, заговорил о событиях минувшей ночи совершенно Спокойно, словно это было самое обыденное явление, лишь немного нарушившее однообразие сельской жизни. Ему рассказали обо всем женщины... Сам он крепко спал. Стало быть, ничего особенного не случилось?

Опустив глаза и переплетя пальцы рук, он выслушал краткий рассказ сеньора. Затем он подошел к двери и стал рассматривать следы пули.

— Чудо, дон Хайме, настоящее чудо!

Вернувшись на свое прежнее место, он долго сидел неподвижно: ему, должно быть, стоило больших усилий заставить работать свой неповоротливый мозг.

— Выпустили дьявола на свободу, дон Хайме... Тут всего можно ожидать.

Потом он поднял голову, устремив на дону Хайме холодный, испытующий взгляд. Надо

уведомить алькальда, сообщить обо всем гражданской гвардии.

Фебрер отрицательно покачал головой. Нет, это мужское дело и он должен решать его сам.

Пеп продолжал пристально и загадочно смотреть на сеньора, им владели самые противоречивые мысли.

— Вы делаете хорошо, — сказал он наконец хладнокровно. Чужестранцы думают по-своему, но ему, Пепу, приятно, что сеньор говорит то же, что говаривал в свое время его бедный отец, царствие ему небесное! На острове все думают так; в старину-то делали правильно!

Затем Пеп, не интересуясь мнением сеньора, изложил ему свой план помощи в деле обороны. Это дружеский долг. У него дома есть ружье. Он уже давно им не пользовался, но в молодые годы, когда еще был жив его почтенный отец (царствие ему небесное!), он был неплохим стрелком. Он будет приходить в башню ночевать с доном Хайме, чтобы тот не оставался один: ведь на него во сне могут внезапно напасть.

Тем не менее, крестьянин ничуть не удивился, что сеньор наотрез отказался от этого предложения, видимо его сильно задевшего. Он мужчина, а не ребенок, нуждающийся в опеке. Пусть каждый остается у себя в доме, а там — будь что будет!

Пеп и на эти слова одобрительно кивнул головой. То же говаривал его покойный отец, а также все порядочные люди, соблюдавшие старинные обычаи. Фебрер поступает как истинный сын острова... Затем, умиленный и восхищенный решимостью дон Хайме, крестьянин предложил ему другой выход. Раз сеньор не хочет, чтобы кто-нибудь находился с ним в башне, он сам может приходить на ночь в Кан-Майорки. Постель ему всегда где-нибудь да устроят. Предложение показалось Фебреру заманчивым. Повидать Маргалиду! Но нерешительный тон ее отца и признаки беспокойства, с которыми тот ожидал ответа, заставили его отказаться. Большое спасибо, Пеп, он останется в башне: могут подумать, что он переезжает, потому что струсил.

Крестьянин снова кивнул головой в знак одобрения. Он все понимает, на месте сеньора он поступил бы так же. Но это еще не значит, что он, Пеп, не будет меньше спать ночью и, если услышит крики или выстрелы вблизи башни, не выйдет на улицу со своим старым ружьем.

И, словно это добровольное обязательство — спать более чутко и быть готовым подставить свою шкуру под выстрелы ради прежнего хозяина — нарушило спокойствие, с каким он до сих пор держался, крестьянин возвел глаза к небу и всплеснул руками:

— О господи, господи!..

Дьявол выпущен на свободу, приходится снова это повторить. Теперь покоя не будет, а все потому, что ему не поверили, пошли против старинных обычаев, установленных людьми помудрее тех, что живут теперь... И чем только это все кончится?

Фебрер попытался успокоить крестьянина, и у него нечаянно сорвалось с языка то, что он хотел сохранить в тайне. Пеп может радоваться: он уезжает навсегда, чтобы не смущать покоя ни главы дома, ни семьи.

— Вот как! Неужто правда, что сеньор уезжает?..

Радость поселянина была так велика и удивление столь искренне, что Хайме заколебался. Ему показалось, что в глазах Пепы, радостно вспыхнувших от неожиданной и приятной вести, блеснуло лукавство. А вдруг этот старожил подумает, что его спешный отъезд — всего лишь бегство от врагов?..

— Я уезжаю, — сказал он, неприязненно взглянув на Пепу, — но еще не знаю когда.

Попозже... Когда найду нужным. А теперь мне следует остаться здесь и встретиться с тем, кто меня ищет.

Пеп покорно поклонился. Радость его исчезла, но он был готов одобрить и эти слова, добавив, что то же самое говаривал и его отец и так думает он сам.

Когда крестьянин поднялся, чтобы тронуться в путь, Фебрер, стоявший у двери, различил вдаль, у стен хутора, фигуру Капелланчика и вспомнил о желании юноши. Если Пеп не затруднит его просьба, то пусть он разрешит атлоту перебраться к нему на время в башню.

Но отец отнесся к этой просьбе сурово. Нет, если дону Хайме нужен товарищ, то он сам, взрослый мужчина, к его услугам. А мальчику нужно учиться. Дьявол на свободе, и теперь нужно показать свою отцовскую власть, чтобы семья не распалась. На следующей неделе он думает отвезти Пепета в семинарию. Эти его последнее слово.

Оставшись один, Фебрер спустился на берег. Дядюшка Вентолера конопатил и смолил швы своей лодки, вытасченной на песок. Он лежал в ней, как в огромном гробу, и отыскивал своими старческими глазами оставшиеся щели.

Обнаружив в корпусе судна какой-нибудь изъян, он в приливе радости раздражался во весь голос своими латинскими песнопениями. Заметив, что лодка покачивается, и увидев сеньора, прислонившегося к борту, старик хитро улыбнулся и перестал петь.

А, дон Чауме!.. Он уже знает все. О последних событиях ему рассказали женщины из Кан-Майорки, и теперь эта новость передается по всему квартону, но только шепотом, с глазу на глаз, как и подобает говорить в таких случаях, чтобы не вмешивались законники, которые все запутают.

Значит, сеньора искали прошлой ночью и аукали, чтобы он вышел из башни?.. Хи-хи! Его тоже в давние времена, в ту пору, когда он ухаживал за своей покойницей между двумя выходами в море, вызывал ауканьем один приятель, ставший его соперником. Но он таки отбил девушку, и все потому, что была ловкость в руках: всего лишь один удар ножом в грудь приятеля — и тот долгое время находился между жизнью и смертью. Самому ему потом приходилось вечно быть настороже, когда он сходил на берег, чтобы уйти от мести врага. Но годы идут, все забывается, и оба приятеля кончили тем, что стали вместе промышлять контрабандой, плавая между Алжиром и Ивисой или испанскими берегами.

И дядюшка Вентолера смеялся детским смехом, радостно оживляясь при этих юношеских воспоминаниях, вызывавших в его памяти во всех подробностях выстрелы, удары ножом и ночные оклики. Эх, теперь его уже никто вызывать не будет! Это — дело молодых. И голос его зазвучал печально: теперь уж он не будет участвовать в любовных и военных похождениях, необходимых для полного счастья в жизни.

Фебрер распрощался со стариком, предоставив ему заканчивать починку лодки и распевать при этом мессу. В башне на столе он нашел корзину с едой. Ее оставил не дождавшийся его Капелланчик, повинувшись, должно быть, строгому приказу рассерженного отца. Пообедав, Хайме снова стал рассматривать оба отверстия, пробитые пулями в стене. Возбуждение, вызванное опасностью, прошло, и теперь, трезво оценивая ее серьезность, он испытывал гневное желание отомстить, и это чувство было в нем теперь сильнее, чем прошлой ночью, когда он бросился к двери. Будь прицел взят на несколько миллиметров ниже, он упал бы в темноте на порог, как подстреленное животное. Боже ты мой! Вот как может умереть человек его круга, став жертвой предательства и попав в засаду какого-то мужика!..

Его раздражение окончательно сменилось жаждой мести: он ощущал потребность бросить вызов, позволить себе дерзость, сохраняя вместе с тем спокойный и неприступный вид на глазах у людей, среди которых скрывались его противники.



Он снял ружье и, проверив заряды, вскинул его на плечо. Затем он вышел из башни и пошел той же дорогой, что и накануне вечером. Когда Хайме проходил мимо Кан-Майорки, Маргалида и ее мать, привлеченные лаем собаки, вышли за дверь. Мужчины находились на дальнем поле, которое обрабатывал Пеп. Плачущая мать могла только схватить сеньора за руки, повторяя срывающимся от волнения голосом:

— Дон Чауме! Дон Чауме!

Ему теперь надо быть осторожным, поменьше выходить из башни, быть начеку, ожидая вражеского нападения. А Маргалида молча и пристально смотрела на Фебрера широко раскрытыми глазами, в которых отражались восхищение и тревога. Она не знала, что сказать: ее простая душа стыдливо замкнулась в себе, не находя слов для выражения своих мыслей.

Фебрер продолжал свой путь, не раз оглядываясь назад: Маргалида по-прежнему стояла под навесом, смотря ему вслед с заметным беспокойством. Сеньор шел на охоту, как делал уже много раз, но — что это! — он свернул на тропинку, идущую в горы, и направился в сосновый лес, где на одной из прогалин стояла кузница.

По дороге Фебрер обдумывал и передумывал планы атаки. Он решил действовать немедленно. Как только верро появится на пороге, он выстрелит в него из обоих стволов. Он совершит свое дело при свете дня и потому будет более счастлив: его пули не вонзятся в стену.

Но, подойдя к кузнице он обнаружил, что она заперта. Хозяин ее исчез. Не вышла навстречу ему и старуха в черном, чтобы встретить его мрачным блеском своего единственного глаза.

Хайме уселся под деревом, как и в прошлый раз, держа ружье наготове и выглядывая из-за ствола, словно желая убедиться, нет ли засады среди этого полного безмолвия. Прошло много времени. Лесные голуби, осмелевшие возле притихшей и безлюдной кузницы, порхали на лужайке, не обращая внимания на неподвижного и забывшего про них охотника. По разрушенной крыше медленно кралась кошка с повадками тигра, охотясь за беспокойными воробьями.

Прошло еще некоторое время. Ожидание и неподвижность успокоили Фебрера. Что ему делать здесь, вдали от дома, на безлюдной горе? Приближается вечер, а он все сидит, подстерегая противника, о виновности которого имеются лишь туманные догадки. Кузнец, быть может, сидит у себя дома. Он, вероятно, заперся, увидев сеньора, и ждать его бесполезно. А может быть, он ушел со старухой куда-нибудь далеко и раньше ночи не вернется. Нужно уходить.

И, держа ружье в руках, чтобы при встрече с врагом напасть первому, он повернул в долину.

На дороге и в поле ему снова повстречались крестьяне и крестьянки, смотревшие на него с нескрываемым любопытством и едва отвечавшие на приветствия. Вторично на том же самом месте он увидел Певца с повязанной головой, в окружении приятелей, которым он что-то говорил, ожесточенно размахивая руками. Узнав сеньора из башни, юноша, прежде чем приятели успели его удержать, нагнулся и, схватив с затвердевшей земли два камня, запустил ими в Фебрера. Деревенские снаряды, пущенные слабой рукой, не пролетели и полдороги. Тогда атлот, взбешенный презрительным спокойствием Фебрера, продолжавшего свой путь, разразился угрозами. Он убьет майоркинца. Он кричит об этом во всеуслышание! Пусть все знают, что он поклялся расправиться с этим человеком!

Слыша эти угрозы, Хайме лишь грустно улыбнулся. Нет, не этот разъяренный ягненок приходил к нему в башню, чтобы убить его. Безобразные крики служат достаточным доказательством.

Вечер Фебрер провел спокойно. После того как он поужинал и брат Маргалиды ушел от него в печальной уверенности, что отец непременно увезет его в семинарию, Хайме запер дверь, придвинул к ней стол и стулья. Он опасался, что его застигнут врасплох во время сна. Затем он погасил свет и закурил в темноте, с удовольствием следя за тем, как поыхивает маленький огонек сигары, разгоравшийся с каждой затяжкой.

Ружье было подле него, а револьвер за поясом, так что при малейшей попытке открыть дверь, он мог пустить их в ход. Слух его, привычный к ночным шорохам и дыханию моря, пытался различить на фоне этих звуков какой-нибудь легкий шум, указывающий на то, что среди этой тишины, помимо него, находились и другие человеческие существа.

Прошло много времени. При свете сигары он посмотрел на часы. Десять. Вдали раздался лай, и Хайме почудилось, что это собака из Кан-Майорки. Быть может, этот лай предупреждал его о том, что кто-то приближается к башне. Враг уже близко: вполне, возможно, что, сойдя с тропинки, он ползет уже в зарослях тамариска.

Фебрер выпрямился, схватил ружье и нащупал за поясом револьвер. Как только он услышит, что его вызывают или что пытаются открыть дверь, он спустится через окно и, обойдя башню, нападет на противника с тыла.

Прошло еще некоторое время... Ничего! Фебрер захотел снова взглянуть на часы, но руки не повиновались ему. Красный огонек сигары уже не светился во тьме. Напряженно поднятая голова в конце концов упала на подушку; глаза сомкнулись. Ему слышались крики, выстрелы, проклятия, но все это он различал в каком-то необычном состоянии, словно жил в другом мире, где ни оскорбления, ни нападки не были уже ощутимы. Потом... ничего: густой мрак, глубокая и бесконечная ночь без малейшего просвета.

...Его разбудил солнечный луч, проникший сквозь щель окна и ударивший ему в глаза. Дневной свет оживил белизну стен, еще недавно овеянных мраком и страшной тайной минувших веков.

Хайме встал в хорошем настроении и, разбирая загромождавшую дверь баррикаду из мебели, рассмеялся: теперь ему было несколько стыдно за эту предосторожность, и он считал ее почти трусостью. Это все обитательницы Кан-Майорки сбили его с толку своими страхами. Кто может прийти за ним в башню, зная, что он не спит и встретит врага выстрелами?

Отсутствие Кузнеца, когда он подошел к его дому, и спокойно проведенная ночь навели Хайме на размышления. Уж не ранен ли верро? Уж не настигла ли его одна из пуль?..

Утро Фебрер провел в море. Дядюшка Вентолера довез его до Ведры, расхваливая легкость и другие достоинства своей лодки. Он чинил ее из года в год, и сейчас от ее прежнего каркаса не осталось ни одной щепки. До вечера они ловили рыбу под защитой скал.

Возвращаясь в башню, Фебрер увидел Капелланчика, бегущего по берегу и размахивающего чем-то белым.

Едва лодка зарылась носом в прибрежный песок и Хайме еще не успел сойти на берег, мальчик уже крикнул ему нетерпеливым голосом человека, принесшего важное известие:

— Вам письмо, дон Чауме!

Письмо!.. Действительно, в этом затерянном уголке земли самым необычайным событием, способным потревожить течение повседневной жизни, было прибытие письма. Фебрер повертел его в руках, глядя на него как на что-то странное и далекое. Он взглянул на печать, затем на надпись на конверте... Почерк показался ему знакомым и вызвал в его памяти то же

смутное представление, какое вызывает лицо друга, имени которого мы не можем припомнить. От кого?..

Тем временем Капелланчик давал пояснения по поводу этого большого события. Письмо принес нынче утром нарочный с почтового парохода из Пальмы, прибывшего в Ивису вчера ночью, Если сеньор хочет ответить, то ему следует сделать это не теряя времени. Судно отходит на Майорку завтра.

По пути домой Хайме вскрыл письмо и захотел взглянуть на подпись; и почти в ту же минуту память его уточнила и подсказала имя отправителя: Пабло Вальс, Капитан Пабло писал ему после полугодового молчания. Письмо его было большое, на нескольких листах почтовой бумаги, исписанных убористым почерком.

Уже читая первые строки, майоркинец улыбнулся: капитан отразился в них весь, со всем своим резким и неумным характером, шумливым, симпатичным и задорным. Фебреру показалось, что он видит над бумагой его огромный толстый нос, седые бакенбарды, глаза цвета оливкового масла с табачными искорками и продавленную широкополую шляпу, надетую набекрень.

Письмо начиналось грозно: «Дорогой бесстыдник!» В том же стиле следовали первые пассажи.

— Это вещь стоящая, — пробормотал Хайме, улыбаясь. — Надо будет прочитать на досуге.

И, спрятав письмо с радостью человека, желающего продлить удовольствие, он простился с мальчиком и поднялся в башню.

Он уселся возле окна, откинувшись назад, опершись спиной о стол, и начал читать. Взрывы комической ярости, ласковых ругательств, негодование на забывчивость заполняли собою первые страницы. Пабло Вальс изливался непринужденно и бессвязно, как болтун, обреченный долгое время на молчание и невыносимо страдающий от того, что ему приходится сдерживать свое многословие. Он попрекал Фебрера его происхождением и гордостью, заставившими его уехать, не простившись с друзьями. Словом, из породы инквизиторов! Его предки сжигали предков Вальса, пусть он это не забывает! Но чем-то должны ведь отличаться хорошие люди от дурных, и он, отверженный, чуэт, еретик, ненавидимый и теми и другими, решил отплатить за это нарушение дружбы тем, что занялся делами Хайме. Ему, вероятно, писал об этом несколько раз его приятель Тони Клапес, у которого все шло хорошо, как всегда, хотя недавно и случились кое-какие неприятности: у него захватили две лодки с грузом табака.

«Но не будем отвлекаться, к делу. Ты знаешь, что я человек практический, настоящий англичанин, и время терять не люблю».

И практический человек, англичанин, чтобы не отвлекаться в сторону, снова покрывал следующие два листа взрывами негодования, направленного против всего его окружающего: против своих соплеменников, робких и униженных, лижущих руки врагам; против потомков былых преследователей; против жестокого Гарау, от которого и праха не осталось; против всего острова, пресловутой Скалы, где из любви к насиженному месту жили, словно прикованные, его земляки, расплачиваясь за это постоянным одиночеством и непрерывными оскорблениями.

«Но не будем отвлекаться: порядок, методичность и ясность прежде всего. А главное, будем говорить практично. Недостаток практичности — это то, что нас губит».

И дальше он говорил о папессе Хуане, важной сеньоре, которую Пабло Вальс видел всегда лишь издали, так как был для нее воплощением всей революционной нечестивости и всех

грехов своей расы. «С этой стороны ты можешь не питать надежды»: тетка Фебрера вспоминала о нем только для того, чтобы сокрушаться о его печальном конце и прославлять справедливость всевышнего, карающего всех, кто идет по дурному пути и уклоняется от священных семейных традиций. Добрая сеньора предполагала иногда, что он живет на Ивисе; иногда же заявляла, что, как ей определенно известно, ее племянника видели в Америке, где он предался самым низким занятиям. «Словом, инквизиторское отродье, твоя святая тетушка забыла о тебе, и ты не должен ожидать от нее ни малейшей помощи!» В городе теперь ходят слухи, что она окончательно отказалась от мирских почестей и, может быть, даже от папской Золотой Розы, которой так и не получила, что она раздает имущество своим придворным священникам, собираясь уйти в монастырь, где будет пользоваться всеми удобствами привилегированной дамы. Папесса удаляется навсегда, и ждать от нее нечего. «И вот, маленький Гарау, здесь выступаю я, отверженный, хвостатый чуэт, и хочу, чтобы и ты обожал и почитал меня, как провидение».

Под конец практический человек, враг отклонений, сдержал свое обещание: стиль письма стал сжатым и по-деловому сухим. Сначала шла длинная опись имущества, которым Хайме владел до отъезда с Майорки. Оно было заложено и обременено всякого рода долгами; затем следовал список кредиторов, более длинный, чем опись имущества, с приложением отчета о процентах и обязательствах. В этой путанице Фебрер окончательно терялся, но Вальс двигался прямо и уверенно, подобно своим соплеменникам, умевшим разрешать самые сложные коммерческие вопросы.

Капитан Пабло полгода не писал своему другу, но изо дня в день занимался его делами. Он сражался с самыми свирепыми ростовщиками острова, понося одних и покоря хитростью других, — где пользовался убеждениями, а где и бравировал, выдавал деньги в уплату самых срочных долгов, угрожавших арестом и продажей имущества. В итоге он привел в порядок состояние своего друга, но в результате этой страшной борьбы оно оказалось сильно урезанным и почти ничтожным. Фебреру оставалось всего лишь каких-нибудь пятнадцать тысяч дуρο, а то и меньше; но и это лучше, чем жить в своем прежнем кругу, подобно знатному сеньору, сидя без куска хлеба и находясь в полной зависимости от кредиторов. «Пора тебе вернуться. Что ты там делаешь? Уж не собираешься ли ты остаться на всю жизнь Робинзоном, засев в башне Пирата?» Хайме должен немедленно вернуться! Он сможет жить скромно: жизнь на Майорке дешева. Кроме того, он может похлопотать об устройстве на государственную службу: с его именем и связями добиться этого будет не трудно. Он может также заняться торговлей, пользуясь руководством и советами такого человека, как Вальс. Если захочется путешествовать, его другу не трудно будет подыскать ему какую-нибудь должность в Алжире, Англии или Америке. У капитана есть друзья во всех частях света. «Возвращайся поскорее, маленький Гарау, милый инквизитор: это мое последнее слово».

Остаток вечера Фебрер провел за чтением письма и в прогулках вокруг башни. Полученные известия взволновали его. Воспоминания, приглушенные уединенной деревенской жизнью, всплывали теперь так отчетливо, как будто относились к событиям вчерашнего дня. Кафе на Борне! Приятели по казино! Вернуться туда, сразу окунуться в городскую жизнь после почти дикарского затворничества в башне!.. Он тронется в путь как можно скорее, это решено. Он уедет завтра же, с обратным рейсом парохода, привезшего письмо.

Образ Маргалиды возник в его памяти — словно для того, чтобы удержать его здесь, на острове. Он видел белизну ее кожи, ее очаровательные округлые формы, ее стыдливо опущенные глаза, скрывающие, словно нечто греховное, темный блеск своих зрачков. Покинуть ее! Никогда больше не увидеть!.. А она достанется одному из этих грубиянов, который иссушит ее красоту на полевых работах и постепенно превратит в почерневшую от зноя сморщенную крестьянку с мозолистыми руками, влачащую полуживотное существование!..

Однако мрачная уверенность прервала вскоре его мучительные колебания: Маргалида не

любит его, не может любить. Удручающее молчание и загадочные слезы — вот все, чего он мог добиться в ответ на свои признания. К чему стремиться овладеть ею, когда все считают это невозможным? Зачем нужна глупая борьба со всем островом из-за женщины, в любви которой он сам не уверен?..

Радость от полученных известий вернула Фебреру его скептицизм: «Никто не умирает от любви». Ему, конечно, будет стоить больших усилий расстаться на следующий же день с этими местами: он ощутит глубокую тоску, когда потеряет из виду Кан-Майорки, сверкающий африканской белизной. Но как только он почувствует себя не связанным больше с островом, с жизнью среди простого люда, и вернется к прежнему существованию, быть может у него останется о Маргалиде лишь бледное воспоминание, и он будет первый смеяться над этой страстью к атлоте, дочери бывшего арендатора его семьи.

Он перестал колебаться. Ночь он проведет один в башне, как первобытный человек, как один из тех, кого на каждом шагу подстерегали опасности, кто был всегда готов к смертельной борьбе. А завтра вечером он будет сидеть за столиком кафе, при электрическом свете, и смотреть на проезжающие вдоль тротуара экипажи и на гуляющих посреди Борна женщин, гораздо более красивых, чем Маргалида. На Майорку! Он не будет жить во дворце; огромный особняк Фебреров потерял для него навсегда в силу решительных и благотворных мер, принятых его другом Вальсом. Зато у него будет маленький и чистый домик в Террено или другом приморском квартале, где мадо Антония окружит его материнской заботой. Там ему не надо ждать ни горя, ни стыда. Он будет даже избавлен от присутствия дона Бенито Вальса и его дочери, которых он покинул так неучтиво, даже не извинившись письменно. Богатый чуэт, как сообщал в письме его брат, живет теперь в Барселоне, чтобы несколько поправить свое здоровье. По мнению капитана Пабло, этот переезд был, несомненно, совершен для того, чтобы подыскать себе зятя вдали от тех суеверных толков, которые шли о его соплеменниках на острове.

Вечером пришел Капелланчик, неся корзину с ужином. Пока Фебрер, в котором от радости проснулся хороший аппетит, поглощал пищу, мальчик расхаживал по комнате, пытливо стараясь отыскать письмо, возбуждавшее его любопытство. Нет, не видно. Веселое настроение сеньора в конце концов передалось и ему: он тоже стал беспричинно смеяться, считая своим долгом быть в хорошем расположении духа, как и дон Хайме.

Фебрер пошутил по поводу его скорого отъезда в семинарию. Он собирается сделать ему подарок, но подарок, какого он себе и представить не может и по сравнению с которым его нож ничего не стоит. И, говоря это, он взглянул на ружье, висевшее на стене.

Когда мальчик ушел, Хайме запер дверь и при свете ночника стал рассматривать и перебирать вещи, наполнявшие его комнату. В большом деревянном сундуке с грубой ручной резьбой лежало платье, в котором он приехал с Майорки и которое Маргалида заботливо пересыпала душистыми травами. Он наденет его завтра утром. С некоторым ужасом подумал он о пытке, которую ему причинят ботинки и воротничок после длительной вольготной жизни в деревне, но ему хотелось уехать с острова таким, каким он сюда приехал. Остальное он подарит Пепу, а ружье — его сыну. Он, смеясь, представил себе физиономию маленького семинариста при виде этого несколько запоздалого подарка... Пусть поохотится с ним, когда станет священником в одном из кварталов острова.

Он снова вынул из кармана письмо Вальса и с удовольствием, не спеша, перечитал его, словно находя в нем нечто новое. Пробегаая эти страницы, ставшие уже знакомыми, он вновь пережил большую внутреннюю радость. Добрый друг Пабло! Как своевременны его советы!.. Он вытягивает его из Ивисы в самую нужную минуту, когда ему пришлось вступить в открытую войну с этими грубыми людьми, желающими смерти чужеземцу. Капитан не ошибается. Что он делает здесь в роли нового Робинзона, который не может даже насладиться спокойствием одиночества?.. Вальс, как всегда, вовремя избавляет его от

опасности.

Несколько часов тому назад, когда письмо еще не было получено, жизнь казалась ему нелепой и смешной. Теперь он стал другим человеком. С чувством сожаления и стыда в душе и улыбкой на устах он припоминал безумца, который накануне с ружьем на плече отправился горной дорогой на поиски бывшего арестанта, чтобы вызвать его на варварский поединок в глухом лесу. Как будто вся жизнь нашей планеты оказалась сосредоточенной на маленьком островке и, чтобы уцелеть, нужно совершить убийство. Словно нет ни жизни, ни цивилизации по ту сторону голубой равнины, окружающей этот клочок земли, где горсточка людей с первобытными взглядами окаменела в нравах минувших веков!.. Какое безумие. Последнюю ночь он живет как дикарь. Завтра все случившееся с ним будет лишь клубком любопытных воспоминаний, которые послужат забавной темой для бесед с приятелями на Борне.

Фебрер внезапно прервал ход своих размышлений и отвел глаза от бумаги. Взгляд его скользнул по комнате, одна половина которой тонула во тьме, а другая была слабо освещена красноватым отблеском, заставлявшим трепетать окрестные предметы; ему показалось, что он вернулся из далекого путешествия, куда его увлекло воображение. И так, он все еще в башне Пирата, вокруг по-прежнему мрак и уединение, наполненное шорохами природы; он в каменном мешке, стены которого овеяны зловещей тайной.

За окном башни раздался какой-то звук: не то крик, не то ауканье, но несколько иное, чем в ту памятную ночь, — пожалуй, более глухое. Хайме почудилось, что этот крик доносился откуда-то поблизости. Его, вероятно, издавал человек, спрятавшийся в кустах тамарисков.

Он прислушался, и оклик вскоре повторился. Это было такое же ауканье, как и тогда, ночью, но приглушенное, тихое, хриплое, как будто тот, кто кричал, опасался, что его крик разнесется слишком далеко, и, приложив руки ко рту, наподобие рупора, направлял звук прямо в башню.

Когда первое изумление прошло, Фебрер молча улыбнулся и пожал плечами. Он и не думал двигаться с места. Что ему до этих допотопных обычаев, этих сельских вызовов на поединок? «Аукай, приятель, кричи, пока не устанешь, я все равно не слышу».

И, чтобы отвлечься, он снова начал перечитывать письмо, находя особое наслаждение в длинном списке кредиторов: имена их вызывали у него в памяти то гневные картины, то комические сцены.

Ауканье продолжалось с большими перерывами, и всякий раз, когда его хриплый, пронзительный звук нарушал тишину, Фебрер вздрагивал от нетерпения и возмущения. Боже мой! Неужели придется провести ночь вот так, без сна, слушая эту наглую серенаду?

Ему пришло в голову, что, может быть, враг, спрятавшись в зарослях, видит свет сквозь щели в двери и потому так настойчив в своих действиях. Он потушил свечу и лег на кровать; растянувшись в темноте на мягком шуршащем тюфяке, он испытал блаженное ощущение. Пусть этот грубиян кричит хоть несколько часов, пока окончательно не охрипнет! Он не пошевелится. Что ему до этих оскорблений!.. И он засмеялся, испытывая чисто физическую радость от того, что лежит на мягкой постели, а тот в это время надрывается, сидя в кустах, не смыкая глаз и держа оружие наготове. Ну и шутку сыграет он с соперником!..

Приглушенные крики мало-помалу убавляли его, и он почти заснул.

У двери им заранее была устроена та же баррикада, что и в позапрошлую ночь. Пока раздавалось ауканье, он был уверен, что ему ничто не угрожает. Вдруг он сильно вздрогнул, выпрямился и стряхнул с себя дремоту, уже переходившую в сон. Криков больше не было слышно. Его заставило настроиться таинственное молчание, гораздо более угрожающее и тревожное, чем враждебные оклики.

Он поднял голову, и сквозь смутные шорохи, сливавшиеся в единое дыхание ночи, ему послышался какой-то шаркающий звук, легкий скрип дерева, нечто похожее на легкую поступь кошки, которая крадется со ступеньки на ступеньку по лестнице и подолгу останавливается.

Хайме нащупал револьвер и сжал его в руке. Ему показалось, что оружие дрожит в его пальцах. Его постепенно охватывал гнев, свойственный человеку, уверенному в своих силах и угадывающему присутствие врага у себя за дверью.

Медленные шаги заглохли, быть может на середине лестницы, и после долгого молчания отшельник услышал тихий голос, звучавший для него одного. Он узнал его: это был голос Кузнеца. Тот приглашал Фебрера выйти, называл его трусом и к этому оскорблению добавлял другие ругательства по адресу ненавистного ему острова, родины Хайме.

Повинуясь безотчетному порыву, Хайме вскочил с постели, и тюфяк громко зашуршал под его ногами. Стоя в темноте во весь рост и держа в руке револьвер, он пожалел о своем внезапном движении и снова почувствовал острое презрение к врагу. К чему обращать на него внимание? Нужно опять лечь... Последовала другая пауза: противник, по-видимому, услышал хруст тюфяка и ждал, что хозяин башни выйдет с минуты на минуту. Прошло некоторое время, и хриплый, наглый голос снова раздался в ночной тиши. Он снова назвал майоркинца трусом и предлагал ему показаться: «Выходи, шлюхино отродье!»

Услышав это оскорбление, Фебрер задрожал и сунул револьвер за пояс. Его мать! Его бедная мать, бледная, больная, не уступающая по кротости святой, подвергается худшему из поношений со стороны каторжника!..

Он инстинктивно устремился к двери, но наткнулся на стол и стулья, нагроможденные перед нею. Нет, только не через дверь... На темной стене виднелось квадратное пятно туманного голубоватого света. Хайме открыл окно. Сияние звездного неба слабо озарило его судорожно искаженное лицо с печатью холодного отчаяния и жестокости; в эту минуту он был похож на командора дона Приамо и других мореплавателей, несших войну и разрушение, чьи портреты покрывались пылью в особняке на Майорке.

Он сел на подоконник, перекинул ноги и стал медленно спускаться, нащупывая впадины в стене, чтобы отваливающиеся от нее камни не скатились вниз и не выдали бы его своим шумом.

Очутившись на земле, он вытащил из-за пояса револьвер и, наклонившись, почти ползком, опираясь на руку, стал пробираться, стараясь обогнуть башню. Ноги его задевали за обнаженные ветром корни тамарисков, которые стелились по песку, словно черные змеи. Каждый раз как он наталкивался на препятствие, заставлявшее его тратить большие усилия для продвижения вперед, каждый раз как скатывались или хрустели под его тяжестью камни, он замирал на месте, затаив дыхание. Его охватывала дрожь, но не от страха, а от сильного беспокойства и тревоги, как нетерпеливого охотника, который боится опоздать. О, если бы напасть на врага внезапно, у самой двери, когда он бормочет вполголоса свои страшные оскорбления!..

Распластавшись на ходу, как зверь, едва касаясь земли, он увидел наконец нижнюю часть лестницы, затем верхние ступеньки, а там и черную дверь в центре башни, казавшуюся белой при свете звезд. Никого! Враг спасся бегством.

От неожиданности он выпрямился и стал тревожно вглядываться в темное неподвижное пятно, сползавшее по склону. Смотрел он недолго. Неподалеку от него из-за тамарисков сверкнула красная змейка, короткий огненный зигзаг, вслед за этим взвилось белое облачко и раздался гром. Хайме почудилось, что его ударили в грудь булыжником, раскаленным камнем, который, по-видимому, отскочил рикошетом от выстрела.

«Ничего!» — подумал он.

Но в ту же минуту он, сам не зная как, очутился на земле, распростертый навзничь.

«Ничего!» — снова подумал он.

Он машинально перевернулся на грудь, оперся на одну руку и вытянул вперед другую, державшую револьвер.

Он чувствовал себя сильным и мысленно повторял себе, что все это пустяки; но тело его внезапно отяжелело и отказалось повиноваться его воле. Казалось, оно приросло к земле в силу какой-то болезненной тяги. На глазах у него кусты раздвинулись, словно их потревожил неведомый, осторожный и злобный зверь. Вот и враг: сначала показалась голова, затем — туловище по пояс, и наконец он выпростал ноги из хрустящих ветвей.

Перед Фебрером на краткий миг мелькнуло видение, одно из тех, которые сопутствуют последним минутам тонущего или агонизирующего человека, когда беглые воспоминания всей минувшей жизни сливаются в единый клубок; он вспомнил, как молодым человеком в саду он стрелял из пистолета, лежа на земле, притворяясь раненым на воображаемом поединке. Эта причудливая предосторожность должна сейчас оказать ему услугу.

Он отчетливо видел черный силуэт врага, застывший перед дулом его револьвера. Силуэт становился все более неясным и расплывчатым, словно ночной сумрак постепенно сгущался. Тогда он нажал на спуск — раз, другой, третий, полагая, что оружие не действует, так как выстрелов не было слышно, и ожидая, что враг, пользуясь его незащищенностью, вот-вот нападет на него. Но враг не показывался. Белый туман застилал глаза Фебрера, в ушах у него звенело... Но когда ему показалось, что противник уже около него, туман рассеялся, он снова различил мягкий голубой сумрак ночи и в нескольких шагах от себя — чье-то тело, распростертое на земле так же, как и его собственное, тело, которое извивалось, корчилось, царапало землю с мучительным стоном и предсмертным хрипом.

Хайме не мог понять этого чуда. Неужели в самом деле он стрелял?.. Он хотел было подняться, и руки его, ощупывая землю, погрузились в густую теплую грязь. Он дотронулся до груди, и она оказалась смоченной чем-то теплым и липким, что стекало тонкими непрерывными струйками. Желая встать на колени, он попытался согнуть ноги, но они не повиновались ему. Только теперь он понял, что ранен.

Глаза его затуманились... Башня стала двоиться, троиться, затем целая вереница каменных башен, возникших на берегу, скатилась в море. Он ощутил едкий вкус во рту и на губах. Ему показалось, будто он пьет что-то горячее и крепкое, но в силу странной причуды его организма, пьет не ртом, а странная жидкость подступает к горлу, поднимаясь изнутри. Черная фигура, извивавшаяся и хрипевшая в нескольких шагах от него, становилась все больше и больше, конвульсивно подпрыгивая на земле. Это был уже какой-то апокалиптический зверь, ночное чудовище, которое, выгибаясь дугой, доставало до самых звезд.

Собачий лай и людские голоса рассеяли эти кошмары, навеянные одиночеством. Во мраке вспыхнули огни.

— Дон Чауме! Дон Чауме!

Чей это женский голос? Где он его уже слышал?..

Он увидел несколько темных фигур, которые двигались, наклоняясь к земле и держа в руках красные звезды. Он различил человека, пытавшегося удержать другого, поменьше, в руках которого сверкала белая молния — вероятно, нож, которым он собирался прикончить



корчившееся в судорогах чудовище.

Больше ничего он не увидел. Он ощутил лишь, как чьи-то мягкие руки, нежные и теплые, взяли его за голову. Тот же самый голос, дрожащий от слез, зазвенел у него в ушах, вызывая трепет, разлившийся, казалось, по всему его телу:

— Дон Чауме! Дон Чауме!

Он ощутил на своих губах нежное прикосновение, что-то сладостное и ласкающее, как шелк. Мало-помалу это прикосновение усилилось и превратилось наконец в неистовый поцелуй, полный отчаяния и безумной скорби.

Прежде чем взор его помутился, раненый слабо улыбнулся, увидав перед собой заплаканные глаза, полные любви и тоски, глаза Маргалиды.

#### IV

Придя в себя в комнате хозяина Кан-Майорки, на высокой постели Маргалиды, Фебрер попытался уяснить себе все случившееся.

Он дошел до хутора с помощью Пепа и его сына, чувствуя на своих плечах ласковое прикосновение чьих-то дрожащих рук. Это были туманные, расплывчатые ощущения, подернутые беловатой дымкой; нечто похожее на то, что остается в памяти о словах и поступках на следующий день после попойки.

Ему припомнилось, что, смертельно усталый, он старался опереться головой о плечо Пепа, что силы постепенно оставляли его, словно жизнь ускользала вместе с горячей и липкой струей, стекавшей вдоль груди и спины. Он припомнил также, что слышал за собой глухие вздохи и отрывистые слова, взывавшие к заступничеству всех сил небесных. А он, охваченный странной слабостью, со звоном в висках, близкий к обмороку, делал усилия, чтобы сосредоточить всю энергию в ногах, подвигаясь шаг за шагом, под страхом остаться навсегда среди дороги. О, как бесконечен спуск в Кан-Майорки! Он продолжался часы, даже дни; в его неясной памяти этот переход представлялся ему таким же длинным, как вся его прошлая жизнь.

Когда дружеские руки помогли ему лечь на постель и при свете ночника стали освобождать его от одежды, Фебрер испытал ощущение блаженства и покоя. О, если бы никогда не вставать с этого мягкого ложа! Остаться бы тут навсегда!..

Кровь!.. Повсюду ее безобразные красные следы — на пиджаке, на рубашке, которые, словно жалкие лохмотья, упали к ногам кровати, на строгой белизне грубых простынь, в ведре с водой, сделавшейся красной, когда намочили тряпку, чтобы обмыть раненую грудь. С любой части одежды, снятой с его тела, капал словно мелкий дождь. Белье пришлось отирать от тела, и от этого бросало в дрожь. Колеблущееся пламя ночника выделялось в темноте назойливым красным пятном.

Женщины заливались слезами. Мать Маргалиды, забыв о благоразумии, всплескивала руками и возводила к небу глаза, полные ужаса. Царица небесная!.. Фебрер, которому отдых в постели вернул невозмутимость, удивлялся этим восклицаниям. Он чувствовал себя хорошо. Отчего же так волнуются женщины? Маргалида, в широко раскрытых глазах которой отражался страх, молча ходила взад и вперед, перебирая платья и отпирая ящики с Добряк Пеп, хмурый, с зеленоватой бледностью на смуглом лице, ухаживал за раненым и тут же

отдавал распоряжения. Корпии! Побольше корпии! Женщины, помолчите! К чему эти крики и причитания? Жене бы надо поискать баночку с чудесной мазью, что хранится на всякий случай еще со времен его почтенного отца, грозного верро, привыкшего получать раны.

Когда мать, оглушенная этими гневными приказаниями, пыталась было вместе с Маргалидой отыскать лекарство, муж снова потребовал ее к постели раненого. Нужно поддержать сеньора: он положил его на бок, чтобы осмотреть и в то же время обмыть грудь и спину. Миротлюбивый Пеп еще в юности навиделся гораздо более опасных случаев и кое-что понимал в ранах. Смывая капли крови мокрой тряпкой, он обнаружил два углубления на теле дона Хайме — одно на груди, а другое на спине... Прекрасно! Пуля прошла навывлет, стало быть не нужно ее извлекать. Это ускорит выздоровление.

Своими грубыми руками, которым он старался придать женскую нежность, Пеп с трудом свертывал тампоны и вкладывал их в рваные кровавые раны, которые все еще продолжали медленно сочиться.

Маргалида, нахмурившись и отвернувшись, чтобы не встречаться взглядом с глазами раненого, вмешалась и отстранила отца: «Позволь!» Может быть, ей удастся лучше. И Хайме показалось, что он ощутил на своем воспаленном, остро восприимчивом теле, содрогавшемся от сильной саднящей боли, какую-то свежесть и сладостное успокоение, когда тампоны были введены пальцами девушки.

Хайме лежал неподвижно, ощущая на спине и на груди груды бинтов, наложенных женщинами, приходившими в ужас при виде крови.

К нему вернулась бодрость, которая поддержала его в ту минуту, когда у него подогнулись колени и он упал у подножия башни. Разумеется, все это пустяки: рана незначительна, и он чувствует себя уже лучше. Ему было досадно, что все присутствующие так некстати грустны и молчаливы. Желая ободрить их, он улыбнулся и попытался даже заговорить, но при первых же словах почувствовал сильное утомление.

Крестьянин остановил его: «Тихо, дон Хайме, не нужно шевелиться. Скоро придет доктор. За ним в Сан Хосе поскакал Пепет на самом лучшем коне».

Видя, что дон Хайме, широко раскрыв глаза, продолжает ободряюще улыбаться, Пеп решил занять раненого разговором.

Сам он спал тяжелым, глубоким сном, когда его разбудили вопли и толчки жены и крики детей, которые бросились к двери и хотели выбежать из дома. Где-то за хутором, со стороны башни, слышались выстрелы. Опять нападение на сеньора, как и в позапрошлую ночь!.. Услышав последние выстрелы, Пепет заметно повеселел: это дон Хайме, он знает звук его револьвера.

Он, Пеп, зажег фонарь, с которым обычно ходит в поле, жена взяла светильник, и все побежали на гору, к башне, не думая об опасности. Первый, на кого они наткнулись, был Кузнец; тот был при смерти, из головы его струилась кровь, он кричал и извивался, как дьявол. Да сжалится над ним господь! Отец чуть не вступил в рукопашную с сыном: мальчишка, разъяренный и злой, как обезьяна, увидев умирающего, выхватил из-за пояса нож, собираясь его добить. Откуда взялось у Пепета это оружие? Ну и черти эти молокососы! Ничего себе игрушка для семинариста!.. Отец указал глазами на нож, подаренный Фебрером Капелланчику, валявшийся теперь на стуле.

Потом они нашли сеньора, упавшего ничком возле лестницы, ведущей в башню. Да, дон Хайме, как перепугались и он и его домашние! Они подумали, что сеньор мертв. Только в таком горе и поймешь, как тебе дорог человек! И добрый крестьянин со слезами на глазах ласково смотрел на раненого, словно желая его обнять, а обе женщины, стоявшие вплотную к

кровати, как бы молча вторили Пепу и старались своими взглядами ободрить больного.

Эти ласковые и подернутые печалью взгляды было последним, что видел Фебрер. Глаза его закрылись, и он незаметно погрузился в дремоту, без снов, без бреда, в туманное блаженство небытия, словно его мысль уснула раньше тела.

Когда он снова открыл глаза, в комнате уже не было красного огонька. Ночник висел на прежнем месте с почерневшим и потухшим фитилем. Холодный, синеватый свет проникал сквозь окошечко спальни: брезжило утро. Хайме почувствовал озноб. Покрывавшие его простыни были откинуты; чьи-то ловкие руки ощупывали повязки на его ранах. Тело, еще недавно бесчувственное, вздрагивало и трепетало теперь при малейшем прикосновении от острой боли, вызывавшей невольные стоны.

Следя затуманенным взором за этими мучившими его руками, раненый увидел черные рукава, затем галстук, воротничок рубашки, не похожий на крестьянский, а над ними — лицо с седыми усами, которое он часто встречал во время прогулок, но теперь никак не мог припомнить, кто это. Мало-помалу он стал его узнавать. Это, должно быть, доктор из Сан Хосе, которого он часто видел верхом или в повозке, старый врач-практик, носивший на деревенский лад альпаргаты, но отличавшийся от крестьян галстуком и крахмальным воротничком и тщательно подчеркивавший всегда эти признаки своего превосходства.

Какую пытку причинял ему этот человек, ощупывая его тело, которое, ожесточившись и став более чувствительным, болезненно чувствительным и боязливым, съеживалось от малейшего прикосновения воздуха!.. Когда лицо доктора исчезло и пытка прекратилась, Хайме снова погрузился в тихую дремоту. Он закрыл глаза, но в темноте слух его как бы обострился. В кухне, по соседству с комнатой, слышались приглушенные голоса, и раненый уловил только несколько фраз из этого неясного разговора. Среди тягостного молчания выделялся незнакомый голос, очевидно голос врача. Отрадно было, по его мнению, что пуля не осталась в теле: она, несомненно, только прошла через легкое. Тут слышались сдержанные возгласы удивления и сожаления, и снова прежний голос заверил: «Да, легкое, но пугаться нечего. Легкое быстро рубцуется, это самый неприхотливый орган нашего тела. Нужно только опасаться травматической пневмонии».

Слушая это, раненый продолжал сохранять свою бодрость: «Все это пустяки, пустяки». И он опять мягко погрузился в полузабытье, словно окунулся в море, безбрежное, ровное, бездонное, где все видения и ощущения тонули без зыби, без следа.

С этой минуты Фебрер утратил представление о времени и действительности. Он все еще жил: он был в этом уверен, но жизнь его была какая-то ненормальная, странная, бесконечная полоса мрака и беспамятства с редкими проблесками света. Он открывал глаза и замечал, что наступила ночь: окошко чернело, и пламя ночника выхватывало из темноты окружающие предметы, казавшиеся тревожно плясавшими красными пятнами. Он снова открывал глаза, предполагая, что прошло лишь несколько минут, но наступал уже день: солнечный луч проникал в комнату, чертя золотые узоры на полу у кровати. Таким-то образом с фантастической быстротой сменялись для него день и ночь, как будто течение времени изменилось раз и навсегда. Когда же эта быстрая смена тьмы и света прекращалась, наступало томительное и гнетущее однообразие. Стоило раненому очнуться — и он видел ночь, и только ночь, словно мир был обречен на нескончаемый мрак; иногда же, наоборот, непрерывно сияло солнце, как в полярных странах, где раздражающий дневной свет не прекращается целыми месяцами.

Однажды, когда Хайме пришел в себя, он увидел Капелланчика. Полагая, что сеньору стало внезапно лучше, мальчик заговорил с ним, правда вполголоса, чтобы не навлечь на себя гнев отца, приказавшего ему молчать.

Кузнеца уже похоронили. Теперь этот храбрец унавоживает землю. Как метко стреляет дон Хайме! Какая твердая у него рука!.. Он пробил верро голову.

Юноша припоминал все случившееся с гордостью человека, которому выпала честь присутствовать при исторических событиях. Из города приехал судья с палочкой, увешанной кистями, офицер гражданской гвардии и два сеньора с бумагой и чернильницами. Их сопровождали солдаты в треуголках и с ружьями. Эти всемогущие особы, отдохнув в Кан-Майорки, поднялись к башне, все осмотрели, все исследовали, бегая взад и вперед по всей площадке, словно желая ее измерить, и наконец заставили Капелланчика лечь на то место, где он застал дон Хайме, и принять ту же позу. Потом благочестивые соседи, с разрешения судьи, отнесли труп Кузнеца на кладбище Сан Хосе, а почтенные представители правосудия спустились к хутору, чтобы допросить раненого. Но говорить с ним было нельзя. Он спал, а когда его будили, смотрел на всех блуждающими глазами и тут же снова их закрывал. Сеньор, верно, этого и не помнит?.. Его допросят в другой раз, когда он поправится. Беспокоиться не надо: все честные люди, так же как и блюстители закона, «расположены в его пользу». У Кузнеца нет близких родственников, которые бы хотели отомстить за него, да и многим он был противен, поэтому соседям не было корысти молчать и все говорили правду. Верро две ночи подкарауливал сеньора у башни, а сеньор только защищался. Ему, наверно, ничего и не будет. Так утверждает он, Капелланчик, который, при всех своих воинственных склонностях, смыслил кое-что и в правосудии. «Самозащита, дон Хайме...» На острове только и говорят об этом происшествии. В городских кафе и казино все его оправдывают. Написали даже в Пальму отчет обо всем случившемся для публикации в газете. Сейчас его друзья на Майорке уже все знают.

Дело не затянется. Единственно, кого увезли в Ивису, чтобы упрятать в тюрьму за все его угрозы и ложь, — это Певца. Он пытался уверить, что сам выслеживал ненавистного майоркинца, и перевозносил Кузнеца как невинную жертву. Но с минуты на минуту его, вероятно, выпустят на свободу: его уловки и увертки всем надоели. Мальчик говорил о нем с презрением. Этой мокрой курице не под силу такая роскошь, как убийство человека. Все это одна комедия.

Порою, открывая глаза, раненый видел неподвижную и съезжившуюся фигуру жены Пепа. Она пристально смотрела на него бессмысленным взором, шевелила губами, словно молилась, и прерывала это немое бормотание глубокими вздохами. Стоило ей заметить остановившийся взгляд Фебрера, как она бежала к столику, уставленному бутылками и стаканами. Ее нежность проявлялась в том, когда Хайме, не вполне очнувшись от забытья, смотрел на лицо Маргалиды, он испытывал сладостное чувство, которое помогало ему лежать некоторое время с открытыми глазами. Взгляд девушки был полон немого обожания и опасения за здоровье раненого. Она, казалось, молила о милосердии к нему своими заплаканными, обведенными синевой глазами, выделявшимися на нежном, монашески бледном лице. «Из-за меня, из-за меня!» — словно говорила она в немом раскаянии.

Она подходила к Хайме робко, неуверенно, но бледные щеки ее уже не вспыхивали: необычайные обстоятельства, видимо, победили ее застенчивость. Она поправляла простыни, скомканные раненым, давала ему пить и по-матерински заботливо приподнимала ему голову, чтобы взбить подушку. Если Фебрер пытался заговорить, она подносила палец к губам, заставляя его молчать.

Однажды раненый схватил на лету ее руку и поднес к губам, прильнув к ней долгим поцелуем. Маргалида не посмела ее отдернуть. Она только отвернулась, как бы желая скрыть слезы, выступившие на глазах, и тяжело вздохнула. Раненому показалось, что он слышит те же слова раскаяния, которые порой он читал в ее взоре: «По моей вине!.. Все по моей вине!..» При виде этих слез Хайме испытал глубокую радость. О нежный Цветок миндаля!..

Он уже не видел ее тонкого, бледного лица и мог различать только блеск ее глаз, подернутых серой дымкой, как солнечный свет в ненастное утро. В висках у него жестоко стучало, взгляд помутился. На смену сладостной дремоте, блаженной и бездумной, как небытие, явился сон, полный бессвязных очертаний, огненных видений, витающих над бездонным провалом, и страшных мучений, исторгавших из его груди пугливые стоны и тревожные крики. Он бредил. Не раз среди этих кошмаров он на мгновение пробуждался, но только на одно мгновение, и тогда он сознавал, что старается приподняться на постели и чьи-то руки, лежащие на его руках, пытаются его удержать. И он снова погружался в этот мир теней, населенный ужасами. В эти редкие минуты пробуждения, подобные мимолетному проблеску в темноте тоннеля, он узнавал опечаленные лица обитателей Кан-Майорки, склонившиеся над ним. Иногда он встречался взглядом с доктором, а однажды ему даже почудилось, что он видит седые бакенбарды и маслянистые глаза своего друга Пабло Вальса. «Фантазия! Безумие!» — подумал он, снова впадая в беспамятство.

Порою, когда его глаза устремлялись в этот мрачный мир, в котором кошмары чертили, подобно кометам, красные следы, до его слуха слабо доносились слова, звучавшие, казалось, далеко, очень далеко и вместе с тем произносимые тут же, возле его постели: «Травматическая пневмония... Бред». Слова эти повторялись разными голосами, но он не сомневался в том, что они относились к нему. Он чувствовал себя хорошо; то, что с ним происходит, это пустяки. Ему только очень хочется лежать, отречься от жизни, с наслаждением застыть на месте и оставаться так до самой смерти, которой он ничуть не боится.

Его лихорадочно возбужденный мозг, казалось, кружился, и кружился с каким-то бешеным безумием, и этот круговорот вызывал в его памяти смутный образ, когда-то его сильно привлекавший. Он видел колесо, огромное колесо, необъятное, как земной шар: верхняя часть его терялась в облаках, а нижняя растворялась в звездной пыли, сверкавшей на черном небосводе. Обод этого колеса состоял из живых тел, миллионов и миллионов человеческих созданий, скученных, спаянных воедино и жестикулирующих свободными конечностями; они шевелили ими, желая убедиться в том, что они не связаны и вольны в своих движениях, тогда как их тела были прикованы друг к другу. Спицы колеса привлекали внимание Фебрера своими причудливыми формами. Тут были и шпаги с окровавленными клинками, увитыми лавровыми гирляндами — эмблемой героизма; иные казались золотыми скипетрами, увенчанными королевскими или императорскими коронами; далее виднелись жезлы правосудия, золотые столбики, составленные из монет, положенных одна на другую; посохи, усеянные драгоценными камнями, — символы божественной папской власти с тех пор, как люди сгрудились в стада и стали боязливо блеять, устремив свои взоры ввысь. Центром этого колеса был череп, белый, чистый, блестящий, как из полированного мрамора; огромный череп, величиной с планету, остававшийся неподвижным, когда все вокруг него кружилось; череп, светлый как луна, казалось злобно подмигивавший, точно молча насмеявшийся над всем этим движением.

Колесо вращалось и вращалось. Миллионы существ, насильно втянутых в его непрерывный круговорот, кричали и махали руками, восхищенные и разгоряченные этой быстротой.

Хайме видел, как они то и дело взлетали вверх и тотчас устремлялись головою вниз. Но они в своем ослеплении полагали, что движутся прямо, восторгаясь при каждом взлете видом новых пространств, новых вещей. Они считали чем-то новым и изумительным то самое место, где были за минуту до этого. В полном неведении того, что центр, вокруг которого все вращалось, неподвижен, они были искренне убеждены, что их движение поступательно. «Как мы летим! Где остановимся?» И Феблер снисходительно улыбался их простодушию при виде того, как они самодовольно упивались быстротой своего движения вперед, оставаясь при этом на месте, и скоростью подъема, который они совершали уже в тысячный раз и за которым неизбежно следовал головокружительный спуск вниз головой.

Внезапно Фебрер почувствовал, что его толкает какая-то неодолимая сила. Большой череп насмешливо улыбался ему: «А, и ты тоже? К чему противиться судьбе?» И он тут же оказался прижатым к колесу, растворился в этой доверчивой и ребяческой человеческой толпе, не испытывая, однако, утешения от сладкого обмана. А ближайшие спутники оскорбляли, оплевывали и били его за то, что он упорно и нелепо продолжает отрицать движение, считая, что сомневаться в очевидном впору только сумасшедшему.

Колесо лопнуло, наполнив черное пространство дымом, пламенем и неисчислимыми миллиардами судорожных криков, исторгнутых человеческими существами, увлеченными в тайну вечности. И Фебрер полетел вниз, падая целыми годами и веками, пока не почувствовал под собой мягкой постели. Тут он открыл глаза. Маргалида стояла у изголовья при свете ночника и с ужасом смотрела на больного. Бедная девушка удерживала его дрожащими руками, испуганно восклицая:

— Дон Чауме! О дон Чауме!

Он кричал как сумасшедший, наклонялся с кровати, упорно стремясь свалиться на пол, и говорил о колесе и черепе.

— Что это с вами, дон Чауме?..

Больной почувствовал ласковое прикосновение нежных рук, которые поправляли сбитые простыни, поднимали их и натягивали ему на плечи с трогательной материнской заботливостью, словно он был ребенок.

Прежде чем снова впасть в бессознательное состояние и снова пройти сквозь огненные врата бреда, Фебрер увидел совсем близко затуманенные глаза Маргалиды, обведенные синими кругами, все более и более печальные от готовых нахлынуть слез; вдруг он ощутил на своем лице ее теплое дыхание, и губы его вздрогнули от шелковистого и влажного прикосновения, от нежной и робкой ласки, похожей на веянье крыла. «Спите, дон Чауме!» Сеньору надо спать. И при всем том, что в словах ее, обращенных к раненому, чувствовалась большая почтительность, им была свойственна уже ласковая близость, словно дон Хайме стал для нее другим человеком с тех пор, как их сблизило несчастье.

Лихорадочный бред уносил больного в странные миры, где не было не малейшего намека на реальность. Временами он видел себя в своей одинокой башне. Мрачный остов ее был сложен уже не из камня, а из черепов, сцепленных воедино раствором из праха костей. Из костей были также и холмы, и прибрежные скалы, и морские валы, увенчанные пенными гребнями, казались белыми скелетами. Все, что было доступно взору — деревья и горы, корабли и отдаленные острова, — все как бы окостенело и сверкало ослепительной белизной ледяного ландшафта. Черепа с крыльями, походившие на херувимов с картин религиозного содержания, носились в пространстве и своими провалившимися ртами распевали хриплыми голосами гимны великому божееству, чей саван окутывал складками все окружающее и чья голова уходила в облака. Сам он чувствовал, как чьи-то невидимые когти сдирали с него мясо, он дико кричал от боли, когда окровавленные куски, принадлежавшие ему всю жизнь, внезапно отделялись от его тела. Потом он видел себя в виде очищенного и сверкающего белизной скелета, и далекий голос нашептывал ему в отсутствующие уши чудовищное заклятие: «Настал час истинного величия, ты перестал быть человеком и превратился в мертвеца. Раб прошел через великий искуc и преобразился в полубога». Мертвые повелевают. Достаточно взглянуть, с каким суеверным трепетом, с каким угодническим страхом живые в городах поклоняются тем, кто отошел в вечность. Знатный обнажает голову перед нищим.

Всеобъемлющим взором своих пустых и черных глазниц, для которых не существовало ни расстояний, ни препятствий, он окинул всю земную поверхность. Мертвые, мертвые повсюду!

Ими заполнено все. Он видел судебные заседания с людьми, одетыми в черное: прищурил глаза и придав себе важный вид, они слушали о бедствиях и безумных поступках себе подобных, а за ними виднелись другие огромные скелеты, что, с сознанием векового величия, облаченные в тоги, водили руками судей, писавших по их указанию, и диктовали им шепотом на ухо свои приговоры. Мертвые судят. Он видел большие залы с верхним светом и скамьями, стоявшими полукругом, а на них — сотни людей, которые говорили, кричали и жестикулировали, создавая при этом шуме новые законы. За ними скрывались истинные законодатели — мертвецы, депутаты, одетые в саван, но их присутствие оставалось незамеченным этими тщеславными краснобаями, воображающими, что они всегда говорят только по собственному вдохновению. Мертвые диктуют законы? В минуту сомнения достаточно кому-нибудь вспомнить о том, что в свое время думали мертвецы, и тотчас водворится порядок, ибо все согласится с его мнением. Мертвые — это единственное, что реально, вечно и неизменно. Люди во плоти — лишь преходящая случайность, ничтожный пузырь, лопающийся от пустой чванливости.

И он видел белые скелеты, стоящие, подобно мрачным ангелам, у врат созданных ими городов, стерегущие загнанное в ограду стадо и отгоняющие, словно нечистых животных, всех непочтительных безумцев, которые отказывались признавать их власть. Он видел у подножия больших памятников, под картинами в музеях и под полками библиотек оскаленные черепа, чья немая улыбка, казалось, говорила людям: «Полюбуйтесь: это создано нами, и все, что бы вы ни делали, будет лишь подражанием». Весь мир принадлежал мертвецам. Повсюду царствовали только они. Живой, открывая рот, чтобы утолить голод, жевал частицы тех, кто предшествовал ему на жизненном пути. Если он хотел испытать наслаждение или услышать нечто прекрасное, искусство открывало ему творения умерших мастеров. Даже любовь находилась у них в подчинении. Женщина в минуты стыдливости и страстного порыва, полагая, что эти чувства самопроизвольны, рабски подражала, сама того не зная, своим прародительницам, прибегавшим для искушения, в зависимости от эпохи то к лицемерной скромности, то к откровенному бесстыдству.

Метавшегося в бреду больного стало подавлять бесчисленное количество этих плотно прижатых друг к другу существ, белых и костлявых, с черным оскалом и злобной усмешкой, воплощавших в своих скелетах исчезнувшую жизнь и упорно продолжавших существовать, заполняя собою все вокруг. Их было так много, так много!.. Двигаться становилось невозможно. Фебрер наталкивался на их выпуклые гладкие ребра, на острые выступы их бедер; его приводил в содрогание хруст их суставов. Они его давили, душили; их были миллионы миллионов-все прошлое человечества. Не находя места, куда поставить ноги, они выстраивались рядами один поверх другого. Эти остовы в своем движении напоминали морской прилив, поднимающийся все выше и выше, пока он не достигал вершин высочайших гор и не касался облаков. Хайме задыхался, захлестываемый этой огромной волной, белой, жесткой и хрустящей. Его топтали, наваливались на его грудь всей тяжестью, присущей мертвым телам... Ему грозила гибель.

В отчаянии он схватился за чью-то руку, протянутую словно издалека, из мрака: руку живого человека, руку, одетую плотью. Он притянул ее к себе, и мало-помалу в тумане стало смутно вырисовываться чье-то лицо. После пребывания в мире пустых черепов и голых костей это человеческое лицо произвело на него впечатление такой же приятной неожиданности, какую испытывает отважный путешественник, увидев лицо своего соплеменника после долгих скитаний среди дикарей.

Он еще сильнее притянул эту руку, черты смутного лица стали яснее, и Хайме узнал Пабло Вальса, склоненного над ним. Пабло шевелил губами, словно шептал ласковые слова, которых Фебрер не мог расслышать. И на этот раз!.. Всегда капитан является ему в бреду!

После этого мимолетного видения больной снова впал в беспамятство. Теперь он стал спокойнее. Жажда, жестокая жажда, заставлявшая его протягивать руки с постели и отрывать

губы от выпитой чашки с чувством ненасытной тоски, стала уменьшаться. В бреду он видел прозрачные ручьи и огромные спокойные реки, но не мог до них добраться, потому что ноги его были скованы мучительной неподвижностью. Теперь он любовался сверкающим, пенистым водопадом и смог наконец подойти, приблизиться к нему, а водопад становился все выше и выше, и он чувствовал на своем лице его свежую, влажную ласку.

Под громкий шум этого водопада до его слуха донеслись приглушенные голоса. Кто-то опять говорил о «травматической пневмонии»: «Побеждена!» А другой голос весело добавил: «В добрый час! Человек спасен!» Больной узнал этот голос. Вечно этот Пабло Вальс встает перед ним в бреду!

Он продолжал идти вперед, привлеченный свежестью воды. Наконец он встал под шумным потоком и ощутил сладостную дрожь в спине от обрушившейся на него стремительной струи. Ощущение прохлады разлилось по всему его телу, и он отрадно, глубоко дышал. Его скованные члены как бы расправлялись от этой ледяной ласки. Грудь раздавалась вширь, исчезала гнетущая тяжесть, еще так недавно мучившая его тело так, словно вся земля наваливалась на него. Он чувствовал, как туман в его мозгу постепенно рассеивается. Он все еще бредил, но в бреду перед ним уже не вставали ужасные сцены, сопровождаемые истошными криками. Это был скорее мирный сон, в котором тело сладостно потягивалось, а мысль беззаботно витала, уносясь в радужные дали. Пенистые струи водопада были ослепительно белыми, и на грани их хрупких алмазов всеми цветами искрились радуги. Небо было розового оттенка; издали доносились звуки музыки и нежное благоухание. Нечто таинственное, невидимое и в то же время улыбающееся трепетало в этой фантастической атмосфере: то была какая-то сверхъестественная сила, от прикосновения к которой все чудесно преображалось. К нему возвращалось здоровье.

Непрерывное падение влаги, наклонная пелена воды, низвергавшаяся с высоких скал, пробудила в его памяти прежние сны. И вот — снова колесо, огромное колесо, символ человечества, все вертевшееся и вертевшееся, поднимавшееся раз за разом, чтобы проходить все по одному и тому же пути.

Больному, которого свежесть оживила, показалось, что у него возникли новые чувства и теперь он может дать себе отчет во всем окружающем.

Он снова увидел, как колесо вращается в бесконечности; но разве в самом деле оно неподвижно?.. Сомнение, источник новых истин, заставило его приглядеться более внимательно. Быть может, это обман зрения? Ошибается он, а миллионы существ, издающих ликующие крики в своей катящейся темнице, правы, полагая, что с каждым поворотом колеса они подвигаются все дальше и дальше?

Как жестоко, если жизнь века и века развивается в этом обманчивом движении, под которым в действительности кроется неподвижность. Какой же смысл тогда в существовании всего созданного? Разве у человечества нет другой цели, как только обманывать себя, вращая собственными усилиями круглый короб, в котором оно заперто, подобно птицам, раскачивающим своим порханием клетку, держащую их в неволе?

Вскоре он потерял из виду колесо. Он обнаружил перед собой огромный шар, необъятный, голубоватый; на нем вырисовывались моря и континенты, с теми же очертаниями, какие он привык видеть на картах. Это была Земля, Он, незаметная частица в неизмеримом пространстве, ничтожный зритель на изумительном спектакле, даваемом Природой, видел голубой шар, опоясанный облаками. Этот шар тоже вращался, как и роковое колесо, поворачиваясь вокруг своей оси с ужасающим однообразием; но это движение, наиболее непосредственное, наиболее заметное, такое, что все могли его ощутить, оказывалось ничтожным. Подлинно важным было другое движение. Помимо однообразного вращения вокруг одной и той же оси, было и движение вперед, увлекавшее голубой шар в вечный полет



по безграничным пространствам, причем путь его никогда не повторялся.

Будь проклято колесо! Жизнь — вовсе не вечный круговорот по одной и той же орбите. Только близорукие, наблюдая это движение и не видя ничего другого, могли вообразить, что оно единственное. Наглядное представление о жизни дает сама Земля. Она обращается вокруг своей оси в определенные промежутки времени; повторяются дни и времена года так же, как в человеческой истории повторяются эпохи величия и падения. Но есть нечто выше этого — движение поступательное, уносящее в бесконечность, все вперед!..

Теория «вечного возобновления вещей» ложна. Повторяются люди и события, подобно тому как на земле повторяются дни и времена года; но хотя все это и кажется одинаковым, на самом деле это не так. Внешность вещей может быть сходна, душа их различна.

Нет, с колесом покончено! Долой неподвижность! Мертвые не могут повелевать: мир в своем поступательном движении несется слишком быстро, чтобы они могли удержаться на его поверхности. Они цепляются за земную кору хищными костлявыми руками, пытаются удержаться на ней долгие годы, быть может целые века; но быстрота полета сбрасывает наконец их всех и оставляет позади лишь груды сломанных костей, потом прах и в итоге — ничего.

Мир, населенный живыми, стремился все вперед, ни разу не повторяя своего пути. Фебрер видел, как он появился на горизонте, подобно яркой лазурной слезе; затем стал расти и расти, пока не заполнил собою все пространство. И вот он пролетал мимо Хайме, вращением своим напоминая колесо, а скоростью — снаряд. Потом он снова уменьшился, уносясь в противоположную сторону. Глядишь, и он уже капля, точка, ничто... Исчез во мраке, кто знает — куда и зачем!

Тщетно его недавние мысли, видя себя побежденными, возвращались, чтоб воспротивиться в последний раз и крикнуть о том, что поступательное движение — тоже обман и что Земля, подобно колесу, вращается вокруг Солнца... Нет, Солнце, в свою очередь, вовсе не неподвижно и со всем своим привычным хором планет падает и падает, если в бесконечности можно падать, не поднимаясь; оно движется и движется, кто знает — к какой точке и с какой целью!

В конце концов он возненавидел колесо и стал мысленно разбивать его вдребезги, испытывая радость узника, переступающего порог тюрьмы и вдыхающего вольный воздух. Ему казалось, что с глаз его спала чешуя, как у древнееврейского пророка на пути в Дамаск [73]. Он созерцал новый свет. Человек свободен и может стряхнуть с себя иго мертвых, устроив жизнь по собственному желанию и порвав цепи рабства, приковавшие его к этим невидимым деспотам.

Он перестал грезить и погрузился в небытие, испытывая затаенное и молчаливое наслаждение работника, отдыхающего после трудового дня.

Когда, спустя долгое-долгое время глаза его снова открылись, он встретил устремленный на него взор Пабло Вальса. Тот держал его за руки и ласково смотрел на него своими желтоватыми глазами.

Сомнения быть не могло: это уже действительность. Он почувствовал запах английского табака с легкой душистой примесью опия, которым всегда были пропитаны губы и бакенбарды капитана. Значит, это была не фантазия, что он видел его в бреду? Стало быть, он на самом деле слышал его голос во время своих кошмаров?

Капитан рассмеялся, обнажая крупные зубы, пожелтевшие от трубки.

— А, дружище! — воскликнул он. — Дело идет на лад, верно? Температура спала, опасности

больше нет. Раны заживают. Ты, должно быть, чувствуешь их зуд, словно тебя колет тысяча чертей или будто тебе под бинты напустили ос. Это идет заживление ткани, появляется новое мясо, которое всегда жжет.

Хайме убедился в справедливости этих слов. На месте ран он чувствовал сильное покалывание, напряжение мускулов, стягивающих ткани.

Вальс прочел в глазах своего друга просьбу, подсказанную любопытством.

— Не говори, не утомляйся... С каких пор я здесь? Уже около двух недель. Я прочел о тебе в пальмских газетах и тотчас же поспешил сюда. Твой друг чуэт все тот же... Ну и заставил же ты нас поволноваться! Воспаление легких, голубчик, да, к тому же, из опасных. Ты открывал глаза и не узнавал меня: бредил как сумасшедший. Но теперь все прошло. Мы за тобой здорово ухаживали... Взгляни-ка, кто здесь.

И он отошел от кровати, чтобы Фебрер увидел Маргалиду. Теперь, когда сеньор смотрел на нее уже не воспаленными от жара глазами, она робела и стеснялась, прячась за спиной капитана. Ах, Цветок миндаля! Ласковый и нежный взгляд Хайме заставил ее покраснеть. Она боялась, как бы больной не вспомнил того, что она делала в самые тревожные минуты, когда была почти уверена, что он умрет.

— Теперь лежи спокойно, — продолжал Вальс. — Я останусь здесь до тех пор, пока мы не сможем вместе уехать в Пальму. Ты ведь меня знаешь... Мне все известно, я все устрою... Что? Требуется объяснения?..

Чуэт прищурил один глаз и хитро засмеялся, уверенный в своем умении угадывать желания друзей.

Молодец капитан! С тех пор как он приехал в Кан-Майорки, все повиновались его приказаниям, преклоняясь перед ним, как перед человеком, в котором чувствовались большая воля и неизменная веселость. Маргалида краснела от его шуток и подмигивания, но испытывала к нему большую симпатию за его самоотверженную заботу о друге. Она припоминала его глаза, полные слез, в ту ночь, когда все они думали, что дон Хайме умрет. Вальс и плакал тогда и бормотал проклятия. Капелланчик боготворил этого майоркинского сеньора с той минуты, как тот рассмеялся, узнав, что Пепета прочат в священники. Пеп и его жена ходили за ним всюду, как послушные и преданные собаки.

Несколько вечеров подряд Пабло обсуждал с больным все случившееся.

Вальс был человеком, быстро принимающим решения.

— Ты ведь знаешь, что я не утомим, раз дело идет о друге. Приехав в Ивису, я повидал судью. Дело твое уладится. Право на твоей стороне, и все признают здесь самозащиту. Будут небольшие неприятности, когда ты поправишься. Ну, а в общем — ничего... Здоровье тоже идет на лад. Еще что?.. Ах, да! Есть еще кое-что, но и это устраивается...

И, говоря это, он лукаво улыбнулся и пожал руки Фебреру, а тот, в свою очередь не стал расспрашивать его дальше, опасаясь разочарования.

Однажды, когда Маргалида вошла в комнату, Вальс подхватил ее под руку и подвел к постели.

— Взгляни на нее! — воскликнул он полушутливо-полусерьезно, обращаясь к больному. — Это та девушка, которую ты любишь? Ее тебе не подменили?.. Так дай же ей руку, дурень. Ну что ты так испуганно уставился на нее?..

Обеими руками Фебрер пожал правую руку Маргалиды. Итак, это правда? Он пытался

заглянуть в глаза атлоте, но они были опущены; от волнения щеки ее побледнели, ноздри трепетали.

— Теперь поцелуйтесь, — сказал Вальс, тихо подталкивая девушку к больному.

Но Маргалида, словно ей грозила опасность, вырвалась и убежала из комнаты.

— Ладно, — сказал капитан. — Поцелуетесь потом, когда меня не будет.

Вальс одобрял этот брак. Фебрер ее любит? Ну, так в добрый час... Это разумнее, чем женитьба на его племяннице ради миллионов ее отца. Маргалида — очаровательная женщина. Он-то в этом знает толк. Когда Хайме увезет ее с острова, оденет по-городскому и приучит к другому образу жизни, она, как и все женщины, быстро усвоит все хорошее, и никто не узнает в ней бывшей крестьянки.

— Твое будущее, маленький инквизитор, я устроил. Тебе ведь известно, что твой друг-еврей всегда добивается задуманного. На Майорке у тебя есть средства, на которые ты сможешь скромно жить. Не качай головой: знаю, что ты хочешь работать, тем более что ты влюблен и собираешься обзавестись семьей. Ты будешь работать. Мы вдвоем поведем какое-нибудь дело: есть что выбрать. У меня в голове всегда масса проектов — это уж у нас в крови... Если ты предпочитаешь уехать с Майорки, я подыщу тебе занятие за границей. Об этом стоит подумать.

Вопросы, касавшиеся семьи Пепа, капитан решал как полномочный хозяин. Ни муж, ни жена не смогли ему прекословить. Да и как спорить с сеньором, который все знает? Крестьянин теперь почти не возражал. Раз дон Пабло желает, чтобы Маргалида пошла за сеньора, и дает слово, что девушке это не принесет несчастья, пусть себе женятся. Для стариков, конечно, большое горе, что она уедет с острова, но они утешатся уже тем, что их зятем станет Фебрер, внушавший им огромное уважение.

Капелланчик готов был, казалось, на коленях благодарить Вальса; а еще толкуют в Пальме, что чуэты — скверный народ. Правда, говорят это майоркинцы, а они, известно, несправедливые и гордые. Он будет крестьянином: Кан-Майорки достанется ему. С помощью дона Пабло он даже получил обратно от отца свой нож и рассчитывает получить в подарок новейший пистолет, обещанный ему капитаном: одно из тех чудес по части оружия, которыми он восхищался в витринах на Борне, когда ездил в Пальму. Как только Маргалида выйдет замуж, он с этими двумя благородными спутниками за поясом отправится в квартал на поиски себе невесты. Храбрецы не должны переводиться на острове. В нем бурлит геройская кровь его деда.

Однажды, солнечным утром, Фебрер, уже выздоравливающий, опираясь на Вальса и Маргалиду, дошел до крыльца. Усевшись в кресло, он жадно всматривался в расстилавшийся перед ним мирный пейзаж. На вершине мыса высилась башня Пирата. Сколько грез, сколько страданий связано с ней! Как дорога она ему, если вспомнить, что именно там, в ее стенах, одинокий и забытый всеми, он вынашивал страсть, которая теперь заполнит остаток его жизни, до сих пор бесцельной!..

Ослабев от долгого лежания в постели и потери крови, он вдыхал теплый воздух ясного утра, колеблемый порывами прибрежного ветра.

Маргалида, взглянув на Хайме влюбленными глазами, хранившими еще известную робость, вернулась в дом, чтобы приготовить завтрак.

Мужчины, оставшись вдвоем, долго молчали. Вальс достал свою трубку, набил английским табаком и пускал клубы ароматного дыма.

Фебрер, пристально глядя на пейзаж, как бы поглощая взором небо, горы, поле и море, заговорил вполголоса, словно беседуя с самим собой.

Жизнь прекрасна. Он утверждает это с глубоким убеждением того, кто воскрес и неожиданно возвращается в мир. На лоне природы человек так же волен в своих действиях, как птица или насекомое. Место найдется для всех. Зачем застывать в оковах, изобретенных людьми для того, чтобы распорядиться судьбой других людей, которые придут им на смену?.. Мертвые, все эти проклятые мертвые хотят во все вмешиваться, портить нам жизнь!

Вальс улыбнулся, взглянув на Фебрера своими лукавыми глазами. Он не раз слышал, как тот в бреду говорил о мертвых, и размахивал руками, словно сражаясь с ними, желая их изгнать из мучивших его жестоких видений. Слушая объяснения Хайме и заключив из них, что преклонение перед прошлым и слепое повиновение власти мертвых исковеркали жизнь его друга и загнали его на уединенный остров, Вальс молчал, предаваясь собственным мыслям.

— Пабло, ты веришь, что мертвые повелевают?

Капитан пожал плечами. По его мнению, в мире нет ничего абсолютного. Быть может, власть мертвых не всегда была одинаково сильна и теперь уже приходит в упадок. В прежние времена они повелевали деспотически, это несомненно. Возможно, что и теперь они кое-где повелевают, но кое-где они навсегда утратили надежду на былое могущество. На Майорке, например, власть Фебрер испытывал глухое раздражение при воспоминании о своих ошибках и терзаниях. Проклятые мертвецы! Человечество не будет счастливым и свободным до тех пор, пока не покончит с ними.

— Пабло, убьем мертвых!

Капитан взглянул было на своего друга с некоторой тревогой, но, увидев его ясный взгляд, успокоился и сказал с улыбкой:

— По мне, пусть их убьют!

Затем, приняв серьезный вид, наклонившись вперед и пуская клубы дыма, чуэт добавил:

— Ты прав, убьем мертвых! Разрушим ненужные преграды, растопчем старый хлам, загромождающий и затрудняющий нам путь. Мы живем по заветам Моисея, по заветам Будды, Христа, Магомета и других человеческих пастырей, а естественней и разумней жить по законам наших собственных мыслей и чувств, Хайме оглянулся, словно отыскивая взглядом в глубине комнаты нежное лицо Маргалиды. Затем, собрав воедино все свои прежние тревоги и новые открывшиеся ему истины, он повторил с прежней настойчивостью: «Убьем мертвых!»

Голос Пабло отвлек его от размышлений:

— А ты бы женился теперь без страха и угрызений совести на моей племяннице?

Фебрер ответил не сразу. Да, он женился бы, невзирая на сомнения, которые так мучили его. Но при этом чего-то недоставало бы; чего-то, что выше воли и власти людей; чего нельзя купить и чему подвластен весь мир; что принесла с собой, сама того не зная, скромная Маргалида.

Тревоги его кончились. Начинается новая жизнь!

Нет, мертвые не повелевают: повелевает жизнь, а над жизнью властвует любовь.

Мадрид Май — декабрь 1908.

## Примечания

1

Раймунд Луллий (1235–1312) — средневековый испанский схоласт и алхимик.

2

Мадо — обычное на Майорке обращение к пожилой женщине.

3

каннелюры — вертикальные желобки на стволе колонны.

4

старинное название Гибралтара

5

мориск — мавр, перешедший в христианство

6

Мальтийский рыцарский орден — один из самых старинных орденов крестоносцев

7

крепость мавританских правителей Майорки

8

город и порт на острове Мальта

9

император так называемой Священной Римской в 1519–1555 гг. С 1516 по 1556 г. — король Испании

10

военные губернаторы

11

бутифарр — буквально значит — «сосиска». На Майорке это слово стало титулом, свидетельствующим о принадлежности к местной знати

12

21 октября 1805 г. при мысе Трафальгар произошло сражение между объединенным франко-испанским и английским флотами

13

Близ мыса Сент-Винсент английский флот дважды наносил поражение испанской эскадре (в 1780 и 1797 гг.)

14

Фердинанд VII с 1808 г., момента оккупации Испании наполеоновскими войсками, и до 1814 г., когда Наполеон был низложен, находился в плену во Франции

15

героиня повести Франсуа-Рене де Шатобриана «Атала»

16

героиня новеллы Э.-Т.-А. Гофмана «Турнир певцов»

17

1485–1547, — испанский конкистадор, завоеватель Мексики

18

Государь император Карл, год 1541-й — лат.

19

атлот — паренек (майоркинский диалект). Здесь: ребята

20

дочери Атланта, овладели чудесным садом, где яблони давали золотые плоды — греч. миф.

21

намек на Жанну д'Арк (ок. 1412–1431), героиню французского народа

22

старинная крепость на возвышенности, господствующей над Барселоной

23

1832 или 1833–1883, — французский художник, автор широко известных иллюстраций к романам Данте, Сервантеса, Рабле и др.

24

С 1833 по 1840 г. на территории Испании шла ожесточенная гражданская война, развязанная феодально-клерикальной реакцией, выступившей на стороне претендента на престол дона Карлоса, брата умершего короля Фердинанда VII

25

Жорж Санд избрала свой псевдоним, когда писала свои первые произведения вместе с публицистом и писателем Жюлем Сандо, а не в честь немецкого патриота Карла-Людвига Занда, казненного в 1820 г. за убийство тайного полицейского агента, писателя Коцебу

26

основатель монастыря, в котором пытается укрыться от земных страстей Анжел, герой романа Жорж Санд «Спиридион» (1839). Спиридион выступает здесь как проповедник «новой» религии, близкой к «христианскому социализму» Ламенне

27

В 1833 г. Жорж Санд вместе с французским писателем Альфредом де Мюссе совершила путешествие в Венецию

28



Луи-Филипп Орлеанский — с 1830 по 1848 г. французский король

29

имеется в виду национально-освободительная борьба в Мексике, завершившаяся в 1823 г. провозглашением Мексики независимой республикой

30

В 1798 г. Наполеон Бонапарт захватил остров Мальту, что положило фактически конец существованию Мальтийского ордена как политической организации, хотя формально орден просуществовал еще несколько лет

31

Здесь имеется в виду племянник Фердинанда VII дон Карлос Марин де Бурбон (1848–1909), в 1872 г. провозгласивший себя королем Испании под именем Карла VII и начавший гражданскую войну за престол (1872–1876)

32

Тихоокеанская война велась в 60-х г. XIX в. Между Чили, Перу и Боливией. Испанский флот, вмешавшись в эту войну, 2 мая 1866 г. подверг ожесточенной бомбардировке военно-морской порт Перу, город и крепость Кальяо

33

Прогрессисты — либерально-монархическая партия в Испании второй половины XIX в.

34

Революция 1868–1874 гг. — буржуазно-демократическая революция в Испании, в результате которой была свергнута королева Изабелла II и в 1873 г. установлена республика

35

принц Савойи, избранный на испанский престол в 1870 г. и отрекшийся от престола в 1873 г.

36

Мартинес де ла Роса

37

санкюлотами во время французской революции XVIII в. революционные народные массы. Буквальное значение этого слова: человек, не носящий «кюлот», то есть коротких штанов с шелковыми чулками, принадлежности костюма дворян и богатых буржуа

38

легендарный кельтский певец, якобы живший в III в. Шотландский поэт Джеймс Макферсон создал «Поэмы Оссиана»

39

старинная мера веса, равная 46 кг

40

музей живописи

41

Дюрер Альбрехт (1471–1528) — великий немецкий живописец, гравёр и рисовальщик эпохи Возрождения

42

мюнхенский музей скульптур

43

древние скульптуры, найденные в 1811 г. на греческом острове Эгина

44

О Испания!.. О дон Кихот!.. — франц.

45

Дочери Рейна — ундины, сказочные существа, оберегавшие, по древнегерманской легенде, сокровища карликов Нибелунгов на дне Рейна

46

Герой цикла оперы Р. Вагнера «Кольцо Нибелунгов» (1876) Зигфрид, согласно легенде, сковал чудесный меч из осколков отцовского меча и с его помощью совершил множество подвигов. Музыкальная тема меча — одна из ведущих в оперном цикле Вагнера

47

О Рихард, Рихард, мой любимый — франц.

48

неприлично — англ.

49

1369–1415 — великий чешский патриот, выдающийся деятель чешской Реформации. Был сожжен на костре

50

опера Вагнера (1845); была представлена и в Парижской опере в 1861 г. и встречена враждебно публикой

51

библейского предания. Иаков считается родоначальником израильтян

52

исп. Santo Oficio — официальное название инквизиционного трибунала

53

испанский король с 1665 по 1700 г., последний представитель Габсбургской династии на испанском троне; Злосчастливым его прозвали за то, что в годы его царствования Испания лишилась многих своих европейских владений и переживала глубокий внутренний кризис.

54

альгвасил — нижний полицейский чин

55

Гонзага Ферранте (1507–1557) — представитель старинного итальянского аристократического рода, в 1541 г. командовавший испанскими войсками в войне против Франции.

56

Альба Фернандо Альварес де Толедо, герцог (1508–1582) — один из крупнейших испанских грандов

57

Колонна Асканьо(1560–1608) — вице-король Арагона

58

Дориа Джан Андреи (1539–1606) — генуэзец, командовавший флотом Священной лиги на Средиземном море в 1570 г.

59

король Испании с 1759 по 1788 г., осуществлявший политику «просвещенного абсолютизма».

60

Вандея — департамент на западе Франции, в период французской революции XVIII в. — центр контрреволюционных мятежей

61

Мария-Каролина, герцогиня Беррийская — после революции 1830 г. пыталась организовать мятеж с целью посадить на престол своего сына графа Шамборского; после подавления мятежа была арестована и заключена в крепость

62

Карлос де Бурбон, граф де Монтемолин (ум. в 1861) — старший сын дона Карлоса Бурбонского, претендента на испанский престол; дважды пытался захватить престол, но в 1860 г., после пленения, вынужден был отказаться от своих претензий

63

Августин святой или блаженный (354–430) — один из «отцов церкви»

64

Барсело Антонио (1717–1797) — знаменитый испанский флотоводец, уроженец Майорки

65

Годой Мануэль (1767–1851) — фаворит королевы Испании Марии-Луисы, фактический правитель Испании при Карле IV с 1792 по 1808 г.

66

аллах

67

особый вид рыболовной снасти

68

Тир — древний город на побережье нынешнего Ливана, славившийся своими торговыми связями; Аскалон — портовый город в древней Палестине

69

кочевая стоянка бедуинов, цыганский табор

70

местное название округа, церковного прихода

71

король Испании с 1556 по 1598 г.

72

Эльдорадо — легендарная богатая страна, которая, как полагали первые завоеватели Южной Америки, находится в ее внутренних областях

73

Согласно евангельской легенде, уроженец Тарса Савл был одним из наиболее яростных противников последователей Иисуса Христа и требовал жестокой расправы над ними. Но в результате «чуда», свершившегося с ним на пути в Дамаск, когда он внезапно ослеп и затем через три дня чудесно прозрел, он стал под именем Павла одним из апостолов христианства.